В. Г.

КОРОЛЕНКО

2


У.С.Р.Р.
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО

ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1926

ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО

ДНЕВНИК

1893—1894

ТОМ II

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1926

[8.91.7]

Печатается по постановлению
Совета Народных Комиссаров
Украинской Социалистической
Советской Республики

Полтава, 1-я Совтипография Издательства „Більшовик Полтавщини"
№ 495/955 Тираж 3000 экземпляров Окрлит № 17236/95

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

В данный II-й том Дневника входят записи с мая 1893 по январь 1895 года, заключающиеся в четырех рукописях, описание которых дается в конце настоящего предисловия.

В статье от Редакционной Комиссии к первому тому дневников В. Г. Короленко уже указывалось, что по своему основному содержанию дневники эти являются преимущественно летописью общественной жизни. Характер летописи присущ в значительной степени и настоящему дневнику; отличие его от других состоит, однако, в том, что здесь большое место занимают подневные записи путевых впечатлений, веденные автором в 1893 г. во время его трехмесячного путешествия в Америку.

Впечатления американского путешествия легли в основу целого ряда очерков и рассказов, частью печатавшихся при жизни автора, частью-же появляющихся впервые в настоящем посмертном Собрании Сочинений (см. т.т. XVII и XVIII).

В своих нижегородских дневниках В. Г. уделяет как всегда много внимания местной жизни в тех ее проявлениях, которыми характеризуется весь существующий порядок вещей: произвол администрации, сыск, положение провинциальной печати, неистовства и курьезы цензуры доставляют В. Г. обильный материал для его записей. В то-же время писатель следит за явлениями общероссийской жизни, тщательно собирая здесь различный исторический и бытовой материал. Настроения русского

общества, вызванные смертью Александра III и началом нового царствования, также являются предметом его пристального внимания: характеристике и анализу этих настроений, в связи с анализом данного исторического момента, посвящены многие страницы дневника.

Кроме материалов общественной летописи и особо стоящих путевых заметок, настоящий дневник заключает в себе и элемент чисто-личный: осень 1893 года принесла В. Г. большое горе — умерла его маленькая дочь. Известие об этом он получил на обратном пути из Америки (в Париже). Эта смерть, еще первая в молодой семье Короленко, явилась для В. Г. неожиданным и тяжелым ударом. Глубокий душевный процесс, вызванный этим событием, и потребность осмыслить вечную проблему жизни и смерти нашли свое выражение и в записях настоящего дневника. К таким-же страницам личного характера относятся наблюдения над душевной жизнью детей („Мои дети").

Как в дневниках более раннего периода (см. Дневник, т. I), так и в настоящем дневнике, заключается целый ряд живых портретов, сцен и набросков, сделанных рукою художника и, быть может, предназначавшихся как материал для той „повести из конца нашего русского и специально областного XIX века", написание которой осталось одним из неосуществленных желаний автора (об этом желании В. Г. говорит позднее, в дневнике 1895 г., запись без даты между 15 и 17 февр.).

Подготовляя для печати настоящий II-й том Дневника, Редакц. Комиссия руководствовалась общими принципами уже изложенными в предисловии к Первому тому.

Рукописи, составляющие содержание дневника:

1. Тетрадь в $^1/_4$ листа в твердом пестром переплете с надписью: „Заметки. Год 1893 (продолж.). Влад. Короленко". Шифр Ред. Комиссии В. 19. Содержит записи с 18 марта до конца 1893 года. В настоящем томе печатается, начиная с 30 мая; предшествующие записи вошли в 1-й том Дневника, где дано описание этой рукописи.

2. Подневная записная книжка на 1893 год издания Риккера в Петербурге. На темно-красной матерчатой обложке золотыми буквами оттиснуто: „1893. Записная Книга" и чернилами, от руки помечено IV. На белом листочке, наклеенном на обложке, написано мелко пером, рукою В. Г.: „1893. Поездка в Америку и Добруджу". Далее следует длинный перечень записей, содержащихся в книжке. Шифр — М. 137. Книжка содержит 458 печатно-пронумерованных страниц и несколько непронумерованных: — в начале десять листков и в конце — 12. Страницы с 1 по 51 вырваны. Нумерованные страницы книжки с печатным обозначением дат содержат подневные записи и заметки, а также несколько мелких рисунков пером и карандашем. Кроме того, на странице 282 прикреплена небольшая вырезка из американской газеты.

С начала года до 2-го июля записи кратки и нерегулярны. Начиная же 2-м июля (день выезда В. Г. из Петербурга в Финляндию, откуда он ехал через Швецию, Данию, Лондон, Ливерпуль в Америку), записи становятся ежедневными и обширными; часто эти записи не помещаются на страничке, предназначенной для данного дня и тогда переносятся с соответствующей пометкой на свободные места других страниц. С 14-го сент. (день выезда В. Г. из Парижа, через Швейцарию, в Румынию) до конца года записи становятся снова краткими и нерегулярными. Обширных записей за этот период встречается

очень мало. Все записи в книжке за немногими исключениями сделаны пером, мелким почерком. При обработке для печати из текста книжки исключены отметки чисто справочного характера (главным образом об отправке и получении писем), стоящие отдельно и не связанные с содержанием записей.

3. Тетрадь такого же формата и в таком-же точно переплете, как и тетрадь „В. 19". На переплетном ярлычке надпись пером, рукою В. Г. Короленко: „Год 1894 и (нач. 1895)". Сбоку наискось написано пером-же: „Аст[ырев]" (в тетради имеется заметка о смерти Астырева). На ярлыке-же сделаны синим карандашом две пометки: „II" и „VI". Шифр—В. 22. В тетради 268 страниц, пронумерованных автором до стр. 253-й. Текст заканчивается на стр. 251, далее следует несколько свободных страниц и в конце авторское оглавление. Записи в тетради начинаются в январе 1894 года без указания числа (начало: „Газеты комментируют на все лады речь нового министра Н. В. Муравьева"). Заканчиваются в начале 1895 года также без указания числа. Все записи ведутся пером, только кое-где имеются небольшие пометки и исправления карандашом. В тексте встречаются помарки, исправления и вставки на полях. Кроме записей, в тетради заключается значительное количество газетных вырезок, наклеенных между писанным текстом и связанных с ним по содержанию. Между стр. 154 и 155 вклеено письмо к В. Г-чу Чудова (один листок). В настоящий том из этой тетради взяты только записи 1894 года; заключительные несколько страниц, относящиеся к 1895 году, вошли в следующий III-й том.

4. Подневная записная книжка на 1894 год издания Риккера, такая-же, как и описанная выше книжка 1893 г. На ярко-красном переплете,— кроме тисненной золотом

надписи „1894. Записная Книга“,— имеется вверху пометка чернилами —„и 1919“. Шифр —Т. 42. Записей 1894 года в книге очень немного, очевидно поэтому она и была вторично использована В. Г-чем в 1919 году. Из всех записей 1894 года для печати взяты только три,— от 7 авг., 24 авг. и 11 сент.,— так как остальные имеют характер только кратких деловых отметок для памяти. Указанные три записи введены в текст дневника 1894 года в хронологическом порядке с соответствующими оговорками в примечаниях.

Август 1924 г.

ДНЕВНИК

1893—1894

1893 год [1]

Воскр. 30 мая

Выехал из Нижнего с Лелей, в Саратов и Дубровку на „Кн. Татьяне“ Зевеке. В четверг 27-го уехала Дуня с Соней и Наташей за-границу [2].

31-го в Казани (письмо Дуне), 1-го июня часов в 11 в Самаре, вечером — в Сызрани, 2-го утром в Вольске...

В Сызрани опять садились переселенцы (каждый раз я застаю здесь целые партии переселенцев) из Черниговской губ. Их взял „Ратьков“, плохонький самолетский пароходишко. Набили на палубу, как селедок. Плач детей, усталые и как будто испуганные голоса женщин, на реке ветер и темнота. Мне сделалось очень грустно, особенно потому, что я — со своей девочкой... Она в первом классе, здорова и весела, но воображение настойчиво и невольно переносит ее для меня — в ту же обстановку и мне жаль этих чужих, точно свою. Думаю, всем родителям понятно это чувство. Я оделил деньгами сколько мог из этих плакавших на берегу детей. Они уже знают цену этих светленьких штучек, от которых теперь так сильно зависит их жизнь. Сколько из них доедет до места?

[1] Дневник ведется в тетради с надписью „Заметки. Год 1893 (продолж)“. В этой тетради заключаются и более ранние записи 1893 года, начиная с даты 18 марта. (См. „Дневник“ кн. 1-ая).

[2] Летом 1893 г. В. Г. Короленко предпринял поездку в Америку, на всемирную выставку в Чикаго. Жена его (Авдотья Семеновна) с старшими детьми уехала в Румынию к своему брату-эмигранту (врачу Вас. Сем. Ивановскому) лечить заболевшую дочь. Младшую полуторагодовалую девочку (Лелю) В. Г. отвез в Саратовскую губ. к свояченице А. С. Малышевой, вернулся в Нижний и лишь 22 июня выехал сам.

Вечер был сырой, мглистый и очень темный. Пароходы казались просто кучками огней, и [их] покачивало, теплым впрочем, ветром, от которого плеск и скрипение снастей стояли по всему излучистому берегу сызранской воложки. Когда я входил на нашу пристань, возвращаясь с Самолетской,—тут горячился какой-то полный полицейский, ругая отлучавшихся куда-то городовых. Оказалось, что на пароходе Зевеке внезапно помешалась женщина. Она ехала с мужем и двумя детьми в Астрахань. Стояла у окна, где ее опахнуло ветром, и вдруг упала. Ей спрыснули лицо водой,—и она очнулась безумной. Их ссаживали на пристани при мне. Плохонький напуганный мужичонко, нагруженный вещами, небольшая лет 8 девочка, худенькая и бледная, и сама больная (ее вели 2 матроса). Она была очень бледна и говорила каким-то ровным голосом:

— Христос воскресе, воистину воскресе. Ничего, ничего. Христос воскресе, воистину воскресе...

Я дал мужу 3 рубля, второпях сунувши их ему в руки. Он принял, заплакал, пытался поблагодарить, но нужно было итти... Их усадили в повозку и повезли в земскую больницу.

Я вернулся и застал свою девочку беспечно спавшею в 1-м классе. Я прижал к своим губам ее маленькую ручку. И странно: я испытывал в это время чувство глубокой жалости именно к ней. Думаю, что это была жалость, принесенная в сердце с Самолета и с пристани, но в значительной степени она относилась и прямо к ней. В такие минуты особенно ясно ощущаешь, что все мы, довольные и счастливые, роковым образом, коллективно виновны перед всеми несчастными, в том числе и этот чистый, невинный и беспечный ребенок, лежащий среди довольства, обилия и ласки в то самое время, когда рядом плачут на ветру и в темноте такие-же

неповинные дети. И мне было жалко мою дочь... За что-же на нее ложится часть этой великой вины, в которой никто из нас не участвовал сознательно?.. А между тем, не им-ли, не этому-ли поколению, теперь еще дремлющему в своем детском неведении, придется вынести всю тяжесть вопросов, которые мы мнили разрешить еще так недавно... И известная евангельская башня обрушилась ведь тоже не на виновных...

Странное, необычное и удивительно сильное настроение в одном и том же роде приходится мне переживать вот уже второй раз на этой именно сызранской пристани. В первый раз это было ясным, прелестным днем, теперь — темною ночью. Но содержание в обоих случаях совершенно одинаково. И главное в них — моя дочь (тогда это была Соня,[1] и именно в том-же возрасте) и чужие дети в переселенческих таборах. Из этого — какое-то странное, щемящее предчувствие будущего, не скажу, чтобы угнетающее или пугающее, но торжественное и значительное, с примесью грусти. Впрочем, я совсем не суеверен и хорошо понимаю, что это во мне говорит не мистическая „тень будущего", а разные комбинации в настоящем... С каким-то чувством прочтут когда-нибудь эти строки мои дети, и будут-ли им понятны наши ощущения? Хочется верить, что да, что их жизнь будет продолжением лучших ожиданий нашей... Хотя так часто теперь история отцов и детей повторяется навыворот. Я чувствую, что это не должно быть в моей семье, но ведь и все родители вероятно это тоже чувствовали и ошибались... Это — самое определенное из возможных несчастий для человека, имеющего детей — и убеждения!..

[1] Старшая дочь, родившаяся в 1886 г.

4 июня

Вчера, 3 июня, в 5 часов вечера я уже приехал в Дубровку,—выехал из Саратова в 11 ч. 23 минуты. Я очень люблю незнакомые еще железные дороги. На каждой, даже у вагонов — своя особая физиономия, не говоря о публике, прислуге и окружающей природе. Впрочем, природы на сей раз я не видал и вспоминал только по туманным очертаниям свое впечатление года три назад: равнина, даже степь переходит здесь понемногу в раскатистые увалы горного берега. Чем далее от Саратова,—тем более проявляется степной характер местности. Я долго стоял у окна под свежим ветром, проносившим белые клочки дыма от недалекого паровоза, провожал глазами огни одних станций, уменьшавшиеся и исчезавшие в темноте, и встречал — другие, мелькавшие вдали и бежавшие навстречу. На одной из станций, стуча и гремя, подкатился встречный товарный поезд. Долго, долго катились мимо однообразные нефтяные вагоны-цилиндры с башенками, пока кто-то невидимый махал машинисту зеленым фонарем... Но вот зеленый фонарь вдруг по чьему-то мановению стал красным и остановился в воздухе. Заскрипели буфера, поезд остановился, с красным фонарем случилось новое превращение: он пожелтел и смиренно прижался в уголок к стенке, где замерцал, точно светляк в траве, а около меня на землю соскочил молодой парень-кондуктор, производивший все эти превращения. Он помещался на какой-то платформочке, неполне огражденной перилами, прилепленной сбоку к одной из нефтянок.

— Неужто же вы здесь стоите все время на ходу поезда?—спросил я.

Кондуктор поднял глаза к моему окну, разглядел меня и ответил:

— Все время. Чистая беда.

— Ветрено, холодно.

— Как же не холодно, посудите сами,— ведь насквозь продует. Да это бы еще ничего. Главное дело — опасно. Раскачает, только держись! То и гляди — упадешь. Кто и выдумал-то эту штуку, чтоб ему руки, ноги отсохли...

Да, хорошее средство отбивать сон у поездной прислуги, подвешивая кондукторов на каких-то досках, сбоку летящего поезда: заснул,— и вылетишь на рельсы, как щепка!

Наш поезд засвистел и тронулся далее,— мы ждали товарного поезда, а через некоторое время, оглядываясь назад, я имел удовольствие видеть, что желтый фонарик опять задвигался. Это кондуктор примащивался на своей галлерейке...

В 6 часов утра мы были на станции Ртищево. Какой-то строгого вида старик овладел мною, предлагая тоном человека, делающего мне великое снисхождение — тройку лошадей до Сердобска за четыре рубля. Кругом какие-то суб'екты с кнутами почтительно ждали конца нашего разговора, чтобы тоже предложить свои услуги. Но при строгом старике не смели.

— Я бы свез за 2 с полтиной,— сказал один из них, когда старик отошел по какому-то делу.

Мы сладились, и через час уже (в 7 часов утра) ехали в глубину степи. По бокам то и дело встречаем насыпи новой сердобской ветви, порой по наскоро положенным шпалам пробежит рабочий поезд с платформами и рабочим народом. Лена с большим интересом следила за одним из таких поездов, с сверкающими на солнце светлыми рычагами локомотива, пыхтевшего, дышавшего и развевавшего за собой белую гриву.

— Тпру-ка — сказала она вдумчиво, это значило: лошадь. Так определила она это странное животное,

которое между тем обогнуло холмик и понеслось по степи. Платформы исчезли от взгляда и нам из дола виднелся один локомотив, силуэтом бежавший над линией хлебов...

Впереди в туче пыли летела земская тройка, сзади — вольный ямщик вез студента-санитара. Мы неслись в середине, среди целого хора разной величины и разных тонов почтовых колокольчиков. Мой возница — скромный паренек старается не отстать.

— Эх, не жаль хозяйских лошадей,— говорит он, поворачиваясь ко мне,— когда обе тройки, далеко обогнав нас, взлетают на горку. Тем не менее и он вдруг хлещет своих, но на половине горы лошади сразу идут тише.

— Не выезжены, не сообразишься с ними,— об'ясняет он свою неудачу.— Да и незачем... Вот они поедут шагом, а мы как тут и были...

— А парень этот, Алексей, ералашный,— рекомендует он своего товарища.— Этто лошадь загнал, теперь стоит конь в воде, ноги как бревна...

А ералашный парень лихо гонит по дороге и шинель студента исчезает в туче пыли...

За Сердобском мы наткнулись на печальную картину. В ясном небе, над холмом появился дымок...

— Не пожар-ли — предположил я.

Уже через минуту можно было видеть, что это пожар, дым клубился и разростался...— Студенка горит,— сказал ямщик и погнал лошадей.

У меня была надежда, что это омет соломы. Ямщик соглашался, так как дым был очень белый и редкий.

— Нет, вдруг сказал он, указывая кнутом,— деревня горит, вишь ребятишки в поле бегут.

Действительно, по зеленым полям бежали в разных направлениях ребятишки, а кой-где с ними взапуски мчались испуганные и нахлестанные жеребята и лошади...

Огонь чуть не загородил нам дорогу. Горело село в самой середине, и дым стлался прямо на плотину, по которой однако нам удалось еще проехать... Народу много и, кажется, пожар не распространится, но страшно глядеть на эти кучи соломы: крыши, ометы, даже изгороди — из соломы — в этой степной безлесной местности...

7 июня

Несколько дней в Дубровке. Хмуро и холодно. Небо затянуто низкими беловатыми тучами, которые летят куда-то дни и ночи. Временами идут дожди, и все время — стоит чисто осенний холод. Дом Малышевых — за оврагом, отделяющим его от деревни Дубровки,— старый, покривившийся, неудобный. На всем печать старого запустения, оскудения и беспорядка — и новых попыток нового помещика, устраивающего новое гнездо... Прежний, Егоров — типический представитель нравственно и экономически оскудевшего дворянства. Превосходная земля — запущена, дом развалился, кругом — ничего, ни сада, ни цветника, ничего, чтобы показывало, что здесь люди собирались жить и умирать, уступая место преемникам. Егоров любил сидеть у себя на балконе и пить водку. Мужики, приходившие к нему — или угощались или бывали биты. На этот случай приходившие по делу, запасались палками,— тогда помещик обращался осторожнее, ибо бывал бит и сам. Он занимал деньги у тех-же крестьян (богачей конечно) и за это они у него, пьяного, брали лучшие земли в двойном и тройном количестве. Все это сопровождалось отвратительными сценами: рассчет всегда оканчивался побоями и ругательствами, сменявшимися порой амикошонством и оргиями. И гнев и милость этого „помещика“ отмечались одинаковой безнравственностью

и грязью... Потом все пошло прахом, имение продано банком, Егоров поступил в исправники, откуда его вскоре прогнали, потом где-то занимал должность уже околодочного. Повременам он наезжает сюда и тогда величается перед мужиками: он получил после матери миллион и выкупит обратно имение... Неизвестно, как относятся к этому мужики-соседи. Они, конечно, презирают его и ненавидять. Теперь с ними рассчитываются честно, никто не бьет приходящих в барскую усадьбу, но зато... при Егорове в имении все лежало плохо и среди взаимного презрения, ненависти и ругательств,— деревня пользовалась кое-чем. А теперь — пошли порядки другие. Они больше уважают и их больше уважают, но бедность, бедность все таки непокрытая... Народ добродушный и темный. Кругом, в Дубровке и Куршевке и еще в нескольких деревнях, едва наберется несколько да и то — полуграмотных... Темна еще степь-матушка!.. И раздолье в этой степи — не для крестьянской сохи. Наделы у соседей — дарственные, уделы стеснили своих до невозможности, просились в переселение,— не разрешают...

Завтра я здесь оставляю свою Лену. Ей скоро исполнится 1 год и 5 месяцев. Она крепка, здорова, не особенно подвижна, и развитие ее идет не особенно быстро,— может быть к лучшему. Соня в это время уже составляла фразы. Лексикон Лены ограничивается несколькими словами: папа, мама, няня (последнюю тоже всего чаще зовет мамой), дядя, тетя, т п р у-к а (лошадь), г а́ к а (галка — всякая птица), м у — корова. Собаку она называет а́па. Слово это слагалось на моих глазах так: ав-ав — прямое звукоподражание, потом а́ ф а, уже существительное, и наконец из а́фы почему-то превратилось

в а́ п у. Кроме того она знает еще п у - к а (пуговица), баба, Катя. Раз (недели две назад) сказала Л е н а, раз случайно хотя и сознательно ответила (на мой вопрос, кто дал конфетку) — ба - и - ня. Но затем эти слова не повторялись. Знает также мн'а, - мн'а (молоко и конфетка, а также пить) и к а́ - к а (каша). К жестам прибегает умело и не без остроумия. Тпру - а́, показывая на башмаки — значит хочет идти пешком в отличие от простого тпру - *а*— ехать. Букву *ρ* (тпррру - ка) выговаривает отлично (а Наташа до сих пор еще говорит я з ь вместо раз).

8 июня

Сегодня в $1^1/_2$ дня я выехал из Дубровки. Леля с детьми Саши [1] провожала меня до плотины. Видя, что ее одели и усадили со мной, она очевидно думала, что нам опять предстоит долгий путь вместе. Но у плотины, размытой дождями, детей высадили. Леля не хотела выходить и страшно расплакалась. Переехав через овраг, я все еще слышал ее плач и не выдержал.

Остановив лошадей,— я перебежал через плотину и опять обнял ее. Мне хотелось,— это, конечно, глупость, понятная отцам и матерям,— показать и себе и ей, что уезжая, можно и вернуться. Но она расплакалась, когда я быстро уходил,— еще хуже. И еще сюда я привез с собой ее жалобный крик: „папа, папа"! Очевидно, в этом маленьком сердечке уже есть любовь, а мы вдобавок, за дорогу, очень подружились. Думаю, что у нее теперь есть смутное представление об этих огромных пространствах, которые мы проехали вместе, и которые я сделаю теперь один...

[1] А. С. Малышевой, сестры Авд. Сем. Короленко.

Степные однообразные виды понемногу сглаживали щемящее чувство. Огромные поля, черный пар, покрывающий землю до горизонта, кой-где овражек, речка, купы ветел [1]... До Сердобска меня довез Тимофей на малышевских лошадях. В почтовой конторе я получил письмо от милой Анны Ив. Анисимовой [2]. Копия Дуниной телеграммы „приехали благополучно" от 3 июня. Но куда? — не сказано и Анна Ив. не прибавила, откуда телеграмма. Надо думать — уже в Тульчу. Затем письмо Дуни и детишек из Киева от 30-го.

Около 5 часов мы уже были на станции у Кузнецова. Когда поезд в Ртищеве?.. — В 8 часов. — Не поспеем значит? — Как не поспеть, еще нет 5-ти. — А верст сколько? — 40!

Я вижу, что тут что-то не так, но через 5 минут тройка сытых лошадей уже мчит меня в степь. В 7 часов мы в Сапожках. Отсюда еще 18 верст, но мы все таки поспеем, потому что поезд идет по московским в 9 ч. 35 минут.

Здесь опять отличная тройка. Ямщик все хлещет левую пристяжку и тогда мы летим, как ветер.

— Вишь, правая везет б е з о б л ы н и, а этот обманывает.

Я расспрашиваю у него обо всем по дороге. Вот едет большой воз, с натянутыми с 4-х сторон холстинными стенками. Рядом идут мужик и баба.

— Что за народ?

— Т и н ю г у з ы, — говорит он улыбаясь.

Я переспрашиваю. Слово т и н и г у с в Сибири значит отлогий под'ем на гору. Здесь — это торговцы, которые

[1] Против этих строк на полях тетради написано: „Куршевка, Колмовы хутора, еще хутора, Студенка".

[2] Знакомая семьи Короленко, жившая в Саратове.

ездят по деревням, выменивая разные деревенские произведения и остатки — шерсть, тряпки, холстины и т. д. на иголки, нитки и мелочной товар.

— Шабольники еще,— зовут их. Кто на куделю, кто на тряпицу выменивают у них.

В другом месте тянется опять грузный воз, затянутый холстом поплотнее. За ним идут два суб'екта вроде мещан и грызут семечки. Воз не свернул.

— Знаешь правую сторону?— кричит мой ямщик с ожесточением.— Что не свернул?

— Вишь, она идеть хорошо... Свернешь, пожалуй тебе обидно будеть,— смеется тот.

— Небось не обидно, много я обижал вашего брата.

— Это кто?

— Кирсане... Насчет кошек, собак там и прочего,— со злобой говорит ямщик.

9-го июня — в Москве. 10-го — выехал из Москвы, 11-го в Нижнем.

16 июня

МОИ ДЕТИ

Как-то детей пустили (ранней весной) гулять под вечер. Было ясное небо и полная луна стояла невысоко над крышами. Девочки вернулись возбужденные и свежие и, казалось, принесли еще с собой отблески луны в искрящихся глазках.

— Папа, папа! — радостно говорила Соня в перебой с Наташей. Мы месяца видели. Мы идем и месяц за нами идет.

— За крышу спрятался, а потом все за нами, все за нами...

— Месяц всегда за людьми ходит.

— За всеми?— спрашиваю я.

— За всеми.

— А если ты-бы шла в одну сторону, а Наташа в другую.

— Мы вместе шли.

— А если бы ты повернула?

— Мы и повернули. И месяц сейчас назад пошел.

— А если бы ты вернулась, а Наташа пошла дальше? Тогда за кем бы ему идти?

Девочки задумываются.

— Не может разорваться,— решает спокойно Наташа. Соня продолжает думать [1]...

(И еще: письмо Паше, характеристика обеих девочек) [2].

17 и 18 июня

Заседания городской Думы. Возвращен отчет по общественным работам Я. Башкирову [3].

[1] Содержание приведенного здесь разговора с детьми является близким повторением первой половины записи, сделанной В. Г. в записной книжке 1893-го года, под 19-м и 20-м февраля. Там эта запись имеет следующее продолжение: „Что касается Ленки, — то она не имеет еще понятия о единстве личности. Нередко она смотрит в окно, как я чищу в саду снег. Это приводит ее в восторг, в особенности, когда я кину в окно тучу мелкой снежной пыли. Когда-же я вхожу в комнату, она не связывает этого факта с необходимостью исчезновения моего в саду — и все тянется к окну с выражением ожидания, стараясь и жестами и словом папа — дать мне понять, что она видела и может мне показать там внизу за окном какого-то еще папу. Вероятно, это ей кажется столь-же простым, как и то, что я ее держу на руках, а она видит меня еще и в зеркале и старается нащупать за зеркалом".

[2] Письмо от 16-го июля 1893 г. к свояченице В. Г. Праск. Сем. Ивановской, известной революционерке, отбывавшей каторгу на Каре (См. письма т. III).

[3] Башкиров, известный нижегород. хлеботорговец, гласный гор. думы.

20 июня

Ходил об'ясняться с жандармским генералом Игнатием Ник. Познанским.[1] Вследствие того, что я давно уже не приносил никаких жалоб, и полиция и жандармы распустились необычайно. Около 13-го июня к Л. П. Пупаревой, живущей у нас внизу, явились брат с сестрами (проездом). Все мы пили чай в саду, и этого было достаточно, чтобы полицейский с жандармом явились к хозяевам спрашивать, кто у нас. „Что-то больно много". Зачем-то нужен Богданович,[2] и вот с самой зимы все ходят и допрашивают, нет ли Богдановича. Несмотря на категорические ответы, что Богдановича нет,— продолжают лезть и спрашивать. Дня 4 назад я наконец пожаловался губернатору. Третьего дня опять требовали выдачи Богдановича (который, сказать кстати, живет спокойно в Петербурге, в гостиннице, конечно, „прописанный" и не думает скрываться), а вчера генерал Баранов[3] пожелал видеть меня. Я был; оказалось, что Косткин[4] это все отрицает. Я повторил все, прибавив, что вот еще вчера опять являлись. Косткин сваливает на жандармов, но как бы то ни было, губернатор сделал категорическое и строгое внушение. И вот сегодня кухарка говорит мне, что утром жандарм (Александр Алексеев Новиков, как оказалось, живущий в Ямской улице, т. е. добрый мой сосед) забрался в мою квартиру, допрашивал кухарку, топая на нее ногами: — „Как смеешь скрывать, что у вас Богданович?", а когда та пошла за мной — скрылся.

[1] Напоминаем, что В. Г. состоял под надзором полиции.

[2] Ангел Ив. Богданович (1860 — 1907) писатель, впоследствии член редакции „Мира Божьего", близкий знакомый В. Г. (Статью о нем В. Г. Короленко см. в т. XXV наст. изд.).

[3] Н. М. Баранов — нижегор. губернатор.

[4] Косткин, помощ. полицмейстера в Н.-Новгороде.

В лавке-же говорил, что у них и прислуга таковская, и что он „до нее доберется тоже". Меня это взбесило. Еду к Познанскому. Вижу на воротах вывеску: „Нижегородское жандармское окружное управление". Вхожу во двор,— такая-же вывеска над лестницей. Так как мне нужна была именно канцелярия, и я не имел в виду делать визит И. Н. Познанскому, то я подымаюсь по лестнице и попадаю в кухню, сплошь наполненную каким-то жирным чадом. Думаю, что ошибся.

— Где канцелярия?

— Здесь,— проходите в эту дверь. Да никого нету.

Прохожу в дверь и попадаю в альков прислуги. Женские кофты, юбки, сундук, кровать, заставленная ширмами, сплошь увешанными принадлежностями женского туалета. Небольшое пространство, остающееся от сундуков и кроватей — занято четырьмя собачками, из коих две то и дело стараются ухватить меня за икры. Выходит не старая и немолодая женщина, в роде экономки.

— Что угодно?

— Канцелярия здесь?

— Да, вам кого?

— Игнатия Николаевича.

— Зачем?

— Да уж это мое дело.

— Нет, а все-таки...

— И все-таки это дело не ваше...

— Ну, погодите... Тише, вы, ах какая сердитая,— махнула она на собаченку...— Смотри, все укусить норовит... Пошла!

Она уходит и через минуту, пройдя корридор, я попадаю — все таки не в канцелярию, а в частную гостинную И. Н. Познанского.

— Чем обязан?

Я все еще сердит, возбужден, и не скажу, чтобы вид этой странной канцелярии особенно смягчал мое настроение.

— Скажите пожалуйста, Игнатий Николаевич, уймете вы когда-нибудь ваших жандармов, или я должен жаловаться кому-нибудь другому.

— Что такое, что такое?

— Да вот сегодня ваш жандарм был у меня в квартире, грозил и топал на мою кухарку.

— Не может быть. Зачем?

— Зачем, не знаю... ищет какого-то Богдановича, который сколько мне известно, и не думает скрываться... Но что он был, это верно.

— Может быть полицейский?

— Нет, жандарм.

— Как зовут?

— Алексей Александровичем величают его лавочники и извозчики. Живет в Ямской.

— Такого нет.

— Не знаю, может быть это имя он выдумал.

— Дуняша! (или Агаша,— не помню)—кричит генерал, и из только что оставленного мною алькова появляется та же женщина.

— Дуняша! кто у нас живет в Ямской?

— Соколов Александр Алексеев.

— Ну, вот, дело об'ясняется,— говорю я...

Генерал принимается уверять, что это вопреки его приказаниям и что он прогонит Соколова. „Был, знаете, отличный жандарм, но теперь стал выпивать. Это он наверное старался оказать услугу полиции". Мне от этого не легче, и я предупреждаю генерала, что во 1-х, я все-таки человек, из тела и крови, и когда-нибудь могу Соколова изувечить, а во-вторых, что если он не примет мер, то я стану жаловаться выше.

— Вы уже на меня жаловались в Петербурге.

— Да, жаловался.

— Мне писал Петр Николаевич Дурново,[1] чтобы не позволять подобных вещей. Поверьте, что я приму меры...

В заключение поблагодарил, что я обратился прямо к нему, и я ушел. Пустая квартира, этот опустившийся, разваливающийся человек, эта странная консультация с Дуняшей, наивные попытки все-таки и в разговоре выведать у меня что-нибудь („куда уехала ваша супруга? Вернется или совсем останется заграницей"?!) — все это навело на меня удручающее настроение. Я попрощался и ушел другим ходом. Выйдя,— оглянулся: нет-ли здесь какой-нибудь вывески, указывающей, что я все-таки ошибся, что в канцелярию окружного жандармского управления есть все-таки и другой ход. Ничего! На дверях с улицы частная карточка Игнатия Николаевича Познанского.

22 июня[2]

Выехал в 4 ч. 30 м. в Америку.[3]

[1] П. Н. Дурново — министр внутр. дел.

[2] Всю ночь с 21-го на 22-е июня В. Г. провел за работой, заканчивая последнюю главу очерков „В голодный год." В записной книжке-календаре, под датой 21-го июня, записано: „Ночью кончал статью Гол. год", а под датой 22 июня: „Кончил работу в 6½ ч. утра".

[3] На этом записи в тетради прерываются до 1-го ноября 1893 года В промежутке В. Г. вел дневник в запис. книжке-календаре на 1893 год.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1893 ГОДА[1]

2 (14) июля

Утром в 9 часов мы[2] выехали из Петербурга по финл. жел. дороге.[3] (—Встреча с олончанкой). — Перед от'ездом бросил в ящик письмо Дуне.— Выборг: дамба по морскому заливу, островки, заливчики, прихотливые очертания берегов, дома отраженные в воде и масса яликов и лодок. Вид оживленный и своеобразный, но самого моря (открытого) не видно с жел. дороги.— Еще ранее — Териоки, где предупреждали о таможенном досмотре, которого однако мы не видали.— Разговоры с двумя интеллигентными финнами (на немецком языке!!!).— Вечером (в 9 ч. 30 м.) в Гельсингфорсе.— Hôtel Kämp. (№ в 3 этаже 6 марок — 2 р. 44 коп.) — чисто, просторно и совсем пусто. Корридоры темны, на лестницах скудно горит электрическая горелка (даже днем!).

3 (15) июля

Утром купались в море (16° Цельсия).— Ходил по городу.— Прекрасный садик около церкви, свежие газоны, красивые деревья раскинулись густо и роскошно. Особое

[1] Со 2 (по нов. стилю 14) июля дневник ведется в запис. книжке-календаре. На обложке написано: „Поездка в Америку и Добруджу". Первая часть книжки, содержащая лишь заметки справочного характера, здесь не печатается. Такие-же заметки — главн. образом, об отсылке и получении писем, стоящие отдельно, над остальным текстом или на полях страниц, пропускаются и в той части книжки, которая здесь печатается. Они сохраняются только там, где входят в самый текст.

[2] В. Г. путешествовал вдвоем с своим нижегор. знакомым Серг. Дм. Протопоповым (судебн. следователем, впоследствии журналистом).

[3] Описание первой части путешествия было обработано и приготовлено В. Г. для печати, но затем взято им обратно из набора и при жизни писателя в печати не появлялось. Оно сохранилось в архиве В. Г. в корректурных оттисках, под заглавием „В Америку!" (Вошло в т. XVIII наст. полн. собр. соч.).

впечатление производит какая-то свежесть и чистота зелени,— что об'ясняется просто: здесь ее поливают, как и улицы. Но еще более своеобразно впечатление от раскиданных по этим газонам массивных глыб гранита. Присмотревшись я разглядел на них старые, затертые временем, надписи. Оказалось, что все это могилы. Интересно! Значит это кладбище превращенное в место гуляния. Зеленая трава заполонила его всюду,— и только кой-где серый тяжелый камень говорит потомкам о каких-то жизнях, начавшихся еще в прошлом столетии (1787, 97 и т. д.). А в тенистых аллеях бегают дети, какая-то дама сидит с книжкой, продавщица вод пристроились со своим передвижным ящиком-тележкой... Против нашего отеля— памятник Рунебергу [1] (1885).

4 (16) июля

Познакомились с А. В. и Е. Гавр. Игельстром. [2] Ездили на Хегхольме (Höchholme), место отдыха по праздникам рабочих и вообще простого народа. Множество семей располагаются прямо на траве, среди деревьев этого прелестного островка. Все здесь даровое, и все приспособлено для отдыха и развлечения. В железной сквозной клетке, поставленной прямо в море, плавает белый медведь, на острове целый зверинец. Вон семья готовит себе на вольном воздухе обед, между тем как грудная малютка спит сладким сном, качаясь меж двух деревьев в гамаке.— Перчик [3] уехал в 4 часа. После обеда мы еще посетили Töle. Скалистое лесистое место. При заходящем солнце, с терасы Alpen-Hütte (ресторанчика)

[1] Рунеберг (1804 — 1877).— Знаменитый фино-шведский поэт.

[2] Андр. Виктор. Игельстром, писатель. Был в то время лектором русск. яз. в Гельсинфорск. политех. институте.

[3] Семейное прозвище младшего брата В. Г., Иллариона Г—ча.

вид на темнеющие леса, раскинувшиеся куда хватит глаз по горам и скалам,— чисто финский, сумрачный и грустный... Испытал особенное ощущение: стоял под мостиком, а над самой головой — пролетел поезд... В 1 час белой ночи — Norra Finland отвалила от пристани и пошла между шхерами...

5 (17) июля

Утром часов в 8 — в Ганге. До 9 часов ходили около города (пристань не у самого города). Купался.— Броненосцы на рейде (в том числе старая знакомая „Чародейка").— В $3^1/_2$ часа в Або. Письма на бланках с видами Або: Соне, Наташе, Верочке и Наде.[1] — Познакомился сначала с Чарушиным[2], а через него с Владимиром Людвиговичем Кигном[3].— Первый — надутая, под видом развязности, фигура, с шаблонно не либеральными взглядами. От второго жестоко несет „Неделей", впрочем даже больше „Новым Временем". Юдофобство, финно-фобство, либерало-фобство,— все это высказываемое условно: „А знаете-ли, если посмотреть с другой точки зрения... в иных случаях знаете-ли произвол... Так, например, однажды, приезжаю в Уфу"... и т. д. Сергей Дмитриевич Протопопов называет это разговором о полезности упразднения законов по средам... Между прочим: „сначала и я было думал... Но вспомнил замечательную резолюцию Гурко. Один исправник, чтобы помешать евреям уклониться от воинской[4]...

[1] Соня и Наташа — дочери, Верочка и Надя — племянницы В. Г.

[2] Чарушин — начальник переселенческого управления.

[3] В. Г. Кигн (Дедлов), 1856 — 1908, писатель, постоянный сотрудник „Недели" Гайдебурова.

[4] В этом месте запись прерывается, листок с продолжением ее, на который сделана ссылка, из книжки вырван.

6 (18) июля

Предыдущая ночь — в шхерах. Странно, пустынно и грустно. На одной стороне угасает закат и шхеры в той стороне лежат темными, грузными контурами. Другая гряда сливается в сумраке беловатой ночи... Наш пароход оставляет фосфорическую широкую борозду, и волна где-то далеко ударяет в пустынные скалы... Небольшая лодка идет между шхерами под парусами и так странно видеть ее в этом молчаливом безлюдьи ночью...

В $8^1/_2$ час. утра в Стокгольме. Легкий таможенный досмотр. Остановка на той же набережной (Keppsholm, Keppsbron, Reis-hôtel).

Отдал письма на почте Дуне и мамаше (писанные накануне. Сомневаюсь, дойдут-ли) — Find's inte telegramm poste restante. V. Korolenko.

Вчера в Або Кигн купил моего „Сл. Музык." в шведском переводе и подарил мне. В благодарность я хотел ему прислать свою книгу,— но он попросил „в память встречи" сделать надпись на той-же шведской книге. Это было вчера. Мы долго „обменивались взглядами" на палубе, причем наш незнакомый соотечественник видимо со стороны прислушивался к нашему разговору. Honni soit qui mal y pense! Добрый человек вероятно поучался у „русских писателей", которые, однако, отсылали его к авторитету русского генерала...

Сегодня мы уже в Стокгольме. На Gustav-Adolph-torget в великолепном книжном магазине мы нашли W. Korolenko Skogen Susar [1], а через час нам доставили и Den blinde Musikern (psikologisk Studie af Wladimir Korolenko öfversättning fran ryskan af P. Tersmeden. Stockholm Wilhelm Bille). Skogen

[1] „Лес шумит".

Susar (Лес шумит) och andra berättelser (Старый Звонарь и „В дурном обществе") переведены и изданы теми-же лицами.

Разговор с С. Д. Протопоповым.— Гуляли по Стокгольму.—Пожарные.— Мы остановились на о. Staden, против Keppsholm'a. Это остров, где помещается собственно Старый город. Рядом почти — Королевский дворец, старое, почтенное здание. Напротив за Меларом — Национ. Музей. Старый стиль особенно сохранился на Staden, каждый дом отделяется от другого переулком, эти переулки, узкие, с мрачными и темными дворами,— отзываются седой стариной — и выгребными ямами. Из окна в окно не очень трудно прыгнуть в 4-м, 5 этажах...

А трудно „без языка"! Сегодня я старался устроить простую штуку: напиться в № чаю.

— Geben Sie mir bitte heisses Wasser[1].

— Wichi wotten?[2] — поправляет меня девица.

— Ja wohl![3]

Отлично. Мы радуемся, а девица приносит... 2 откупоренные бутылки воды Виши! Делать нечего: взяли Виши, а затем опять пустились в толкования.— Cockt wotten,— наконец оказался кипяток. Пришлось нарисовать чайник на бумажке. Обрадовалась,— где то есть такая машина. Принесла и одобрительно похлопала меня по плечу.

7 (19) июля

Ходили с Евг. Ник. Щепкиным[4] в национальный музей. Очень много картин. Мы, как профаны, заинтересовались всего больше современной шведской школой. Шведы

[1] Дайте мне, пожалуйста, горячей воды.

[2] Воды Виши?

[3] Да, да!

[4] Е. Н. Щепкин, историк, после профессор всеобщей истории в Одессе, работал тогда в архивах Копенгагена.

довольно сильны в изображении северного пейзажа. Есть очень хорошие вещи. Есть также и в других родах произведения замечательные, но в общем — кажется нет сильной и выдвигающей струи, нет захватывающих тем, нет того, что придавало-бы свой собственный, жизненный интерес шведской живописи, перед другими.— Потом были в Djurgarden'e, где смотрели с Бельведера на Стокгольм; особое место названо Skansen,— этнографическая выставка, лапландские хижины и т. д. Своеобразно и легко переносит воображение на север, где все эти дома, скалы, олени, лапландцы — у себя дома.

8 (20) июля

В 6 часов „Norra Finland" отвалила от пристани. Мы стояли с Щепкиным, раскланиваясь с капитаном и махая шляпами Чарушину. „Norra Finland"— ушла в Петербург, и я как-то сильнее почувствовал, что мы окончательно на чужом берегу. „Чувство прощания"... Легкая грусть, смешанная пожалуй даже с ощущением тоски,— вот что, кажется, я увожу из Стокгольма, как господствующее чувство. Что будет дальше. В Копенгагене вероятно еще будет тоже. Жду с нетерпением Лондона: письма из дому и знакомые русские,— вот что мелькает, в качестве оазиса.

Выехали в 9 ч. из Стокгольма в Мальме. Ночью — письмо Юлиану[1] (откр.).

9 (21) июля

Ночь в вагоне 3-го класса, в скором поезде Stockholm-Malmö.—Впечатление местности своеобразное: горы темные от лесов, выросших меж камней, извилистые долины, в долинах блестят ночными отблесками большие, спокойные озера, порой усеянные островами. С утра — почувство-

[1] Юлиан Г., старший брат В. Г.

вался наклон к западным морям. Ночью шел теплый дождь, на рассвете и утром — висели облака, над этим своеобразным краем, и без того напоенным сыростью. Хлеба густые, невысокие, но с отличным наливом.— В 1 час дня, проехав Люнд и Мальме — мы уже стояли над бледным заливом, а вдали — чуть-чуть виднелся над линией моря Kjöbenhawn... Остановились в Kung's Oscar hotel'e.— Дрянное морское купание.

При переезде в Копенгаген—бросил на пароходе письмо Веле [1] (откр.).

10 (22) июля

Были на выставке „Fra 1848". Интересно.— Здесь выставлено все, относящееся до войны, в которой Дания потерпела жестокое поражение, и — до конституции. Frideric VII, der Grundloves-giver [2],— изображен на статуе перед дворцом, верхом на лошади. У него живот Фальстафа, физиономия пошляка. В одном месте на этой же выставке под № 61—выставлены совсем плохие рисунки карандашом этого Grundloves-giver'a. Изображены какие-то руины и еще — ослик, с курчавой по мальчишески нарисованной шерстию. И это рисовано — в 1849 году! [3] Нашел время для ученических упражнений. Как бы то ни было,— он со своим животом и с хартией в руках изображен в статуях, а тут-же выставлены газеты того времени и каррикатуры, где Grundloves-giver изображен, например, с'едающим кусок, на коем надпись: Schleswig-Holstein. На другой — датчан бьют немцы, а сам со штабом вынимает вина из корзин; или обнимается с прусским королем и т. д. Да, это поучительная выставка: Flucht

[1] Эвелина Г. Никитина, младшая сестра В. Г.

[2] Фридрих VII, даровавший конституцию.

[3] Конст[итуция] 5 июня 1849 (прим. автора).

von [1]... поражение, бегство, отступление... Целый ряд горьких воспоминаний, поставленных на счет династии—и затем ряд государственных людей, деятелей печати и слова, вырвавших у неспособного Фридриха власть и отдавших ее народу. И теперь этому народу напоминают о великих преступлениях с одной и о великой борьбе с другой стороны... Между прочим, на нескольких каррикатурах изображены два советника Фридриха, под виселицей, с петлями на шее!.. Поучительная выставка! Я видел, с каким вниманием простые буржуа, а может быть даже и крестьяне всматривались и читали развернутую перед ними историю их Grundloves... Неужели, однако, всякий народ только путем таких несчастий и такого позора обязан добывать себе основание всякого права...

Видели сегодня же музей Торвальдсена [2]. Сам он лежит в середине дворика, а над ним, в виде огромного саркофага воздвинуто народом здание музея. Творец спит вечным сном среди своих творений. Я не знал еще внутреннего смысла этого музея-могилы, но уже самая архитектура, эти залы, в роде келий-катакомб наводили какое-то странное, величаво грустное впечатление...

И все таки — это для меня день „заграничной тоски". Брандеса [3] мы не застали, а с этим утратилась цель

[1] Бегство от...

[2] Бертель Торвальдсен (1770-1844) — знаменитый датский скульптор.

[3] Георг Брандес (1842-1922) знаменитый датский критик и истор. литературы. В. Г. с большим интересом относился к Брандесу, и в 80-х годах много занимался им: в его дневнике 1887 г. встречаются обширные выписки из Брандеса; к тому-же времени относится хранящийся в архиве писателя его перевод из книги Брандеса „Главнейшие течения литературы XIX века. Часть III: Реакция во Франции". В 1887 г. В. Г. видел Брандеса в Москве на обеде, устроенном в его честь кружком писателей и ученых. В 1891 г. в немецкой печати появилась заметка Брандеса, посвященная творчеству Короленко.

нашего приезда в Копенгаген. Чтобы понять и проникнуть в эту незнакомую жизнь,— трех дней слишком мало. Чтобы глазеть на улицы и здания, в ожидании парохода— слишком много.

Вечер в Тиволи. Бесчисленное множество ресторанчиков, еще больше кегельбанов, паровая карусель, паровая качель, rutsch-bane, то-есть русская гора, затем Fregate s-t George,— с хором из дам в „Svenska national-costümen"... Каналы с домами, изображающие Венецию, волшебные гроты!.. И все это одно за другим посещается публикой: приходят, платят tio öre, tem und zvanz'g öre, получают одно удовольствие и тотчас же направляются к другому. Дети и старухи, публика чистая и ведет себя прилично. А тут же под боком — театр Varieté,— настоящий кабачек. На сцене безголосые, но дебелые, огромного роста певицы поют гривуазные песни и дерзают на легенький канканчик, а публика курит, пьет пиво, пунш или воду Apolinarius,— как мы с С. Дм.

Заграничная тоска только усилилась. Зато дома— ответная телеграмма: Santé completement amelioré Compliments Dounia [1].

Это совершенно рассеяло мой сплин.

11 (23) июля

С утра (11 ч.) — до 2 ч.— в музее Торвальдсена. На этот раз подавляющая масса его произведений начала укладываться в уме более систематично. Главная черта этого действит. могучего гения — возрождение и восстановление классической пластики.— В разговоре по этому поводу с С. Дм.— мне пришло в голову различие „классицизма" от „ложно-классического" направления. Можно

[1] Здоровье совершенно поправилось. Привет. Дуня.

быть в своих произведениях классиком — и им был Торвальдсен. Это значит — изучением литературы и искусства древних — дойти до такого проникновения идеей того времени и того мира,— что затем в своем творчестве художник восстановляет, воссоздает и даже творит в томже роде и духе. Быть классиком в этом смысле,— значит воссоздавать перед нами — образы классического мира, в их жизненной и правдивой красоте. Но когда лица, явления, события нашего мира и нашего времени — художник начинает подтягивать и втискивать в классические формы — это начало ложно-классическое, потому — что в основе кладется извращение и фальшь. Торвальдсен погрешал отчасти и этим в статуях: и Иосифа Понятовского и некоторых других, где лица нашего века и нашей культуры изображены в позах и одеждах римлян и греков... Но затем,— его чисто классические статуи действительно и истинно классичны, а статуи Гуттенберга, Коперника, Максимилиана Баварского,— поражают строгой простотой и верностию уже своей эпохе.

Во втором этаже — древности и картины, собранные Торвальдсеном или относящиеся до его личности. Здесь кидается в глаза огромное, почти подавляющее влияние италианской школы на датское искусство. Торвальдсен провел не мало лет в Риме, но Рим — современный,— не подавил его. Наоборот, погрузившись в античный мир, он вынес оттуда такие сокровища, что сам многому научил современных римлян и стал в ряду его гениев. Но большая часть и притом лучших произведений датской живописи, поскольку она представлена в музее Торвальдсена,— вся проникнута приемами италианской живописи: это или сцены из римской жизни, или пейзажи Дании, написанные „по римски“ с теплыми красно-бурыми тонами, совсем не идущими к северной природе... Среди этих картин

кидаются в глаза плохие, серые пейзажи Даля. Все это сухо, бледно, записано, во всем этом мало жизни. И если, тем не менее, они нашли здесь свое место, то надо думать потому, что здесь сказались проблески „своего", некоторая реакция против итальянской манеры. Может быть я и ошибаюсь, но иначе трудно об'яснить присутствие здесь этих плохих пейзажей в таком значительном количестве. Другие писали Данию итальянскими красками, Даль (Dahl) — залив Венеции при лунном свете ухитрился написать одними серыми тонами[1]...

Затем идут уже пейзажи Fearnley'a (190, Cascade en Norvege,— сильно взята горная природа, горы окутанные туманами и мрачные леса), Labouere'a — (122 — морской берег, с сильным еще влиянием итальянской школы), Buntzen'a 201, 204 (Датский пейзаж), Lundbye (XXVI, 255 — старая гробница в Зеландии), и др. Во всех этих работах — северные мотивы и северные тоны понемногу вытесняют итальянскую манеру. К сожалению, я не успел досмотреть до конца. Пробило 2 часа, раздался звонок и сторожа стали постепенно вытеснять публику, спуская шторы. А между тем, мне казалось, что именно в последних кабинетах, при ослабевшем свете передо мной мелькают все более живые и самостоятельные картины освободившегося датского искусства. Жанр и портреты тоже больше из итальянской жизни и в итал. роде. Между другими — я заметил, уже уходя — Кипренского, голову арм[янского] свящ[енника]. Наши русские — дали Торвальдсену темы для некоторых работ: есть статуи графини Бирон, княгини Барятинской и др.

В середине этого здания, построенного в виде огромного саркофага, во дворе, охваченном со всех сторон

[1] Лучше других — №186,— норвежский пейзаж, каб. XXX (прим. авт.).

стенами музея,— лежит простая гробница: каменный четыреугольник с цветником в середине. На боковых стенах написано:

Bertel Thorvaldsen
На другой — F. den 19 November 1770
D. den 24 Marts 1844

12 (24) июля

В 9 часов — из Копенгагена. Korsör, Nyborg, Frederica, Essbierg.— Дождь, туман, болота, плоская местность, перерезанная живыми изгородями, монотонная, скучная. Через два пролива — на пароходах (интересно, что багажные вагоны вкатывают прямо на пароходы по рельсам). Часов в 5 — в Эсбиерге, Hotel Royal... Туманное небо, дождь, и плоская земля, сливающаяся с плоским морем... (Нас привезли по недоразумению на пристань).— За номеришко, правда с видом на море — содрали в Hotel Royal — 3 кроны (запросили 4, оказывается — считается вместе с кофе).

13 (25) июля

В Эсбиерге[1]. Купались. Свежий ветер, волна и зайцы. Рисовал гавань.— Бросил письмо (картинки детишкам в Дубровку).— Характеристика Эсбиерга в письме Дуне (брошено сегодня)[2]. 2 газеты, театр. Большие торговые склады, полосы овса и картофеля на улицах (окраина) и рядом мастерские, паровики, приводы. В путеводителе говорится, что „вид Эсбиерга на половину американский".

[1] Впечатления от Эсбиерга изображены в неоконченной повести „Софрон Иванович" (при жизни писателя в печати не появлялась. Вошла в т. XVIII наст. изд.).

[2] См. письмо к А. С. Короленко от 12 (24) июля, „Письма" т. IV.

Вечером, с 5 часов на пароходе. Переселенцы — в Америку в 3-м классе. Противуположности 3-го и 1-го кл. (второго нет). Грузчики на пристани.— Отход — 9 часов Frisch Wind.— Волнение, темная ночь, темная туча за Fadö, гроза... Около 10 часов луна как то внезапно вышла из-за туч, вырезавшись в какую-то щель. Очень эффектно. Она будто нарочно вышла поглядеть на кутерьму, происходившую на море, попробовала навести свои блики,— но море их все ломало, не давая установиться. Луна опять так же внезапно ушла, а я... попал во власть морской болезни. Хорошо море,— но нужно долго знакомиться с ним, прежде, чем любоваться безнаказанно его красотами. По словам капитана — все пассажиры переболели.

14 (26) июля

В пути. До половины дня — повторялись припадки болезни у нас обоих.— С половины дня волнение стало утихать. Около 4-х часов целый ряд парусов был виден на южной стороне. Это уже мы приблизились к торному т. сказать, морскому пути из Англии на Гамбург.— До конца дня жалко было смотреть на женщин: переселенки страдали на палубе, дамы — в каютах, одна лежала в общей... Нас с С. Д. болезнь оставила и я писал письмо мамаше. Все-таки весь день — тяжесть в голове и неприятное настроение,— какая-то несвобода.

15 (27) июля

Мои именины — встретил в море.

Около 4-х часов утра видна земля,— Англия. Она долго тянется с правой стороны. Сырое утро, палуба мокрая.— Море значительно утихшее, никаких признаков морской болезни.

Часов в 10 мы были уже в Лондоне.
Письма от мамаши от 28 июня и 5 июля.

16 (28) июля

В Лондоне.— Утренние газеты сообщают о драке в парламенте.
Заказали платье.— Письмо мамаше (отпр.).

В нашем отеле, в углу одного из корридоров есть окно, которое мне напомнило одну легенду о колоколе. Колокол этот обладал свойством собирать в себя все звуки города и подойдя к нему, вы различали ясно все вопли и стоны, все крики торжества и все проклятия, все молитвы и все богохульства, которые за день набирались из суетливой жизни большого города. В первый-же раз, как я очутился у этого окна, выходящего на Trafalgar-square— легенда о колоколе встала в моей памяти. Казалось, будто весь грохот огромного Лондона, подхваченный какой-то акустической случайностью, летел, точно в трубу в узкий дворик и из него пролетал мимо окна. Чего тут не было: и грохот омнибусов, и крики кондукторов, и говор толпы, и труба загороднего дилижанса до сих пор, как во времена Диккенса, покрывающего звуками рожка шум лондонских road'ов и street'ов, и голосок продавщицы цветов, и рокот безличной как океан людской толпы... Но над всем этим в первый вечер и на следующий день господствовали звонкие, какие-то отчаянные голоса, детские, мужские, старческие и юные — голоса газетных разносчиков. Это была особенность уличного говора в первые сутки...

— Evening special... The Grafic... Evening special... Daily News... Free fight on the House [1]...

[1] Экстренный вечерний выпуск... „График“... „Дейли Ньюс“... Драка в Доме...

Когда на улице мы подошли к одному из этих продавцов газет, он сунул нам №, положил не считая деньги в карман — завернул, как петух голову на бок — и из его раздувшегося горла полетели опять отчаянные крики.

— Фри файт эн де гэус... Ивенинг спешал...

Публика жадно раскупала листки, но уже новые отряды этих крикунов летели с новыми кипами таких-же листков и у каждого так же раздувалось горло (кричать так, чтобы было слышно на лондонской улице — не шутка!) и у каждого болталось у ног нечто в роде передника,— газетный старый лист, на котором по устаревшему тексту шрифтом афиш было напечатано: Free fight on the House...

Free fight,— в дословном переводе — свободная драка,— свалка, открытый бой,— звучит обычным английским юмором: как ни переведите,— но свалка или открытый бой в палате достопочтенных member's of parliament, провозглашаемая уличной голытьбой, живущей как птицы этими крохами скандала,— эта картина отмечена печатью чисто Диккенсовского юмора. „Мистер Чемберлен[1]— как адвокат диавола!"... „Мистер Гладстон[2] назван иродом". „Шишка на лбу у полковника Соундерсона. Фри файт, фри файт, фри файт"...

Так грохотала на все лады лондонская улица...

Как же это вышло и как могло случиться, что такое сдержанное, высоко-корректное и по английски хладнокровное, такое, наконец, высокое собрание,— как палата депутатов, house of commons, притом в Англии — этой колыбели традиционного парламентаризма — дошло до открытой уличной свалки?

[1] Чемберлен, вождь либералов-унионистов, глава парламентской оппозиции, противившийся проведению гомруля (закона об автономии Ирландии).

[2] Гладстон (1809 — 1898) знаменит. англ. госуд. деятель, в то время первый министр.

Подробности теперь уже целиком известны из газет. В парламентской комиссии шло второе чтение билля о гом-руле. Второе чтение — решающее,— третье чтение в парламенте — это уже одна формальность. Так сложились уже крепкие парламентские традиции,— конечно, оппозиция напрягала все свои силы. Известно также, что оппозиция в этом деле очень широко пользовалась обструкционными приемами: не только основные пункты, но и каждая незначительная мелочь проекта вызывали со стороны оппозиции продолжительные речи, придирчивую и пристрастную критику. Когда тем не менее гом-руль, под опытной рукой престарелого Гладстона проходил один за другим все подводные камни, выдвигаемые на его пути оппозицией,— страстность оппозиции все возрастала, а ирония стала переходить в желчные и порой прямо уже враждебно-грубые сарказмы. Это была месть игроков, безнадежно теряющих игру и старающихся донять счастливого партнера язвительными колкостями. Особенно силен по этой части м-р Чемберлен, у которого по словам англ. газет — скверный язык, слишком часто сводящий вопрос на личную почву. В ответ на эти потоки плохо прикрытых парламентскими формами оскорблений Гладстон позволил себе маленькое возмездие. В одной из своих речей он напомнил, что в Риме, когда предстояло канонизировать нового святого, духовный трибунал назначал кандидату в святые защитника, но вместе и обвинителя. Обвинителю вменялось в обязанность собрать все, что мог-бы сказать диавол, оспаривая душу покойника у рая: все самые маленькие грехи (а какие уж грехи у святого) — он должен был преувеличить и выдвинуть вперед так, чтобы они закрыли достоинства. Этот обвинитель назывался the devil's advocat. Таким адвокатом дьявола является по отношению к home-rule'ю мистер

Чемберлен, но это все таки не может помешать канонизации... Стрела попала очень метко. M-r Chamberlan the devil's advocat стал фигурировать в этом звании в бесчисленных каррикатурах. Англичане любят острое слово, в особенности сказанное так спокойно и корректно, с ученой ссылкой на историч. факт, с соблюдением всех приличий. Крылатое слово Гладстона облетело все страницы всех столичных газет. В одной (кажется Punch'e — не помню точно) мне попалась каррикатура: гом-руль в виде новорожденного младенца, еще в пеленках но с свободными руками, в которых он держит пальмовую ветку,— готов вознестись на небо, окруженный сиянием. Адвокат диавола с сжатыми кулаками мечет свои последние клеветы и оскорбления, но уже истощил все аргументы и беспомощно склоняет ухо к своему вдохновителю. А сам devil, лохматый с рогами и хвостом, и очень смешной, шепчет ему на ухо свои советы...

M-r Chamberlan не пожелал остаться в долгу, но, как это часто бывает, не с'умел удержаться в должных пределах корректности. Между тем второе чтение кончалось, оставалось только $^1/_4$ часа до голосования. Напряжение с обеих сторон достигло последнего предела, что и совершенно понятно, если принять в соображение, какие существенные интересы стояли на карте: для ирландцев это был вопрос освобождения их родины: нужно помнить, какие жертвы были принесены ирландской партией в пользу парламентского решения вопроса, прежде чем ирландский патриотизм отказался от бурных порывов фениев [1] и стал на почву легальной борьбы. И вот приближается момент, самый критический мемент, когда вопрос назрел и по плодам отечество будет судить о правильности избранного пути и об ошибке. А ошибки в истории — равны

[1] Ирландская революционная партия.

преступлениям. С другой стороны, за торіями и унионистами стояли все материальные интересы целого английского класса и пожалуй часть хотя и незначительная — Ирландии (Ульстера). Для унионистов (по этому именно вопросу отколовшихся от вигов), для которых все право на жизненное их существование, как партии,—коренилось всецело и исключительно на борьбе с гом-рулем,—здесь был жизненный нерв...

Понятна поэтому страстная напряженность, которая, как взрывчатый газ наполняла, атмосферу парламентской залы, когда встал мистер Чемберлен в последние $^1/_4$ часа.

Однако,—прежде несколько слов об английском парламенте, в котором мне пришлось побывать три-четыре дня спустя после свалки.

На берегу Темзы, не вдалеке от Лондонского моста, стоит огромное здание в чисто готическом вкусе, с скульптурными украшениями в виде тонкого каменного кружева. Две башни рисуются высоко в туманном лондонском небе. Одна украшена (или—на чей вкус — обезображена) громадным циферблатом. Это часовая башня, куда, как кажется, сажают провинившихся достопочтенных джентльменов палаты (здесь, говорят, сидел Бредло[1]. На стороне противуположной реке, прямо против знаменитого Вест-Минстерского аббатства — примыкая одной стеной к роскошному зданию, стоит другое, небольшое и скромное, выведенное в том-же готическом стиле, старее на вид и в общем, несмотря на такие же...[2]

[1] Брэдло (1833-1891),—англ. политич. деятель, республиканец и атеист; в 1880 г. за отказ принести обычную депутатскую присягу и неподчинение требованию покинуть парламент, был заключен под стражу.

[2] На этом запись обрывается. Пребывание в Лондоне и инцидент в Парламенте подробно описаны в очерке „Драка в Доме“ (т. XVII наст. изд.) и в неоконченном наброске под тем же заглавием (т. XVIII наст. изд.).

19 (31) июля

Встреча с Гладстоном в Gr.-Hotel'e.
Пляска на улице.

20 июля (1 авг.)

Были в парламенте.

23 июля (4 авг.)

В 4 ч. 10 м. дня — выехали в Ливерпуль. До того — ездили в general post-office. Ни писем, ни телеграмм не оказалось. От Лондона до Ливерпуля — курьерский поезд шел 4 часа с минутами. Остановки в 2—3 местах.— К концу пути — мелкий дождь хлестал в окна, пейзаж утопал в потоках косого дождя с сильным вихрем.

Но прежде этого — я много любовался своеобразным английским пейзажем и мне постоянно вспоминались прелестные страницы из Тэна, в которых он характеризует эту страну. Да,—это благословенный уголок, баловень умеренной полосы, где земля, напоенная досыта теплою влагой, дает могучую растительность и взращивает могучее племя. Необыкновенная свежесть и чисто весенняя яркость зелени, поражавшая меня в парках Гельсингфорса и Стокгольма — там составляет результат ухода и поливки; луга-же и поля похожи на наши. Здесь — скошенный луг дает те-же чисто весенние оттенки, и широковетвистые темные дубы так красиво и ярко рисуются на этих веселых зеленых площадках, точно какой-то художник нарочно придумывал эти эффекты. К этому следует прибавить, что здесь уже нет угла, не обработанного, не измененного не сглаженного человеком, нет дерева, не посаженного или не пересаженного человеческой рукою. Когда

вы смотрите вдаль,—кажется, что вся она занята лесами: синеет всюду могучая, зрелая, темная зелень. Вблизи — все только поля, но сплошь изрезанные по всем направлениям живыми изгородями из старых деревьев. Вот бежит дорожка,—это целая аллея. Вот котэдж,—это беседка в саду. И всех этих изгородей, аллеек, куп разной зелени — такое множество, что они все сливаются в одну синюю, будто лесную даль...

А речки! На них тоже всюду, где можно — разрослись старые дремучие деревья, ветлы обрамляют их бледной листвой, дубы и вязы — наполняют овражки сплошною массой своих зеленых вершин. А между тем ни одна из этих речушек, ни один аршин их берегов — не оставлены в прежнем, естественном их виде: все это выровнено, направлено, регулировано человеком. Здесь нет наших тонких, капризных то мелеющих и загнивающих, то бушующих, и ломающих мосты речушек... Я долго следил и любовался одной из таких речек на нашем пути. Долго она бежала рядом, в своих зеленых берегах, кое-где — по насыпи, как и рельсы. Вот наш поезд врезался в туннель и тьма скрыла от меня мою речушку. Когда поезд вылетел опять на простор — я стал с участием искать речку. Что сделалось с нею, как она обогнула гору, где заблудилась, отступив от своего пути... И я нашел: недалеко от нас она,—такая-же веселая, в таких же зеленых берегах выбегала из другого туннеля, старательно проделанного для нее человеком, и старые деревья так-же любовно принимали ее после этого в свою покровительственную тень... Для нее устроено все: насыпи, чтобы она не терялась в болотистых топях, шлюзы,—чтобы она не разливались без надобности по полям... И по ней, узенькой, но глубокой,—идут такие-же узенькие барочки, точно игрушки и маленькие пароходики

с шутливыми свистками буксируют игрушечные караваны этих барок по игрушечной речушке.

Все это налагает на всю природу Англии в ее целом свой особенный отпечаток, который отлично передавали прежние ее пейзажисты. В...,[1] в Кенсингтоне вы можете видеть эти пейзажи. Они — под стеклами и порой кажется, что и рисованы они на стекле: до того свежи и прозрачны их краски, до того ярки эти луга и нивы, до того глубоко темны шатры деревьев. Сначала мне показалось даже все это — известной условностью старой школы, преувеличивавшей эффекты света и теней. Но теперь, глядя на этот пейзаж даже при угасавшем дне,— я понял, что английская кисть только подражала английской природе, где самые повидимому пустынные уголки,— уже отделаны, приглажены и усовершенствованы человеком! И мне при виде этих почти светящихся полянок,— все вспоминались виденные в музее картины. Теперь уже так не пишут и в Англии. Модный импрессионизм, и модное же стремление к серым, обесцвеченным теням, к диссонансам, в которых реакция против искусственности ищет исключит. правду,— впадая в другую искусственность и условность,— все это, как модное, заполонило „Royal Academy“... Я удивлялся чрезвычайной слабости современного английского пейзажа, и только вглядевшись в эту природу — понял, в чем дело: в английской природе нет места импрессионизму, к ней не идут эти широкие, взлохмаченные шероховатые мазки, эта гоньба за беспорядком и диссонансами... Старые мастера, отделывавшие свои картины, владели лучше тайной этой сплошь отделанной природы, они улавливали особенное выражение этого пейзажа. А теперешние подражатели переносят

[1] Пропуск у автора.

выжженную траву и серую зелень на цветущие луга old merry England[1]... И выходит фальшь, мертвая, хотя и новейшая условность и плохое подражание.

Но есть ли красота в этом „отделанном" пейзаже? Есть, несомненно. И мне теперь начинает казаться, что романтизм „пустынной нетронутой природы",—которым и я грешу в весьма значительной степени,—отчасти носит печать русского происхождения. По многим причинам, наше влияние на природу сказывается тем, что мы разрушаем, а не преобразовываем. Где был могучий бор — остались пеньки. И мы говорим — вот влияние человека. Или мы взгромоздим фабрику, которая покроет все кругом отбросами, нищетой и голью,—и опять говорим: а прежде здесь была красота. Здесь не то: здесь природа преобразована, но не истощена, не разрушена. В этой стране явился отпечаток человеческого труда и духа,—сам могучий, как стихия, и страна превращена в один сад, обильный и цветущий. И когда над ним сверкает солнце, когда над ним ширится туча, когда несется над ним гроза, когда синие потоки ливня закрывают ее холмы и равнины, чтобы опять уступить место золоту солнечных лучей — та-же божия красота сияет над ней, освещая кроме стихийных обычных явлений, еще и новую стихию — творчество человека, изменившего самый облик страны...

Есть много утешающего и успокаивающего невольный пессимизм романтика — в этом ободряющем зрелище![2]...

[1] Старой веселой Англии.

[2] Изложенные в этой записи путевые впечатления послужили материалом для двух набросков не напечатанных при жизни автора: „Отрывок без заглавия" и „В чужой стороне" (т. XVIII наст. изд.).

24 июля (5 авг.)

Ночевали в отеле „Adelphi“ в Ливерпуле.— В 2 часа на пристани, часа в 3 переправились на тендере на Уранию, которая стояла на river'e[1]. На пристани опустил письма: мамаше и Дуне (закрытые). В 4 часа Урания двинулась в путь. Долго слева сопровождали нас гористые берега Уэльса и два вращающиеся маяка сверкали в вечерней мгле над горизонтом. Ветер опять свежий, волны с белыми гребнями обдают пароход, морская болезнь очень скоро намечает себе немало жертв. Мы—пока ничего. Ночь дождливая, мглистая. Горы, которые долго тянулись на юго-востоке, то удаляясь и утопая во мгле, то совсем близко от нас,—теперь невидны. Дождь прогоняет пассажиров с палубы. Я лег часов в $11^1/_2$, оставаясь на палубе, сколько было можно. Третий обитатель нашей каюты, любезный американец,—зажег мне электр. фонарик, и мы обменялись приветствиями на разных языках. „Bon soir“—сказал он, а я ответил „Good night“. Это доставило ему повидимому большое удовольствие. Я разделся, лампочка погасла, и мы доверчиво отдались на волю ветра, волны и искусства наших кормчих... Впрочем, к вечеру качка стала значительно слабее. Мы идем еще проливом.

25 июля (6 авг.)

Сутки в океане.

В 7 часов пароход подошел к Queenstown'у—небольшой, кажется, городок южной Ирландии. Я проснулся

[1] Момент посадки на пароход „Урания“ изображен в двух отрывках (I и II), вошедших в т. XVIII наст. изд.

от остановки парохода. В каюте брезжил полусвет туманного утра, где-то очень близко, как будто за тонкой перегородкой слышались всплески дождя, наш 3-й компанион совершал уже свой туалет. Выйдя на палубу, я увидел, что Урания стоит в бухте, со всех сторон окруженная землей, островами и скалистыми мысами. Дождь продолжал поливать море и землю, которая проступала сквозь беловатую мглу. Когда немного прояснилось, я увидел на мысу — какие то каменные стены с бойницами и серая грузная башня вырисовалась на горе, господствуя над бухтой. Над башней развевался флаг. Вид суровый и слегка архаический [1]. От дальнего берега отделилась лодка, которая сначала показалась каким то фантастическим животным, а затем приблизилась к нам. Несколько ирландцев и две женщины привезли продавать зеленые яблоки и разную мелочь. Они зачалили за веревку, кинутую с парохода: лодку их немилосердно взмывает волной, сверху обливает дождем. Мущины одеты в непромокаемые куртки, шляпы и панталоны, а бедные женщины в темных платьях и белых платочках — промокли до нитки, платья на них прилипают и видно, что все мокро совершенно. Им спускают веревки, а они привязывают к ним корзины. Один из ирландцев поднялся к нам на палубу и продает эмигрантам платки и разную мелочь, другой — встащил с собой корзину с яблоками. Их окружила толпа, среди которой идет веселый говор и шутки: смеются над ирландцами, как у нас над пошехонцами или хохлами. Ирландец старается парировать насмешки, но видимо не успевает, т. как находится в меньшинстве; это не мешает ему успешно продавать яблоки и корзина пустеет. Мне досадно, что я ничего не понимаю в этой

[1] В этом месте записн. книжки сделан пером набросок башни.

сцене, также как ничего не понимаю из того, о чем рядом беседуют старый американец с козлиной бородкой и негр с лоснящейся рожей и очень неглупыми чорными как уголь глазами. Американец говорит спокойно, но негр то и дело отворачивается и хватается за грудь от смеха. Часов в 11 подошел пароходик из города и часть публики поехала в Кингстоун. С. Дм. не хотелось ехать, мне не захотелось одному. Вместо поездки — я успел написать 4 письма: Дуне, мамаше, тете Лизе [1] и Григорьеву [2] (первые два еще накануне) — они пойдут из Кингстоуна.

В 1 час дня — покинули последний европейский берег, прошли мимо скалы с укреплениями (осталась влево), вышли из бухты и имели случай убедиться, что ветер не утих: в бухте было спокойно, но океан покатил на нас целые гряды пенистых волн. Нептун собрал к вечеру обильную жатву, но мы с С. Дм. уцелели. У меня к вечеру прошла даже легкая тяжесть в голове и какая-то неловкость, которые я чувствовал уже два дня, еще в Лондоне, кажется как последствие сильного насморка.

Ветер не стихает, волна становится даже все сильнее и наша Урания качается значительно. Но океанская волна как то солиднее, ровнее, ритмичнее. Вода постепенно меняет оттенки. Уже в бухте я смотрел и любовался, как киль лодки резал эту ярко зеленую зыбь. Теперь в массе проступает глубокая синева, а по горизонту, когда туман разредится,— виден фиолетовый оттенок. Гребни волны — фосфорически белеют на этом глубоком фоне. Вечером красота необыкновенная. Часов в 9 ливень

[1] Елизавета Осиповна Скуревич, сестра матери В. Г., жившая в его семье.

[2] Вас. Ник. Григорьев, статистик, член Москов. город. управы, товарищ и близкий друг В. Г. со времени Петровской Академии.

с вихрем прогнал публику в салоны. Какой-то самодовольный толстозадый немчик, в колпаке с шариком, сел к фортепиано и стал барабанить, довольно умело, но ужасно смешно какую то пиесу. Видимо он был занят собой, а не пиесой, старательно позировал, смешно кривлял лицо и самодовольно любовался собой в зеркало, висевшее над роялью. Даже и меня, совсем незнающего музыки,— совершенно оскорбляло его дурацкое и деревянное исполнение; а англичане и англичанки сидели и показывали вид, что млеют от восторга. Я ушел.

А в это время под нами играл и пел свою песню — могучий океан. Он лежал весь чорный, ясно отделяясь от мглистого неба, и по нем вспыхивали, именно вспыхивали и катились, как то внезапно угасая и оживая вновь, белые гребни. С левой подветренной стороны у парохода стоял ритмический шум: волны кидались, подымались кверху и кинутые назад, гулко шлепались на другие встречные волны, рассыпаясь в воздухе белою пеной. Меня удивила чрезвычайная белизна этих валов: казалось, целый пожар подымался до самой палубы, и я стал искать глазами электрического фонаря, думая, что этот свет с парохода. Но я ошибся. Это море и играло и светило само. Я очень скоро убедился в этом, увидя в глубине массу огненных шариков, которые бились с волной о борта нашей Урании и плыли вдоль, светя, как огромные светляки. На другой не подветренной стороне — шуму и движения было меньше, но зрелище еще интереснее, и оно произвело на меня впечатление еще более глубокое. Здесь волна не кидалась сама, а только убегала от парохода. Таинственная, фиолетово-черная глубина разделялась вдруг фосфорической струей и эта струя с рокотом откатывалась вдаль, светя, и сверкая. Повременам целые водовороты электрического света

воронками опускались книзу, унося этот свет в неведомую глубь и исчезая там постепенно, а на смену уже шли новые и новые волны, по которым как то особенно сознательно, не торопясь и как будто удивленные — проносились яркие фонарики, не подчиняясь общему движению,— а шныряя по своей воле по разным направлениям. И невольно какое-то почти суеверное чувство охватывало при виде этой таинственной жизни, проступающей из неведомых глубин. Так и кажется, что кто-то там удивлен, и пожалуй огорчен, и пожалуй рассержен этим неожиданным проходом нашего корабля, который к вечной гармонии ветра и волн, гармонии привычной и знакомой,— примешивает эти странные, некрасивые удары машинных поршней и смело режет и дробит волны, идущие предвечным стихийным путем. И кажется невольно, что глубина смотрит выжидающе и враждебно, что это она высылает своих соглядатаев, которые вьются кругом со своими фонариками... Вьются, и глядят, и негодуют и уходят в глубину, унося то-же суеверное непонимание и жуткое ощущение тайны, какое охватывает даже и сердце человека, глядящего в эту неизведанную им глубь...

А за кормой в фиолетовой черноте, невыразимо угрюмой и невыразимо прекрасной,— идет такая же резко светящаяся гряда, колеблясь и угасая. И до последнего момента своей жизни, уже на самом горизонте — волна с пенистым гребнем встает такая же яркая, резкая, живая. Она уменьшается, но не бледнеет и даже умирая еще раз режет фосфорической чертой темную глубь... Я долго не мог оставить палубу, несмотря на редкий, но крупный дождь и ветер, пока наконец не попал в целый поток волны, плеснувшей на борта. Она промочила мне ноги, и я ушел в каюту. Опять good night любезного соседа.

Сосед — американец-коммерсант. Он ухаживает за встречной немкой и проходя мимо нас по палубе под руку с нею,— считает нужным улыбнуться с самым злодейским видом.

Спал я отлично, не взирая на качку.

26 июля (7 авг.)

2-ые сутки в океане.

Проснулся часов в 8. Американец уже ушел. У нас темновато, только против меня висит зеркало, в которое виднеется отраженная полоса (это отверстие наверху нашей стены). Зеркало с этой полосой,— я вижу — все падает на меня, потом подымается опять и тогда меня что-то сильно прижимает к перекладине моей постели. Качка сильная, наверху слышны порывы ветра, а за стеною — кто-то мучительно страдает морской болезнию.

День довольно светлый, море ярче, голубее, волны отложе, но зато гораздо больше, горизонт то и дело ныряет ниже кормы, то подымается выше мостиков. В публике много истомленных лиц, во втором классе какого то молодого человека уже водят под руки. Мы с С. Д. не пропускаем ни одного завтрака и обеда — и до сих пор ничего. Сегодня я чувствую себя совсем хорошо.

27 июля (8 авг.)

3-и сутки в океане.

Проснулся с легкой головной болью, но без всякой тошноты. Качка ночью была очень сильна: я проснулся от того, что меня перебрасывало от стенки к перекладине моей койки и обратно. Лег несколько наискось и заснул. Воздух в нашей каюте и днем — ужасный,

вентиляции почти никакой, а теперь нас здесь спит трое.— Думаю,— этим отчасти об'ясняется моя головная боль. Однако, качка попрежнему не производит на меня впечатления и я равнодушно смотрю, как борты взлетают выше горизонта и опять опускаются, как бы готовясь зачерпнуть соленой воды. Познакомился с еврейчиком из Вильны. Теперь едет в Чикаго к родным; три дня ничего не ест: сегодня 1-й день несколько оставила его морская болезнь. Узнал, что мы из Нижнего и спрашивает: правда-ли, что в Нижнем можно делать хорошие дела с рогожей. Ничего не мог ему сказать, кроме того, что вообще можно делать много „хороших дел" в Нижнем... Наш американец, в беседе с С. Дм., говорил об евреях, что и он их не любит... „Разумеется,— прибавил он,— я не одобряю еврейских преследований. Я их не люблю, и только. Я вот и баранины не люблю, но не могу-же запретить, чтобы ее подавали за обедом". Наш американец — человек не мудрый, но это в нем сказалась мудрость его нации[1]. — С ночи дует северный прохладный ветер. Поставили на Урании паруса. На волнах появились гребни, но волны меньше. Зато от парусов — сильная боковая качка. Тем не менее морская болезнь видимо ослабевает. В 1 классе матросы расчертили мелом полы и затеялись между джентльменами разные игры, а на нижней палубе эмигранты отплясывают под гармонию вальсы и польки. С. Д. свел знакомство со шведкой miss Linder,— приятная дама около 30 лет, много путешествовавшая. Читала „Сл. Музыканта", и С. Д. дал ей еще шведский перевод моих рассказов, поэтому познакомилась и со мной. Разговор — на франц. диалекте.

[1] Разговоры с пароходным спутником послужили темой очерка „Мнение американца Джаксона о еврейском вопросе" (см. т. XVII наст. изд.).

По вечерам, в курительной комнате, которую мы не посещали до сих пор,— происходят какие-то заседания. Общество курящих джентльменов уже об'единилось. Вчера вечером, заглянув в наружное окно Smoking-room'a,— мы увидели, среди табачного дыма, в сизоватой атмосфере,— все почтенное собрание, занятое какой-то игрой. Молодой человек, стоя говорил что-то, а все слушали, повременам вставляя реплики. Оказалось, что это англичане уже устроили игру на пари. Каждый день капитан вывешивает курс и скорость парохода. Так вот теперь джентльмены, от нечего делать, угадывают, сколько будет выставлено завтра. Дело идет, конечно, о десятках миль. Вчера было 416. На сегодня одни говорят 413, другие 419 и т. д. Все это сопровождается назначением на каждую предложенную цифру известной суммы. Завтра выигрыши будут распределяться пропоционально, как ставки на скачках.

Часа в 4—5 на горизонте появился корабль. Парусное судно шло в одном с нами направлении на всех парусах, рисуясь ясным силуэтом на самом горизонте. Это для нас событие. Мы теперь в самой середине океана, хотя прошли только немного более $^1/_3$ пути. Но целая треть дороги, начиная с долготы Нью-Фаундленда,— проходит невдалеке от земли. А теперь — на север открыто до сев. полюса, на юг — до южного! Мы долго следили за отставшим кораблем, пока он не потонул назади за линией океана...

Две-три птицы и здесь вьются над волнами!

28 июля (9 авг.)

4-е сутки в океане.

И бысть вечер и бысть утро — день 5-й. Вечер (вчера) сносный, но утро серое, дожливое, туманное и с сильнейшим ветром. Вчера ветер переминился, на противуположный, как будто какое-то дружеское божество

хотело успокоить океан. Но сегодня опять S.-W. вернулся с прежнею и даже большею силой. Уже с утра часа в 4 наш американец выбегал из каюты и жаловался, что его схватывает. Меня так кидало в постели, что я совсем не выспался. Палуба мокрая, матросы в непромокаемых платьях натягивают тенты и расставляют стулья. Океан в молочном тумане — напоминает мне недавно виденные английские марины — с попытками изобразить нечто подобное: туман как молоко, из тумана чуть выделяется океан, с легко намечающимися морщинами волн. Только там на картинах — это бледно и безжизненно, а здесь полно ветра, движения и шума. Англичане всё берут море издали,— а оно и интересно и понятно только тогда, когда вблизи вы видите живую волну на первом плане. Это отлично понял Айвазовский: у него всегда впереди этой бесчисленной рати — идет волна-герой, со своей собственной, индивидуальной физиономией, с блеском и плеском, с массою просветов и глубоких теней, со всей игрой глубины и прозрачности. А фон, толпа отдаленных волн — назади лишь оттеняют роль передовых... Это придает картинам Айвазовского особенный драматизм и оживление, которые совершенно теряются, когда океан трактуют издали, лишь как безличную толпу волн...

Мы всё крепимся. Сегодня качка боковая сильнее всех предыдущих дней. Во время утреннего завтрака на столе, кроме обычных закраин, поставлены еще по две перегородки в середине. Ходить трудно: С. Д. уже упал раз на палубе. Налево среди волн был виден пароход в одном с нами направлении (перед обедом). Писать трудно. Дописываю впечатления этого дня — уже на утро следующего. Согласно предсказанию капитана — в половине дня ветер переменился — в N.-W. Я ждал, что от этого волна станет меньше, но океан как будто

освирепел. Его синева вся взломалась белыми гребнями, волны все выростали, кидаясь теперь на правый борт. К обеду качка стала сильнее, чем во все предыдущие дни, передняя часть корабля с передним мостиком все время виднелась сквозь брызги и пену, потом волны стали хлестать уже из середины бортов на нашу верхнюю палубу. Когда мы с С. Д. ради гимнастики вышли на ту сторону, нас сразу-же обдало целым ливнем, от которого мы едва успели спастись за лодку. Когда и после этого мы не ушли,— ветер схатил у меня с головы шляпу и произведению Мориса из Москвы (на Тверской) пришлось бы погибнуть в волнах Атлантич. океана,— если бы перелетев через рубку и капитанский мостик,— она не запуталась в снастях. Когда я явился без шапки на ту сторону,— публика встретила мое появление сочувственным смехом. Шляпа оказалась в руках какого-то старого джентльмена.

А волны все сильнее. Справа, под ветром — это целые холмы. Один раз мне показалось, как будто что огромное, сознательно-злое ринулось на Уранию, подымая ее плечом и на палубах поднялось смятение. Все, стоявшие на ногах, оказались у веревки, протянутой вдоль бортов, и даже стулья с сидевшими на них сдвинулись. Страшно глядеть на эти волны, на эту изборожденную синеву, взлетающую с необычайной быстротой кверху, и не менее быстро опускающуюся книзу. Вот-вот кажется борта зачерпнут волну — и вдруг вас кидает в другую сторону, горизонт падает, вы подымаетесь и только небо видно из за бортов. Минута и опять волны вот-вот вскочат к вам... Есть от чего закружиться голове.

Мне было интересно наблюдать горизонт: повидимому— он не далеко. По крайней мере он не представляется теперь прямой линией: на нем то и дело встают холмы,

точно спина кита вдруг поднялась на этой черте, поднялась, постояла и упала. И вы видите даже белый гребень взлетающий к небу.

Но все таки — наиболее величав и грозен океан у самого корабля. Вы видите, как огромные холмы, разделенные долинами, мчатся навстречу, но корабль посылает на них с своей стороны встречный вал... Несколько секунд яростной борьбы, шум и плеск, туча брызгов и пыли — и затем широко, далеко, вся блестя и шипя отлетает белая пена, живая, говорливая, подвижная. Взлетая на десятки саженей, она покрывает клокочущей разбитою массой соседние волны, а корабль опускается грудью в новые гряды...

Красиво, но беспокойно. К счастию, мы еще не потеряли способности любоваться этой красотой, но сегодня, более, чем когда вспоминаем о могуществе Нептуна. Под вечер ветер еще крепнет, волна еще вырастает, морская болезнь опять валит свои жертвы. Океан теряет синеву, теряет краски. Хотя тучи расходятся и в небе из-за облаков проступает синева, — но море бледно, пена валов не сверкает и вечером — нет в море огоньков. Только ветер ревет, визжит в снастях, шипит по бортам и воет в трубах... Наша знакомая, закутанная пледами, сидит в ряду других дам, томных и бледных. Мужчины ходят шатаясь и выплясывая, чтобы согреться. И только моя соседка по столу, тоненькая красавица ходит под руку с каким то верзилой, как ни в чем не бывало, и так приятно раздается в темноте ее нежный, но смеющийся и веселый голосок...

Мне казалось, что мы испытываем чуть не бурю, но капитан находит, что это только веселый ветер (merry wind), а матросы называют это brease (бриз). За этим следует еще „свежий ветер“ и потом gell (гелль), нечто в роде

шторма или бури. В зимние бури, — говорил капитан,— лодки стоящие на нашей верхней палубе, погружаются в воду и тогда приходится менять курс. А в этот веселый ветер капитан распорядился еще поставить парус. Темные силуэты матросов появились на мачте, свисток, и вдруг связанный до сих пор парус стал расправляться, ветер ринулся на него, он забился как крыло подстреленной птицы и над пароходом понеслись тревожные звуки, точно ряд пистолетных выстрелов. Но блоки, под жалобный, в роде нашей дубинушки, припев матросов, тянут парус все выше и вскоре к целой симфонии диких звуков, сопровождающих нашу Уранию в океане, — присоединяется глубокий гул ветра в раздувшемся парусе.

29 июля (10 авг.)

5-е сутки в океане.

5-ые сутки, шестой день! Ночь была очень беспокойная. Я засыпал хорошо, но мало: сильная качка, кидавшая меня с боку на бок, — то и дело будила от сна. Среди ночи что-то упало: свалились книги с полки. Потом послышались какие то громкие стуки. Я выглянул из койки и увидел в полутьме, что это чемодан С. Д. прогуливается по каюте: то стукнется в чемодан американца, то отправляется через всю каюту опять на свое место, извещая о своем прибытии громким ударом в перегородку. Я чувствую с неудовольствием, что мне придется принимать меры против этого своеволия, но вскоре боковая качка сменяется на время килевой, и я пользуюсь этим промежутком, чтобы заснуть. Потом еще раза два среди ночи повторялись эти экскурсии.

Утром — протяжные свистки. Мы идем в тумане. Ветер несколько стих, волна стала спокойнее, горизонт затянут мглой,— море колышется, точно под оделяом из тумана.

Знакомый еврей из второго класса жалуется, что вчера вновь день и ночь прострадал. Он даже оскорбился, когда я передал ему отзыв капитана о вчерашнем веселом ветре. Во 2-м классе ходит легенда. Кто-то видел вчера, на южной стороне парусное судно с красным флагом. Его било и кидало и наконец, на глазах у глядевшей на это публики, судно пошло сразу ко дну. Это, конечно, пустяки: Урания не прошла бы, не подав помощи. Но это показывает, как представляется публике „веселый ветер".

Для нас еще сутки прошли, в отношении морской болезни, благополучно. А вчера уже Нептун обоим издали грозил пальцем.

Около полудня становится заметно теплее. Судя по табличке капитана,— мы отклонились несколько к северу и уже идем близко к Ньюфаундлендской мели.

День тихий, около полудня было жарко, но после опять побеял N.-W. Стало холоднее, но вскоре ветер затих. Матрос то и дело достает воду из океана и меряет температуру. Этим определяют близость мели. Говорят, с утра темп. воды повысилась на 1°. К обеду — волна почти улегалась, пароход идет, как может итти на Волге,— только вздрагивает от ударов поршня да незаметно плавно покачивается. Но это относительно. Волна все таки — океанская. Мы встретили два парусных корабля. Один прошел совсем близко,— и было видно, как его нос то уходит в волну, то взлетает над волной. Кроме того, прошла невдалеке парусная шлюпка с какими то храбрецами, удалившимися дня на три от берегов на своей скорлупе. С. Д. познакомился с нашей соседкой по столу. Она — датчанка, но живет в Америке.

К вечеру — море еще глаже, туман. Машина работает тихо и осторожно и глубокий унылый свисток то и дело

несется в туманную даль. Мы еще раз перед сном вышли на палубу. Наверху неясной звездочкой мерцает фонарь, туман ходит даже по нашей палубе, пронизанный огнем фонарей. И свистки, свистки!.. Временами, бог весть откуда, сверкает молния и свет ее разливается во мглистом сыром воздухе...

30 июля (11 авг.)

6-е сутки в океане.

Тихая, туманная, спокойная ночь. Я заснул под звуки протяжных свистков, бросавших свои предостережения на простор туманного океана. Проснулся уже утром. В каюте тепло, слышны завывающие звуки медного гонга,— значит 8 часов. Палуба слегка сырая от ночного тумана, синеватая мгла легкой дымкой носится еще над бледным горизонтом, но вблизи море уже приняло свои ясные лиловато-голубые тоны. Теперь, когда я это пишу (часов в $10^1/_2$ утра) — совсем уже тепло, даже без пальто. Палубу обдает теплый ветер (от хода парохода), море спокойно плещет по бортам, на океане легкая рябь.

В $11^1/_2$ синеватый силуэт парохода на сизом гиризонте. Потом — вдали из-за горизонта виднелись 2 паруса.

Туман начался в восьмом часу вечера. Первые свистки слышались еще за обедом, и публика несколько встревожилась: уходя обедать, мы не видели никакого тумана, и теперь глядя на окна, в которые то и дело заглядывала черта горизонта,— я видел ее еще ясно. Но выйдя на палубу убедился, что свистели не напрасно: на южной стороне все потонуло в густом тумане, нависшем над океаном. Мы шли вдоль этой стены и она смыкалась кругом, впереди уже ничего не было видно, а на севере, волнуясь и колебалясь, туманная рать занимала свои позиции. Еще несколько минут — и туман завладевает

Уранией; с середины парохода — передние мостики и фигуры кажутся расплывшимися темными пятнами, а волна, разбегающаяся по бортам внизу — бледна и не светит. Огней в воде тоже почти не видно. Туман сам собой сгущается в дождь, от которого уже мокра передняя палуба. Назади сухо.

В music room'е проф. Лоц принимает за роялью грациозные позы и величавые жесты — сопровождаемые жидкой игрой, прерываемой свистками, не публики впрочем, а парохода... Часть слушателей сладко дремлет, другая болтает, а в smoking-room'е идет опять аукцион и пари на завтрашний курс.

— We have twelf schillings for hundred elewen[1]...— свирепо провозглашает старый джентльмен с широкой рожей, вставленной точно в рамки в седые бакены. Он балагурит, кричит и яростно стучит по столу!..— Going five then schillings for hundred elewen.[2]— Стук карандаша по столу, рыжий джентльмен, сидящий тут же, заносит цифру и фамилию назначившего...

День был теплый и тихий, море спокойное.

31 июля (12 авг.)

7-е сутки в океане.

Прелестное утро. Ясно и тепло. Туман в виде легкой опаловой полосы еще лежит вдали, но горизонт уже обозначился ясно. На море легкая рябь, не больше, как бывает на Волге, но это обманчиво: присмотритесь и вы увидите, что под этой рябью скрыта широкая, плавная и пологая океанская волна, идущая ровными валами. Океан будто дышет, и от этого дыхания даже

[1] Имеем 12 шиллингов против 111.

[2] Идет 15 шиллингов против 111.

наша Урания колеблется заметно. Но что это значит перед тем, что было еще недавно. Все отдыхают: на палубе являются всё новые лица, до сих пор невидимками страдавшие в уединении своих кают.

С часу дня — опять сильный туман, и неприятные свистки; однако мы имели случай убедиться в их целесообразности. Часов около 3-х я поднялся на верхнюю палубу и заметил какую-то особенную суету среди пассажиров; все бежали к левому борту. Оказалось, что в тумане впереди зарисовалась небольшая двухпарусная барочка. Несмотря на то, что пароход гудел на весь океан и на барочке приняли предосторожности,— она прошла всего в нескольких саженях от Урании. На барке смеялись и махали платками, но всем было очевидно, какой опасности избегла эта посудинка.

В smoking-room'е новая забава: пропала коробка спичек. Наряжено следствие и суд. Обвинялся старый джентльмен, председательствовавший на ликвидации пари на курсы, занимающий самую дорогую каюту на пароходе, и один из молодых людей с необычайными мускулами, в которых я подозреваю что-то в роде гимнастов или боксеров. Составили jury (gentlemens of jury), с председателем, почтенным седым джентльменом во главе. Явились прокурор и два защитника, произведен опрос свидетелей, сначала обвинителем, потом защитниками, причем опрос этот сопровождался взрывами общего хохота. Обвинитель совершенно лысый господин, произносивший свои речи весьма серьезно, вызвал особенно много восторгов и рукоплесканий. Кажется, что обвиняемые оправданы,— впрочем я далеко не все понял.

Почти весь день шли в тумане. Как будет ночью? Говорят, если не придем к 2 часам (время прилива), то придется ждать до ночи для входа в гавань.

1 (13) августа

8-е сутки в океане.

Должны мы приехать в Нью-Йорк.

Кажется, что туман рассеялся рано, и мы много не запоздаем. Ночь шли уже почти без свистков. Сегодня прелестное теплое утро, океан глубоко синий, с легкими ярко белыми зайчиками на верхушках небольшой волны. Говорят, придем часов в 12. То и дело мелькают паруса на синеве океана. Близко земля!

Около 11 часов (10 ч. 40 м.) я заметил какое-то оживление среди публики: молодые датчане показывали что-то своей сестре из-за лодки. Она радостно закивала головой. Публика спешит на нос парохода... На правой стороне горизонта, светлее земли[1] и даже неба, легкие, серебристо синеватые,— лежат бугорки земли, подымаясь из моря,— и белеет маяк.

Америка! Статуя свободы на Hudson-river'e — встречает приезжих высоко-поднятым факелом.

Пароход остановился, подошел небольшой невзрачный пароходишко, старая посудина,— высадившая на „Aurania" целый отряд таможенных чиновников. Они собрали нас в обеденном room'e, дали подписать присягу, что у нас нет ничего для продажи (с угрозой imprisonment'a[2] в случае неверного показания),— и затем Aurania, беспомощная на узком Hudson-river'e, точно кит, выкинутый на мель,— подтаскивается с кормы и носа к пристани Cunard line'a. M-r Booth, m-ss Booth,[3] какая-то miss,

[1] Описка автора: надо читать „воды".

[2] Тюремного заключения.

[3] Вильям Бутс (или Бус), английский проповедник, основатель и главный руководитель „Армии спасения", в которой он имел звание „генерала".

с ними едущая, в роде няньки,— стоят на палубе, в форменных головных уборах. Он — в фуражке с красным околышем, двумя крылами над солнцем и надписью: Salvation army[1]. Дамы — в каких-то шляпках в роде капоров, с красными лентами поперек. На лентах та-же надпись.[2] На пристани тоже мелькают красные фуражки. Очевидно army встречает своего командора.— Встречают восторженно, с шутливыми, но довольно шумными выражениями радости.

— All well?[3] — кричит командор еще издалека.

— All well — отвечают ему.

Не менее шумно, если не более, остальная толпа встречает своих приезжих. Да, уже по этой встрече чувствуеш, что переезд через океан — не шутка. Приход Aurania даже в этом огромном городе — событие, и далеко уже от пристани нам попался кеб, который прямо об'явил, взглянув на узелок в моей руке — что мы из Cunard Schip'a и что он охотно довезет нас куда нибудь... Мы отказались: цены здесь на кебы необычайные: с нас требовали от пристани до Astor-house'a (минут 10 езды) — три рубля без вещей!

Мы сдали вещи комиссионеру и доехали на конке, заплатив по 5 центов (т. е. по 10 коп.) С. Дмитриевич много расспрашивал нашего американца и довел меня до Astor-house'a, как по писанному.

Было это — в воскресенье и, как в Лондоне,— тишина и необыкновенно мало движения на улицах. Грохот

[1] Армия Спасения.

[2] В этом месте, в записной книжке три рисунка пером: два крыла (герб), фуражка Бутса и голова женщины в форменной шляпе сальвационистки.

[3] Все хорошо?

омнибуса — так и стоит одинокий, во всяком случае отдельный, не сливаясь с общим гулом улицы, к чему мы привыкли в наших больших городах. Зато всюду в воздухе стоит совершенно особенный своеобразный шум и громыхание. Это несутся в разных направлениях воздушные поезда. Многие улицы покрыты целою сетью железных переплетов, на высоте приблизительно первых этажей, и вы видите то и дело над своей головой длинные ленты поездов. Вообще можно сказать, еще усилившись, тоже что и в Лондоне: никто здесь не спешит, кроме машины. Все отдыхают, только машины свистя, шипя, с грохотом и шумом летят под землей, по земле и по воздуху!

Черта Нью-Йорка, бросающаяся в глаза — это какая-то простота и спокойный, чисто частный характер улиц. Мне очень понравилось, что наш вагон (конно-жел. дороги), заехавши в какой-то темноватый и грязный переулок, остановился, чтобы попоить лошадей. Не распрягая — их подвернули к водопою. Около корыта — небольшая будочка, у будочки на стуле — дремлет старый-престарый человек, который не торопясь поднялся, пустил воду или получил что-то от кондуктора (я не заметил) и затем, подостлав под себя какую-то тряпицу, вновь уселся на своем стуле с видом старого добродушного брюзги, которого оторвали от дремоты. Мне понравилось именно, что этого старика все таки не отдали „в (лом")[1], что и ему нашлось место в этом огромном муравейнике. Еще несколько минут, вагон, задержавший несколько других в проезде, тронулся и над нами вновь шипят и стонут быстро летящие поезда, а впереди такие же воздушные поезда мелькают на перерез улицы — и воздух полон характерным свистом и громыханием...

[1] Слово не вполне разборчиво.

Мы устроились в Astor-house'e, в № 255, в 4 этаже. Чистый довольно просторный нумерок, с 2-мя двуспальными почему-то кроватями. Окно в 4-угольный двор. Цена 2 доллара (4 рубля) в сутки.

Первая ночь в Америке!

2 (14) августа

В Нью-Йорке (2-й день, первые сутки).

Получил письмо от Дуни, помеченное 21 июля в Плоэшти[1]. Она отвечает еще только на последние письма из Петербурга!

Мы много ходили и ездили по Нью-Йорку, видели замечательный (величайший в мире) мост, соединяющий Нью-Йорк с Бруклином, были в центральном парке, где за нами увязались два бездельника, видимо искавшие ссоры: они толкали на нас друг друга и кидали в нас то палочками, то (раз) об'едком груши. Когда С. Д. энергично направился яко-бы к полисмену, которого тут и не было впрочем,— они умчались галопом и больше мы их не видали.

Сегодня — движение на улицах гораздо больше: больше омнибусов, пешеходов и, кажется, вагонов конно-жел. дорог. Но все-же черта, отмеченная вчера,— замечается и в этом усилившемся потоке уличной жизни. Все таки — она, так сказать, „партикулярна“ и проста. Полисмены — одеты в черные или серые пиджаки, с серыми шляпами[2]. Они спокойны, и без всякой военной выправки, немного даже опустившиеся фигуры, сильно склонные к ожирению.

[1] Город в Румынии.

[2] В этом месте в записн. книжке нарисованы пером три различные форменные шляпы полицейских с подписями под ними: „Швеция“, „Англия“, „Америка“.

Очевидно, явная полиция здесь уже почти не нужна[1]. Ей мало работы, мало движения, отчего сильно ростут животы,— при очень хорошем жаловании. И Соединенным Штатам вероятно придется наконец позаботиться о здоровьи своих охранителей порядка: они очевидно нуждаются в некотором моционе[2]. На рельсах конно-жел. дорог то и дело едут грузные экипажи разных магазинов и заведений. Помня, какой шум и какие истории подымаются у нас, если кондуктор хоть издали заметит ломовика на рельсах,— сколько при этом дела звонку, глоткам, рукам и голосу городового,— я был удивлен, как просто на это смотрят здесь. Кучер стукнул несколько раз палкой по передку вагона и повторял это до тех пор, пока зазевавшийся передний кучер не услыхал и не свернул с дороги. Правда и лошади здесь — огромны, откормлены, тяжеловаты и добродушны...

Целые рои мальчишек шныряют с кипами газет, будто из под земли вскакивая на подножки вагона и соскакивая в узкое пространство между двумя встречными вагонами, чтобы там продать листок-другой по 1 центу. Мы видели сотни этих мальчишек получавших №№ „New York Tribune". Это целая детская армия,— очень серьезная армия для распространения печатного слова. Отойдя от Tribune-buildings (51)— мы наткнулись на новую картинку детской уличной жизни: в огромном бассейне фонтана на сквере,— в платьях плавали и ныряли при веселых криках сотоварищей и к великому любопытству толпы проходящих — двое уличных мальчишек. Им кидали для шутки разную дрянь, но порой в воду шлепалась монета — за которой они ныряли, разыскивая

[1] Против этого места написано позднее карандашем: „Не верно".

[2] Против этого места позднейшая приписка пером: „Это „первое впечатление" оказалось неверным".

ее на дне бассейна (неглубоко). Не знаю, как отнесся бы к этому полицейский джентльмен, если бы он здесь был. Но его не было [1].

Вопрос дня — между прочим касается России. Это все продолжающееся обсуждение трактата о выдаче преступников. Быть может вследствие этого,— Free Russia [2], как говорят, расходится в количестве 4 — 6 тысяч экземпляров. Сколько можно судить, общественное мнение против этого трактата, и мне случилось видеть список очень длинный неодобрительных отзывов о трактате американской печати. Впрочем, это вопрос политики и разобраться в общем — трудно. Пишут что-то о каком-то покушении в Нью-Йорке на русских офицеров (тоже неизвестно нам в чем дело, застаем здесь лишь хвост этого инцидента).

Пишут еще о пожаре гостинницы в Чикаго, пишут о том, что королеву Викторию разбил паралич, но особенно много пишут о таможенной войне между Россией и Германией, причем министра Витте называют всемогущим... Сотни тысяч экземпляров десятков тысяч газет! Что это за страшная сила печатного слова, ежедневно разливаемого среди этого людского океана... Трудно, конечно разобраться в его общем господствующем тоне, как трудно уловить доминирующую ноту в этом говоре великого города свободной страны. Шипение машины, крикливая реклама, interview, громкие заглавия, business [3],

[1] Этот эпизод послужил материалом для аналогичной сцены в рассказе „Без языка“ (т. XVII наст. изд.).

[2] „Свободная Россия“, газета издававшаяся в Нью-Йорке русскими политическими эмигрантами и посвященная русским делам. Часть экземпляров печаталась на тонкой бумаге для удобства тайной пересылки их в Россию.

[3] Дела.

преобладание фактической новости и репортажа над руководящей идеей и горячей проповедью. Однако,— среди этого движения и говора, среди пароходов и тендеров, развозящих деготь и рыбу,— все таки высится величавая статуя свободы, а в миллионах голосов прессы нетрудно заметить все таки привычный тон свободных людей, тот самый, который звучал в прокламациях Вашингтонов[1] и Линкольнов[2]. Стоит прочитать некоторые статьи хотя бы по поводу тех-же вопросов, о которых я говорил выше, чтобы ясно различить эту ноту. Здесь есть уже в плоть и кровь всосавшиеся традиции свободы, которых нельзя поразить и заглушить никаким блеском, и потому принципы реакции и деспотизма — „не платят“[3] здесь в политике, это ненадежная монета на политич. рынке. Они не дают прочной популярности. „Мы не любим евреев, но мы не понимаем, как можно из-за этой нелюбви лишать человека прав в его отечестве“— это сплошь и рядом вы услышите от американца!

Интересно, что защитники русско-америк. договора, как и защитники франко-русского альянса, как к ultima ratio[4] прибегают к аргументу: русский народ не достоин свободных учреждений! В самом деле, эта унизительная альтернатива неизбежно представляется в этом деле: американец не может понять, чтобы свободные учреждения были недостойны нашего народа, как это говорят Моск. Вед. Итак, для об'яснения — остается признать нас, в целом, как нацию,— скопищем дикарей, неспособных к

[1] Джордж Вашингтон (1732 — 1799), один из главных борцов за независимость Сев. Американ. Соединен. Штатов и первый их президент.

[2] Авраам Линкольн (1809 — 1865), президент Соединен. Штатов, провозгласивший в 1862 г. отмену рабства.

[3] Т. е. не оплачиваются.

[4] К последнему доводу.

нормальной (на их-же взгляд) политической жизни. Чорт знает, что за путаница с этими политическими „алиансами"!

3 (15) августа

В Нью-Йорке (3-й день, 2-е сутки).

Были в консульстве. Консул Александр Эпиктетович Оларовский в отсутствии (уехал в Россию месяцев на 6).

Ездили на островок, где статуя свободы. Каждый час туда отправляются пароходы от города. За 25 центов возят туда и обратно с правом осмотра.

Против статуи, на берегу, вдали рисуется тонкий красивый пролет величайшего в мире Бруклинского моста. Огромные канаты (в $^3/_4$ арш. толщ.) отсюда кажутся нитками, от которых тянется паутинка поводков и сплетений. Сопоставление чрезвычайно поучительно: народ, воздвигший у себя этот мост, одно из крупнейших произведений внешнего механического, чисто материального прогресса,— обладает и этой статуей, лучшим произведением искусства, огромнейшим, если не величайшим выражением отвлеченной идеи. „Свобода освещает мир",— вот какая фраза, изваянная из металла — встречает здесь всякого нового пришельца и высится над тысячами кораблей, пароходов, фабрик и машин. Часто приходится слышать, что в Америке есть только business, и нет ничего, подымающего над буднями, нет ничего возвышенного, философского, гуманного и т. д. О печати говорят, что она вся только торговля, только об'явление, только собрание фактов, только business. Новость, humbug [1], сенсация, реклама — изгнали уже из нее всякое обращение идей и общих принципов. В этом смысле, говорят, даже и наша печать — гораздо выше.

[1] Вздор, обман.

Однако, если-бы спросить у писателя, у которого только что сорвалась с пера эта даже избитая уже мысль,— какие-же органы русской прессы он пожелает привести в пример,— он-бы вероятно очень затруднился. „Новое Время“, — едва-ли с этим согласятся сотрудники не одних „Новостей“. „Новости“! На это найдется не мало возражателей. Я уже не упоминаю о „Моск. Листке“, „Петерб. Листке“, „Минутах“ и „Лучах“ им-же несть числа в нашей прессе. Без сомнения, найдется два-три органа, относит. которых каждый согласится, что оставляя в стороне остальные вопросы,— они чисты от обвинений в одном лишь торговом взгляде на дело. Но много-ли их, и самые ли они распространенные? А разве газетная улица не заполнена криками и зазываниями уличных торгашей и разве не лучше всех торгуют именно эти крикуны, для которых нет ничего святого, кроме успеха? С другой стороны разве в Америке нет десятков, сотен и даже тысяч газет, посвященных исключительно защите той или другой идеи, не дающей никаких доходов. Правда, всех скорее, всех более, на всяком месте и во всякий час — кидается в глаза именно реклама, как правда и то, что по Бруклинскому мосту проходит гораздо больше людей, чем их отправляется на Harbor'к статуе свободы. Но все таки миллионы рублей истрачены для воплощения отвлеченной идеи в металл и камень! И посмотрите, каждый раз, когда в обществе встает живой и волнующий вопрос,— какая масса глубоких и возвышенных идей, всосавшихся в плоть и кровь американца — сразу пускается в ход американской прессой и как эта волна ясно пробивается через океан будничных дел, business'а и прозаической суетни. Торжественные голоса первых творцов американской конституции, эта простая и возвышенная, почти библейская проповедь свободы,

на которую в последствии опиралось аболиционистское движение [1], поставившее на карту самый вопрос о существовании государства, которое не могло потерпеть в своих недрах позора человеческого рабства,— эти принципы высятся над движением американской мысли, как великая статуя над морем!

4 (16) августа

В Нью-Йорке (4-й день, 3-и сутки).

Письмо Соне и Наташе (описание Н.-Йорка).

Вчера вечером, когда мы уже разделись, нам подали карточку. На ней была фамилия, и внизу, крупным почерком написано „The Sun" [2]. Это значило, что к нам явился interviewer. С. Д. не сразу понял, и сказал негру, что вероятно это ошибка, а если не ошибка,— просить джентльмена сюда. Джентльмен больше не явился, вероятно узнав, что уже поздно, и мы раздеваемся. Первый блин прошел, значит, благополучно.

Сегодня в 1 час дня, когда мы подошли к office'у [3], чтобы взять свой ключ, какой-то господин подал мне (по знаку заведующего оффисом) свою карточку. M-r NN (не помню) из New York Times. Господин совершенно приличный на вид, держится просто и скромно, просит позволения предложить несколько вопросов, главн. образом по части „еврейского вопроса" в России. Я отвечаю, что готов служить. Я не политик и потому просил-бы ограничить разговор стороной чисто-фактической, но, как писатель, служащий истине,— считаю себя обязанным

[1] Движение в Соедин. Штатах в пользу отмены рабства. Первое аболиционистское общество основано в Филадельфии 1775 г.; президентом его был Вениамин Франклин.

[2] „Солнце" (название газеты).

[3] Контора в отеле.

сообщить своему американскому собрату правду. В о п р о с.: Действительно-ли евреи преследуются в России? О т в. Они должны жить в известных только местах, и в настоящее время усиленно выдворяются отовсюду, где жили вне пределов оседлости. Они не имеют права покупать земли, служить и т. д. и т. д. Думаю, что в наше время это следует назвать преследованием. Массы евреев оставляют Россию. В о п р. Религиозные-ли это преследования? О т в. Трудно ответить, т. как вопрос сложный. Факт однако тот, что еврей, принявший христианство, ограничениям не подвергается. В о п р. Что вы писали о еврейском вопросе? О т в. Наша литература не имеет возможности осуждать принятое правительством направление в существенных сторонах общественной жизни. Поэтому, с тех самых пор, как началось анти-еврейское направление внутренней политики, та часть печати, которая с этим несогласна,— выражает это несогласие лишь не присоединяясь к консервативному хору прессы. В виду этого, и мне не приходилось трактовать еврейского вопроса прямо, и я не могу сказать, что я писал что-либо специально по этому предмету. Но в некоторых рассказах я касался и еврейского вопроса.

В о п р. А именно в каких?

О т в. Есть рассказ „Иом-Кипур“ [1], содержание которого такое-то, а мораль: нужно бороться со злом, а не с платьем, в котором оно ходит. Между тем в настоящем своем виде — наше решение еврейского вопроса — только устраняет одного скажем ростовщика, в пользу ростовщика другого, и покровительствуемый таким образом ростовщик христианин бывает нередко хуже своего бывшего конкурента. Затем в „Павловских очерках“ [2] мне

[1] См. т. VII наст. изд.

[2] См. т. XIV наст. изд.

пришлось отметить и живой пример такого покровительства эксплоатации под видом гонения эксплоататоров-евреев. Когда евреи-скупщики были изгнаны из Павлова, то рабочие кустари подали ходатайство об их возвращении, так как оставшиеся скупщики воспользовались отсутствием конкурентов для понижения цен. — Вопр. Что вы написали последнее? — Отв. Очерки Голодного Года, которые скоро появятся отдельным изданием, если их пропустит цензура. Вопр. (с недоумением): Цензура? Это что такое?..

Я рассказываю совершенно точно, как устроена цензура в столицах и провинции, что такое цензура предварительная и административно-карательная.

Вопр. Вы были в Сибири? — Отв. Был. Вопр. То, что написано в этой книге об вас — верно?[1] Отв. Я не читал еще этой книги, так как у нас она воспрещена и здесь вижу ее в первый раз. Во всяком случае верно, что я был в ссылке около 6 лет, в том числе 3 года в Сибири. — Вопр. Это очень тяжело перенести? Отв. Вы видите, я здоров. — Вопр. За что вы были высланы? Отв. Мне это об'явлено не было. Вопр. (с удивлением): И вы не знаете, за что подверглись такой отдаленной ссылке? Разве вас не судили и вы не защищались? Отв. Не судили и не защищался, потому что выслан без об'яснения причин.

Приличный господин поблагодарил, раскланялся и ушел, предложив, впрочем, еще вопрос: что сделали-бы с Кеннаном, если-бы он явился в Россию? Я ответил, что не знаю в этом отношении намерений правительства. Думаю однако, что вероятно не сделали-бы ничего особенного.

Вечером — был другой — расспрашивал, есть ли голод, сколько потрачено правительством и частными лицами

[1] Речь идет о книге Дж. Кеннана „Сибирь и ссылка".

и т. д. Затем предложили вопрос: что такое называется „русским либерализмом". Говорил, хотя и плохо по-русски.

5 (17) августа

В Нью-Йорке.

Сегодня утром узнал результаты вчерашнего interview. Результаты удивительные: В „New York Times", на первом месте первого же листа напечатано: One of the czar's victims. Nowelist Korolenko tells of his cruel persecutions[1]... и т. д. и т. д. Я просто ахнул от этой пошлости и изменил свое мнение о вчерашнем приличном господине. Впрочем, дальнейшее чтение несколько рассеяло мою злость: приличный господин в тексте повидимому приложил все старания передать разговор ближе к истине. Правда, старания не особенно успешные. Во-первых, все таки прибавлены разные прикрасы и, отступив от диалогической формы в сторону беллетристического изложения, репортер внес черты совершенно фантастические и неприятные (что конечно об'ясняется также и неполным взаимным пониманием). Вместо, „вы видете, я здоров"— вышло: „если-бы я не был так здоров, то наверно-бы погиб". Вместо самой простой фразы: теперь моя книга уже в цензуре,— выходит: „правительство занято просмотром моей книги". Но все же — нет никаких особенных рассказов о cruel persecutions и зато спасибо. Оказывается, что заглавия приделываются особыми специалистами reader'ами, у которых только и дела, что выдумывать заголовки позаористее! Интересно, что и возразить против этой пошлости нечего. Положим, я пришел-бы в редакцию и заявил, что я лично не жаловался ни на

[1] „Одна из царских жертв. Беллетрист Короленко рассказывает о своих жестоких преследованиях"...

какие cruel persecutions. Только насмешишь американцев. Неужто, скажет он, у вас в России ссылка на 6 лет без суда и защиты не называется cruel persecution? Что-же у вас еще, жилы что-ли тянут? И поневоле замолчишь.

6 (18) августа

Из Нью-Иорка на Нигару в 6 час. веч.

По 20 долларов до Чикаго с человека. Выехали из Vincennes Station.— Дорога сначала в тесных туннелях, дым забивает в окна, пахнет серой, каменные стены, неправильно взорванные динамитом, закрывают то и дело окрестные виды, но там, где они расступаются, пейзаж чудесный. Дорога идет долгое время по правому берегу Гудзона, навстречу течению. Берега гористы,— скалы и зелень. Горный зеленый берег, затянутый вечерним синим туманом, кой-где белый пароход, кой-где качающаяся на волне парусная лодка или барочка,—все это напомнило мне отчасти Волгу. Уже стемнело, а река была все тут у самых рельсов. В другие окна темными контурами рисовались горы, теперь уже напомнившие мне Ленские хребты по дикости скалистых очертаний, только здесь под кручами ютились чудесные каменные дачки. И уже поздно ночью, когда все исчезло в неопределенной синей мгле,— отражение бледной луны все бежало за нами с левой стороны, вскрывая своим сверканием все ту-же реку...

7 (19) августа

На Нигаре (с $7^1/_2$ час. утра).

Ночью проехали несколько городов. Поезд наш летит со скоростью около 70 в. в час и почти с той-же скоростью звоня пролетает по улицам в данное время спящих

городов. В Сиракузах после или около полуночи — на чугунных заводах расплавленный чугун сверкал электрическим почти светом. Утром часов в 6 я проснулся. Мы проезжали Бэффало. Над городом носился дым, смешанный с туманом, но солнце уже пронизало эту мглу косыми лучами. Туман отделялся и курился сверху. Рабочие толпами шли на работы, движение в воздухе, движение начиналось и на улицах. Наш поезд звонил огромным колоколом на локомотиве. Такие же колокола кругом на других локомотивах качались и звонили так, что в воздухе стоял перезвон, точно в нашем маленьком городишке в праздник.

В $7^1/_2$ часов мы уже были на улице Niagara-City; отвергнув услуги „carredge'a“ [1], мы в пять минут вышли к берегу реки, которая вся в пене, вся в порогах, скакала по камням по всей ширине, быстро стремясь направо... Это rapid's [2]. Бросив взгляд по течению, я увидел, что оно обрывается невдалеке и только легкий туман клубится над падением. Из за суетливого шума самой реки,— глубокой и ясной нотой слышался отдаленный гул водопада. Еще левее — красивое белое облако, клубясь и колеблясь, поднялось высоко и изогнувшись слилось с дальними кучевыми облаками, которые уже млели и таяли в утреннем свете. Итак — мы уже у великого водопада,— и легкое волнение столь неожиданной близости невольно охватило меня при этой мысли.

Как бы много ни читали мы о том или другом замечательном человеке или месте,— редко, однако, наше представление о нем совпадает с действительностью. Ниагару я видел в тысячах рисунков, начиная с наивной

[1] Извозчика.

[2] Пороги, собственно „быстрины“.

гравюры, поразившей меня еще в детстве как огромными размерами падения, так и (еще более) рядом правильно расставленных столбов тумана, точно столбы дыма из труб, — и кончая снимками с картины Айвазовского. И однако все еще осталось место неожиданностям.

(Описание Ниагары в письмах) [1].

8 (20) августа

Приезд в Чикаго (в $7^1/_2$ час. утра).

Ночь свежая. В пустом почти вагоне было холодновато. Проснувшись утром часов в $6^1/_2$, — я увидел, что поезд стоит у города. Река или озеро, дома, и частый перезвон локомотивов. Это — Мичиган-сити. До Чикаго еще 60 миль, т. е. около часу езды. На право от дороги на берегу — огромные холмы наносного песку. — 7 ч. 40 м. Hammond — целая фабрика, заготовляющая туши быков, свиней и баранов. (Hammond et C⁰).

9 (21) августа

В Чикаго 2-й день.

Почти весь день просидел дома и все писал ответы, а также записывал впечатления и начал рассказ (со слов Егора Лазарева) [2] о латыше в Америке [3].

10 (22) августа

В Чикаго 3-й день.

Был на выставке. Осматривал наружный вид.

[1] В письмах к жене и к матери (см. „Письма“ кн. IV). См. также набросок „На Ниагаре“ (т. XVIII наст. изд.).

[2] Ег. Лазарев, известный политич. эмигрант, живший в Америке.

[3] В. Г. говорит здесь о первом наброске рассказа „Без Языка“, законченного им в 1895 г.

11 (23) августа

В Чикаго 4-й день.

На выставке. Осматривали картинную галлерею. Осмотрели франц. и русский отделы.

12 (24) августа

В Чикаго 5-й день.

Ходил второй раз в картинные галлереи.

Вечером познакомился с большим чудаком — Дм. Николаевич Чернушенко, заднепровский италианец. Земляки! — Та как-же-ж! Короленко, Чернушенко...

Я уже слышал эту фамилию. Помнится, еще в Лондоне показывали мне брошюру „Воззвание к всемирному миру", напечатанную в Париже[1]. Русское издание имело уже заглавие, над коим поработала цензура:

Стремление к миру.
Примирение враждующих.
Соединение противуположностей и разделений.
Лекции всемирного языка
Volapük'a
с разрешения Его Сият. Господина Мин. Нар. Просвещения, читанные в Харьковской Биржевой зале.

Не злобная корысть меня тревожит.
Не — привратной жизни ночь и день,
Но что истинно нас может
Поднять на высшую ступень.
Д. Ч.

— А-à! Вот это как раз и есть моя брошюра. Напечатал в Париже. Тридцать лет думаю. Контузили

[1] Брошюра эта имеется в архиве В. Г. Короленко.

меня у голову под Севастополем, лежал несколько месяцев, пальцы тоже не двигались, рука завязана. И все думал. Отчего у нас разделение — грыземся как собаки. Оттого что язык разный, оттого и разделение. Один дипломат напышеть, а другой не так перевел, вот и драка, даже история доказывает, много есть примеров.

— А это тоже ваше?

На столе лежит другая брошюра:

Воздухоплавание.

„Летоход“ (с тем же эпиграфом).

— Это только приложение. Все к одному. Для передвижения... на высшую ступень, все к одному. 15 тысяч употребил на конструкцию...

— Летает?

— Видите! Конструкция не готова. Употребил 15 тыс. Сделал конструкцию из деревянных частей, перкалевые балоны. Подымаеть по рассчету $12^1/_2$ пудов. Дерева $4^1/_2$ пуда, балоны $3^1/_2$ пуда, да человек сидеть будет опять $4^1/_2$ пуда. Уничтожено сопротивление воздуха. Представлял г-ну министру внутрен. дел, была образована комиссия, под председательством ген. Борескова. Выдали аттестат, что можеть лететь 150 верст против ветру... Не против ветру,— против урагану. А все таки (лицо делается грустно-насмешливое) признано несвоевременно, в виду больших расходов — неисполнимо.

Ну, тогда я поехал в Москву, и было мне дано место в манеже для постройки. О! видите! Собрал кое-какие деньги, потому что имею маленькую оседлость около Люботина, Харьков. губ. Построил. Сделал деревянные части, четыре...[1] Сделали. Нужно собирать всю машину,— вдруг приходять, говорять, убирайте ее, потому что будут

[1] Одно слово не разборчиво.

праздничные увеселения 2 недели в рождество. Та как же-ж я уберу, побойтесь бога, в карман-же ее не уберешь.—Убирайте, куда хотите!—Да это-ж мое тут имущество, труд и время!—Убирайте. Я туда, сюда. Они говорят: вы сопротивление властям оказываете. Изломали,—доски сложили в уборной. Две недели были народные увеселения. После того опять мне мелом очертили место—опять я собрал, что поломано,—новое заказал, опять строю. Подошел тут смотр, генерал фон-Лауниц смотрел. Ну, спрашиваю у вас, разве нельзя обойти это место. Да я-ж сам военный: скомандовал: взвод такой-то, обойти препятствие. Или: „ряды вздвой". Нет, пустили кавалерию, разбили раздребезжили половину летохода...

Убрал я оттуда, пошел на электрическую выставку. Дали мне зал № 9. Строю. Поехал на завод Милля. Рады. Сделали все части. Иду собирать,—хвать все части на $1^1/_2$ вершка меньше... Ну, да это не умрет. Теперь поехал в Америку,—общество на акциях. А главная моя идея—об'единение. Для этого—волапюк. Я в переписке состою с важными лицами. Бисмарку писал, Греви[1] писал еще 20 лет назад. Великому князю стихи подносил, которые стихи у меня написаны в 1858 году. Да я не смел еще сразу показать,—а отдал в 1863. Теперь хранятся в Киеве у княгини, читает только самым приближенным лицам. У Исидора тоже был. Просвещенный пастырь. Пришел я к нему с брошюрой. Вышел. Я, конечно, под благословение, руку поцеловал.

— Что скажете?

— Хочу, говорю, ваше высокопреосвященство, так и так—всемирный мир, а для этого надо одну религию.

— Как же это? Мы считаем, что наша православная религия станет всемирной и об'емлет вселенную.

[1] Греви, президент французской республики в 80-х годах.

— Нет, я говорю, ваше преосвященство. Христианство стоит на шатких основаниях, потому что еще тогда человечество не знало естественных законов. Нужно изменить... Ну, пастырь просвещенный — во многом согласился. Благословил: Иди, чадо, делай добрые дела. — После того, разумеется, получив высокое благословение, поднес князю, а там и царю.

— И царю?

— Да, с этой брошюрой и явился. Ну, разумеется, саблю сняли с меня, поставили. Государь с великой княжной шел под руку. Узнал. „Севастополец", — говорит. Брошюру взял ад'ютант.

— И только?

— Ну, наверное поинтересовался, думает: должно быть, севастополец милостыни просит. А тут вместо милостыни — брошюра! Да еще какая. Говорил мне после этого князь Долгорукий: тебе, заднепровский хохол, — в Сибири места мало. А я: бейте да слушайте!

— Ну, а религия какая же?

— Розумная!

— Этого мало. Вот, вместо всех языков вы рекомендуете волапюк.

— А как же. Еще Греви... Теперь академик Шлейер разрабатывает. 20 миллионов говорят на этом языке. Были конгрессы. Я имею от Шлейера 2 аттестата. Один — от клуба, другой от самого Шлейера и стихи свои переложил на волапюк. У нас тоже в России академики: Розенберг и Бах. Обнявши всю природу, обнявши все законы...

— Погодите. Так вот я говорю: вместо наших языков — вы предлагаете нам волапюк. Это определенно.

— А как же... Шлейер...

— Ну, да! А что же вы дадите нам вместо наших религий?

— Есть. Как же! Заповеди написал. Ночевал как то тут в Прогрессе.

— Вот вы где!

— А что-ж. Я только не соглашаюсь с Гурвичем. Ерунду пышеть. Я ему говорю: не пишите жестокостей, жестокости отбросьте... Никто не виноват. Мало ли кому есть неприятностей... Не надо винить. Вот голод... Что ж такое. Сам бывал по 3 дня не евши. Всюду есть много питательных атомов. Нет никому запрещения есть, а всякий, что придбав[1], то и ест. Атомов питательных усюду много... То я того,— и травки пощиплю и то не пропаду.

— А заповеди...

— Да, написал, как же! Вот манускрипт.

Читаются заповеди, составленные по методу противуположения.

Бог все — и ничего нет личного.

— Да, личного ничего. Очень просто...

„Чти всех, потому что не знаешь, кто твой отец... Мать твоя — земля, что в нее посеешь, то и уродится".

— Это как понимать?

— Так.— Не знаешь, кто отец.

— То-есть моя дочь не должна меня признавать своим отцом?

— Почем вы знаете, что она ваша.

— Ну, а мать то уж всегда можно знать.

— Мать — земля, что посеешь, то и уродится. Это у меня ясно сказано.

— Ну, хорошо, дальше.

„Празднуй во всякое время, днем и ночью, когда вморился или имеешь время..."

„Укрядь только с'естное и если у того есть лишнее".

[1] Что добыл.

„Убей, только себя, вредных насекомых или вредных животных".

— А полезных?

— Зачем убивать их?

— А есть. Вы ведь не вегетарианец?

— Ну, это толкование. Вот на заповеди Моисея сколько есть толкований. Большие книги... Так и я. Дал основание, а после будут толковать.

— И пойдет раз'единение. Сами же вы говорите.

— Верно! Это я подумаю. Надо написать ясно и до конца... То уже, чтобы никто не мог толковать... Чтобы не было позволено. Это верно!..

„Люби и действуй... Любовью живет человечество, а действием держится вся вселенная" и т. д. В конце молитва:

„Плачу и рыдаю, егда помышляю вред и вижу неправду людскую на деле и жестоко сердца озлобившиеся. О! Суета страстей человеческих, когда ты исчезнешь с лица святой земли?"

— Смирением поразимся.

— Да, действительно, тут есть еще смирением поразимся.

— А как-же-ж. Это очень важно. Потому что все надо смирением. Если я подойду к нему с гвалтом и криком, то в природе человеческой перерабатываются такие атомы.

— Какие атомы?

— А как-же-ж. Я изучил природу и мир, когда меня контузили. Я вот вам скажу живой пример. Атомы электричества имеются в глазах до такой степени... Вот например у меня свинка принесла десять поросят. Я вышел полюбоваться и даже с умилением. Приходят после того— говорят: кончено,— нет ни одного, извелись. А собака то меня никогда не укусит.

— Позвольте, я немного не понимаю. Ведь все таки свинка издохла даже от умиления вашего... При чем же тут смирение?

— А как же,— от умиленного взгляда... А подумайте, что было бы от сердитого... Если человека рассердить, то тогда перерабатывается электричество и являются в нутренностях такие атомы, что поселяется в ней злоба.

— Ну,— спокойной ночи!..

Наружность этого нового Моисея: средний рост, крепкое сложение, большая седая борода, густые седые волосы. Движения быстры, голос громкий, горячится и кричит в споре. Должно быть, сильно самолюбив и... кажется, не имея успехов в этом косном мире, слегка прибавляет их в своей фантазии.

13 (25) августа

В Чикаго 6-й день.

В картинной галлерее. Еще раз осматривал отделы: польский, австрийский и шведско-норвежский.

Coloured-american-day,— день цветных американцев. На выставке каждая выдающаяся нация имеет свой день. Очень оживленно отпраздновали свой день шведы,— которых участвовало до 12 тысяч в процессии. Чисто по казенному сошел день русских. Как будто опасаясь чего-то,— не разослали об'явлений, и многие из русских, не занимающих офиц. положения на выставке, узнали о „дне" и о концерте случайно. „Боже царя храни", потом гимн Соед. Штатов, потом... марсельеза, потом „марш в честь г-на Глуховского"[1]... Было мало людей, совсем не было одушевления, по казенному и официально... Все нации рады всякому своему, всех об'единяет на чужбине

[1] Комиссар русского отдела выставки.

„свой день“, и всякий рад собой увеличить число своих, зная, что и ему рады. Одни мы косимся на всякого „дорогого соотечественника“ и спрашиваем если не словами, то взглядом: „а этот еще зачем“? Да, не веселы наши празднества на чужбине и нет единения здесь, потому что и там нет единения. Сколько бы ни было партий и как бы они не состязались в политике,— национальный гимн об'единяет всех, и во всех сердцах звучит одинаково. Наш — не об'единяет нас, это факт, хотя и печальный... Все остальные — „едино стадо“, где-бы они ни были. Мы — на чужой стороне — стадо, „бредущее врозь“ и нет у нас одного священного знамени, на которое бы мы шли, как путники на приветный огонь...

Однако,— это только к слову. Наш день прошел — и слава богу. А сегодня был день coloured americans [1], день черных.

Тоже день очень грустный, однако, впечатление этого дня было очень сильное и никогда во мне не изгладится [2].

[1] День цветных американцев.

[2] См. о впечатлениях этого дня письмо к жене от 15 (27) авг. („Письма“, кн. IV). Далее 10½ стр. записной книжки заняты переводом статьи из „Chicago Herald„ (26 авг. 1893 г.) Перевод сделан самим В. Г. Статья посвящена описанию „дня черных“. Главное ее содержание — речь Фредерика Дугласа (1817 — 95), известн. негритянского публициста и оратора, сына белого и рабыни негритянки. Повидимому В. Г. имел в виду использовать статью, как материал для задуманной им работы: „Письма с чужой стороны“. Второе „письмо“ должно было иметь заглавие: „День цветных американцев на выставке“ и трактовать тему: „Американцы и негры, утеснители и угнетенные“. Работа эта выполнена не была. (См. письма к жене из Америки).

14 (26) августа

В Чикаго 7-й день.

В Stock Yard'e (на бойне)[1]. Осмотр Чикаго.

Libertystreet (евреи и италианцы). Halsted. Игорные дома. Chicago public Stock-exchange[2]. На Clark-street вывеска „Union detective service“[3]. На Уашингтон-str. 5 Avenu,—другая:

Pinkerton et C⁰.
United States.
Detective.
Agency.
Room 5[4].

15 (27) августа

В Чикаго 8-й день.

В $5^3/_4$ ч. вечера проводил С. Дм-ча на вокзал—в С.-Франциско.—Почти весь день ушел на прощание и проводы. Кое-что писал.

16 (28) августа

В Чикаго 9-й день.

Был опять на выставке, осмотрел голландский и японский отделы. Голландский—неудовлетворителен. Хмурые пейзажи без света и красок, хмурый жанр—изредка кое-где блеснет луч света—и радуешься ему, точно в самом

[1] Свои впечатления от посещения Чикагской бойни В. Г. подробно изложил в обширном письме к жене, позднее обработанном автором для печати под заглавием „Фабрика смерти“ (См. т. XVII наст. изд.).

[2] Чикагский общественный мясной рынок.

[3] Соединенное бюро сыщиков.

[4] Пинкертон и К⁰. Соедин. Штаты. Агентство сыщиков. Комната № 5. (Этому агентству поручено было русским правительством наблюдение за В. Г. Короленко во время его пребывания в Америке).

деле проглянуло солнце. Много мазни,— импрессионизм да еще в этой слякоти, это уже бог знает, что такое. Отметил лучшие картины, но их мало.

Розыскал выставку Дмитриева[1]. В Manufakture Building, в отделе liberal arts[2].

17 (29) августа. Вторник

В Чикаго 10-й день.

С утра на конгрессах.

18 (30) августа

В Чикаго 11-й день.

Митинг unemployeds[3]. Назначен был в два часа. Ровно в 2 часа я под'ехал к Adam's Street, и направился к Art-palace, на берегу Мичигана (здание, где происходят конгрессы). Уже на Adam's Street было заметно сильное оживление, а разбежавшись на Michigan Street — я попал в течение густого человеческого потока. Какие-то люди, одетые с разной степенью приличия, но все в крахмальных рубахах с воротниками, в пиджаках и касторовых шляпах быстро шли по направлению к северу. Толкнувшись несколько раз,— я оглянулся и увидел, что это толпа идет от памятника Колумба, все сгущаясь. Это и были unemployeds. Вдали среди пыли и топота — слышны были звуки музыки и колыхались знамена. Безработные производили „парад" Unemployeds.—На площади на одной платформе Генри Дж[ордж][4]:

[1] Дмитриев — нижегород. фотограф. Выставлял на Чикагской выставке художественные снимки волжских видов.

[2] Свободные искусства.

[3] Митинг безработных.

[4] Генри Джордж (1839 — 1897). Знаменитый америк. экономист, защитник идеи национализации земли.

— Наши отцы жили лучше, оттого, что было много земли. Мы настроили множество фабрик, и стало хуже...

На другой платформе: „Не было silver-question [1] — а безработные были. Капиталистические путы“ [2]...

Уже довольно поздно, мы вышли из Art-palace'a и пошли по самым людным и роскошным улицам Чикаго: State-Street, Michigan, Wabasch-avenu и др. Был тихий вечер, неба не было видно, потому что город сиял тысячами огней,— вся атмосфера залита светом, синеватые, голубоватые, белесые лучи стоят или ходят какими-то волнами. Электрические фонарики — цепями, отдельными точками, гирляндами, газовые рожки, солнца — все это сверкает на столбах, на крышах, по стенам и в окнах. Огни рисуются в воздухе — буквами вывесок, огни висят поперек улиц — флагами и знаменами. Вот на Auditorium (величайший в Америке театр),— от крыши до земли на расстоянии 11 — 12 этажей брошены как то кокетливо две цепочки электрических огней, точно четки бриллиантов, вон в боковой улице висит на середине флаг из сплошного пламени и рядом, в изменившемся небе так сиротливо и странно, как будто сконфуженная — рисуется желтоватая луна, стоящая низко и близко, как

[1] В буквальном переводе — „серебряный вопрос“.

[2] Дальнейшего описания митинга безработных в записн. книжке нет. Но в архиве писателя сохранились разрозненные листки, на которых он делал, повидимому на ходу, беглые заметки карандашем. На одном из этих листков набросан общий вид площади, на которой происходил митинг и намечены платформы, с которых говорили ораторы, в том числе и платформа Генри Джорджа (№ 4). Здесь же занесены следующие строки: „А позади, среди дыма, пыли, копоти и пара — передвигаются красные знамена, платформы с углем подымаются на воздух и опрокидываются и краны ворочаются бесшумно на осях.— По временам глухо гремит барабан (ту-ту-ту) и слышится издали музыка и крики“.

будто тоже жалкий фонарь декоратора... А вот огромное здание кричит на всю длинную улицу все меняющимися огнями: оно то освещено все — по окнам и карнизам частыми лампочками и тогда стоит, будто вырисованное в огненных чертах на темном фоне. Вмиг оно погасло — и выступает вверху, отрезанный от земли лишь верхний карниз. Потух, и огни вспыхнули в нижних окнах,— опять в верхних, середине, справа, слева — верхние половины окон, нижние половины, правые стороны, левые. Опять тьма и опять весь дом нарисован огнями в темноте. И т. д. и т. д. Кто-то невидимый играет огнями, как на клавишах. Это тоже реклама. А вот кучка любопытных, вероятно иностранцев — глазеет кверху. Далеко в вышине 15—16-ти этажей начинает белеть круг, все светлее, светлее, точно огромная луна спустилась с неба на крышу. И вдруг — об'явление о мыле и ваксе четко выступает перед восхищенной публикой.

— А, господа! Из России. Пожалуйте купить что нибудь...

Удивленные русским языком на Clark-Street мы оборачиваемся. Оказывается еврей с лотком, торгует мелочью, услыхал наш русский разговор. Видимо рад задержать нас хоть на время — и не одна только возможность продать нам что нибудь радует его на сей раз. Уехал из России года два. Вернется назад,— в России лучше.

В России лучше! — это почти общий отзыв здешних евреев.

— Как бы то ни было,— родина!

— Да ведь били, пух выпускали,—говорит мой спутник.

— Well! пускай! А все таки лучше. Русский человек,— самый лучший человек. Непременно уеду назад. Мать приехала, старуха,— уехала опять назад. Ничего не нравится здесь. Нехорошо!.. Приехал! А почему

приехал? А потому, что до службы ему можно было жить в Москве, а после службы — выгнали из родительской квартиры. Путался неделю, как бродяга, к отцу приходил украдкой, как вор... Ну, скажите, господа почтенные, на милость,— как было не уехать... Эх-хе!

Около нас останавливаются еще два-три человека и жадно ловят разговор. Мы идем дальше.

— Здравствуйте, мои любезные господа! — Опять голос сзади,— мы обарачиваемся. От того-же лотка — нас догоняет человек без сюртука в грязноватой и мятой сорочке и жилете, с какими то жестянками в руке. Видно, что господин этот устроился где-то дешевым образом и теперь несет себе в гнездо дешевое же пропитание. Он имеет вид человека много вынесшего, философски относящегося к насмешкам судьбы и в тусклом взгляде мелькает выражение упрямого, хотя и сильно помятого мечтателя оптимиста.

— Услышал ваш разговор,— догоняю. Насилу догнал.

— Вы русский?

— Yes. Самый настоящий русский человек, но давно живу в Америке, во Флориде, может слыхали?

— Как не слыхать,— там есть целая колония.

— Как же... Погоский, Ребиндер, Мокриевич, Васильев умер, осталась жена.

Он выкладывает эти сведения с торопливостью человека, представляющего доказательства...

— А ваша фамилия?

— Имею фамилию, но не желал-бы... в таком положении... Захаров,— кидает он потом неохотно.

— Что же вы здесь, временно?

— Временно. Разумеется, мог бы вернуться, клок там у меня земли... Дочь осталась, по русски не говорит.

— А здесь что же вы делаете?

— Могу вернуться, но не хочу. Имелась ссора с русскими, с чистой половиной,—прибавляет он иронически...— Заработать на обратный путь всегда могу — месяц —1 1/2 и готово. Не хочу! Поеду далее, хочу взять себе надел.

— Где?

— А видите. Около реки Колорадо и Оризоны есть такая земля, между двух гор. Земля отличная, металлы, минералы... Она принадлежит Мексике, но правительство Соед. Штатов хочет взять себе. Двое представили бумагу, что президент им подарил. Но они, мексиканцы—не дают. Помилуйте, земля отличная,— металлы, минералы... Сделали с корабля выстрелы, одного убили. Теперь идет дело, а я здесь жду. Как только возьмут,— я сейчас себе. И поеду туда. Видите, это делается здесь очень хорошо. Вы заявляете, заплатите таксу, отрезают вам столько то акров. А если после окажутся металлы, минералы,— все ваше...

Мы прощаемся, желаем ему побольше маталлов и минералов, и фигура г-на Захарова в жилете и с жестянкой, в ожидании будущих благ, утопает в светлом тумане.

— О, велл! Здесь Россия проходит!..—Новый голос с сильным иностранным акцентом. Опять молодой еврей из лавочки. Этот не жалуется на Америку: хорошо, что хочешь, себе делаешь. Приехал мальчишкой лет 12,— имел 3 доллара в неделю от уличной торговли. А в России говорят: Well, вы не можете здесь жить, вы можете себе топиться. А здесь мальчик со своими 5 центов делает 2, 3, 4, 5 долларов в неделю[1]...

[1] Описанные здесь случайные встречи с русскими, послужили материалом для неоконченного очерка „Русские на Чикагском перекрестке" (См. т. XVIII наст. изд.).

19 (31) августа

Чикаго 12-й день.

Был в Midway-plaisance с м-ром Крэном. Очень напоминает мне Гучкова [1]. Сын миллионера, гуманист, романтик. Путешествовал, издает книги о России. Взгляд потухший, в лице глубокие складки грусти, скромен, образован, богат и застенчив. Ко мне относится с какой-то странной для меня и трогающей внимательностью, почти нежностью. Читал мои рассказы (в переводах), кажется более всего понравились ему „Соколинец" и сибирские рассказы. Черта — романтика. Фольклорист, основательно знаком с этнографией, и его указания были мне чрезвычайно драгоценны. Под конец, не помню уж по какому поводу — я заговорил об Алтгелдже [2], о помиловании анархистов, сопряженном с осуждением самого суда [3]. Я сказал, что слышал об этом суде, о том, что это

[1] А. И. Гучков (род. 1862), обществ, и политич. деятель, лидер партии октябристов, впоследствии член Временного Правительства; познакомился с В. Г-чем в 1892 г., во время работы на голоде в Лукояновск. у. Нижегор. губ. (см. „В голодный год").

[2] Алтгелдж, губернатор штата Иллинойс.

[3] Речь идет о помиловании Алтгелджем в 1893 г. (по праву губернатора) трех анархистов, приговоренных судом в 1886 г. к пожизненному заключению. Это дело привлекало к себе огромное внимание в Америке и в 1886 и в 1893 г.г. Сущность его заключалась в следующем: 3-го мая 1886 г., на митинге рабочих оратором Фильденом была произнесена речь с призывом к неповиновению закону. Оратора арестовали и когда его вели, в отряд полицейских была брошена бомба, которой 10 полицейских было убито. Бросивший бомбу скрылся в толпе и ни его, ни других участников взрыва обнаружить не удалось. Тогда суду были преданы сотрудники анархистских листков, призывавших к террору. Из них семь человек (Шпис, Фильден, Шваб, Паронс, Фишер, Энгель и Линг) были приговорены к смертной казни, а Небе к 15 годам каторги. Повешено было четверо, один покончил с собой, а двум казнь заменена пожизненным заключением. Алтгелдж помиловал этих двух и Небе — третьего, заявив при этом, что это не милость, а запоздалое правосудие, так как их участие в преступлении, хотя-бы путем подстрекательства, не было доказано.

капитал судил своих врагов, а не правосудие — фактических виновников террористического покушения. Оскар Небе был осужден, но Оскар Небе не был даже на месте и сколько можно судить — не анархист, а социалист организатор. Бомба явилась слишком кстати для Армора и других и слишком повредила рабочим и стачке, чтобы думать, будто это был ход самих организаторов стачки. И т. д. Оказалось, что во 1-х Крэн не считает Алтгелджа человеком особенно выдающимся. „Кренк"— un homme pas toutà fait, équilibré,[1] чудак, психопат — таковы понятия соединенные со словом „крэнк"[2]. Человек способный, неуравновешенный и слишком уверенный в своей правоте... Во 2-х Шпис (повешенный) — работал на фабрике отца м-ра Крэна. В 3-х два друга м-ра Крэна участвовали в процессе в качестве адвокатов: один обвинял анархистов, другой их защищал. Он пожелал меня познакомить с м-ром Francis Walker'ом (Френсис Уокер) — обвинявшим, и часов в 11 веч. в садике при ресторане у нас произошло свидание. Я не вполне удовлетворен тем, что слышал, но в результате вернулся домой с 2-мя огромными томами: один — отчет о судебном заседании, другой — произведение Майкеля Шена, полиц. инспектора: Anarchy and Anarchysts[3].

Крэн говорил о своем друге, как о человеке, которому предстоит большая роль в обществе. В его тоне мне слышалась некоторая почтительность — человека, совершенно не чувствующего в себе соответствующих способностей и удивляющегося им — в другом. Но мне

[1] Человек не вполне уравновешенный.

[2] Бедный мистер Крэн сам со своим фольклором, любовью к русской литературе, нелюбовью к business и америк. практике, тоже наверное „крэнк" с америк. точки зрения. (Прим. автора).

[3] Анархия и анархисты.

м-р Крэн сам кажется гораздо более интересным: его друг — просто толстеющий американский гражданин, с заплывающими глазами и неособенно интеллигентным лицом. С первых-же слов он резко напал на Алтгелджа. Его точка зрения — совершенно формальная: суд осудил, губернатор мог применить право помилования, но конституция не дает ему права отменять решение. Может быть, это и правда, но мне стоило большого труда свести разговор с этой специальной точки зрения. А все таки: были или не были осуждены невинные и будут-ли опровергнуты аргументы Алтгелджа? Не будут: суд не может унижаться до полемики. А почему был обвинен Оскар Небе, который не был даже на митинге? Он горячо доказывает, что: Небе был в том-же кружке, распространял газету Моста и рассылал циркуляры. Я спрашиваю: карается-ли по америк. законам распространение газеты Моста и распространение циркуляров, какие распространял Небе? — Нет! — Тогда мне нужно знать, доказано-ли его участие в изготовлении именно этой бомбы и побуждал-ли [он] именно к данному покушению. Известно, к чему может вести это распространительное толкование „солидарности". Человек был в кружке, может быть одно время сочувствовал его целям, а может быть даже оспаривал, во всяком случае — отступился от практических выводов, а порой и не имел в виду ничего подобного. Но среди брожения идей кружок выделяет одного фанатика, который делает злое дело. И вот — на основании „солидарности" в общих прежде основаниях — устанавливается солидарность в данном деле. Этим путем можно дойти до того, до чего и дошел у нас одно время суд, терроризированный Стрельниковым: [1]

[1] Стрельников военный прокурор, свирепствовавший по политич. делам в 80-х годах в Одессе. В 1882 г. был убит революц. Желваковым.

повесили человека только за то, что не хотел выдать другого. Солидарность! В кратких и общих чертах я изложил эти соображения м-ру Walker'у. Он как будто спохватился и представил дело аллегорически: вы предлагаете украсть деньги у N. Для этого нужна отмычка. Вы делаете ее и потом уходите. Крадут другие. Неужели вы не участник? — Итак, доказано, что Небе участвовал в изготовлении бомбы и в решении как ее употребить? — Да, доказано.

Вот это-то я и буду теперь искать в данной мне книге. По словам Walker'а — судья Герри и вообще суд в Америке — выше партийности. Герри избран демократами и республиканцами unanimously[1]. Он вновь будет избран непременно. Само общество т. образом избрало его за честность и беспристрастие. Да, но вопрос стоит не о пристрастии к демократам и республиканцам, а к тем, кого одинаково ненавидят и боятся обе партии: к людям, об'явившим войну основам капиталистического строя, на которых одинаково стоят и те и другие. А третьи — рабочие с их специальными интересами еще не настолько сознательны в политич. отношении, чтобы выставить третье знамя. И значит — в специальных вопросах, где буржуазное общество соприкасается с ново-нарождающимся врагом — возможно классовое пристрастие, испуг и вражда, застилающие ясный взгляд.

Правда, весь эпизод все таки подымает американские порядки выше многих других. Все таки привычка свободы — не проходит бесследно. Начинается в обществе движение в пользу амнистии, банкиры подписывают петиции о помиловании их принципиальных врагов, — и власть, в лице губернатора, — клеймит недавнее увлечение

[1] Единодушно.

враждой, затмившей и исказившей правосудие по отношению к нескольким америк. гражданам. И я видел Небе — на свободе, в самой правда прозаической обстановке: за стойкой ресторана на Hollstead'e.

Как-бы то ни было — эпизод этот так задевает самые больные вопросы и американского и всякого строя, что мне очень хочется в нем разобраться.

Midway plaisance — бульвар в Чикаго, от берега озера врезывающийся в город. Это средняя дорога, а все название в совокупности означает — удовольствие средней дороги. Открываются эти удовольствия обозрением Irisch village.[1] Ограда, вход (кажется 10 cents) — ирландские дома, довольно просторные и хорошей постройки. Еще из за ограды — видны серые камни какой-то башни, с бойницами. Это — модель старинного Blarney-Castle. „Замок" этот, по об'яснению моего спутника стоит где-то на юге Ирландии и пользуется большой популярностию не только в Ирландии, но и в Англии. „Был в Blarney-Castl'e" — это поговорка, значение которой становится яснее из другой: на верху башни, под верхним выступом — вделан белый камень. Идет легенда, что камень этот восходит ко временам друидов и имеет волшебную силу — он дает красноречие тем, кто коснется его губами. И настоящие ирландцы, в особенности в прежнее время, — целовали Blarney-stone. Но для этого нужно было, чтобы кто-нибудь наверху башни подержал целующего за ноги. В этом положении — голова целующего приходилась как раз у камня. Разумеется, таких охотников целовать Blerney-stone на выставке — не найдется, тем более, что и камень здесь т. сказать балаганный. Однако, когда по витой лестнице мы поднялись на

[1] Ирландская деревня.

плоскую крышу башни, то увидели характеристичную сцену: какая-то мисс ирландского типа стояла на коленях у белого камня в амбразуре, вделанного против соответств. места, но только внутрь башни, и целовала камень. Предприимчивый мужчина, изобретатель этого business'a — выдал ей certificate, стоивший 10 сент. и тотчас-же обратился к толпе,— вызывая новых желающих и громко убеждая, что тот, кто не целовал Blarney-stone — не настоящий ирландец. Под камнем надпись:

This is the stone whoever kisses
He never misses
To grow eloquent
A clever spouter
He'll turn out and outer
In Parliament.

10 cent. each person to kiss the Blarney-stone [1].

В другом месте:

This stone of world renown was placed in position and dedicated to the irisch americans of the U. S. by the Hon. Carther H. Harrisson Mayor of Chicago, june 17-the 1893 [2].

Затем мы пошли посмотреть деревню Самоа (острови-тяне Фиджи). Группа оливковых людей, одетых в лохмотья, не особенно живописные, с голыми ногами и руками (мужчины обнажены до пояса) сначала плясали с веслами (и сами смеялись), потом пели. Напевы грустные, лица грустные, глаза очень выразительные и тоже полны

[1] Кто поцелует этот камень, тот не преминет стать красноречивым. Став искуссным оратором, он — высоко и все выше и выше будет подыматься в Парламенте. 10 центов с персоны за целование бларнейского камня.

[2] Этот всему миру известный камень был положен здесь и посвящен ирландским американцам Соед. Штатов почтенным Картером Гаррисоном, мэром в Чикаго, 17-го июня 1893 г.

грусти. „Beau peuple“ [1] — сказал мне Крэн, и прибавил, что это вымирающее племя.

Явайская деревенька — чистая и характерная. В театре желтые актеры и актрисы дают оперу. Очень приятный, преимущественно струнный (и кажется еще стеклянный) оркестр, единственный, по словам Крэна, полный азиатский оркестр. Голоса же слабые и не очень приятные. Какая-то дуэль и победа. Когда приходится говорить,— то кто-то говорит за всех, а актеры только жестикулируют. Посредине деревни у искусственного ручья устроено мельничное колесо из тростника. Вода вертит колесо с тростниковыми лопастями, а тут же привешенные пластинки из тростника разной длины, ударяясь о лопасти — производят довольно мелодическое постукивание. Перед этим ручьем — стоит маленький храм, сплетенный из разноцветного тростника. Воображение невольно перенесло меня на родину этого народца, где среди тропической растительности перед дремлющим храмом, этот автоматический звон тростинок должен производить обаятельное впечатление.

В turkisch village [2] — праздновали день султана. Живописные ассирийцы, со своими кривыми саблями и копьями, на верблюдах и своих лошадях, черные нубийцы, турки в красных фесках. Дикие крики, лошади пугаются, одна кидается в толпу, черные глаза сверкают из за занавесок паланкина, помещенного на верблюде,— все это дико, живописно и оригинально. Праздником распоряжался „Far Away Moses“,— старый седой турок, гид в Константинополе, изображенный Марком Твэном в рассказе „Innocents abroad“ [3] и с тех пор очень популярный в Америке.

[1] Красивый народ.

[2] Турецкая деревня.

[3] „Простодушные за границей“.

Китайский театр — произвел на меня отвратительное впечатление. Занавес между прочим не спускают, а вместо антракта актеры показывают фокусы. До сих пор еще в ушах стоит дикое завывание актеров, изображающих женщин и дикие звуки безобразного оркестра.

20 августа (1 сент.)

Чикаго 13-й день.

Был на выставке, смотрел картины. Бельгийский отдел меня удивил очень приятно. Перед тем я тщательно осмотрел голландскую галлерею и был удивлен ее бедностию и в качественном и в количественном отношении. Швеция кажется хуже всех, затем следует Норвегия,— за ними, правда на значительном расстоянии, следует Голландия. Нет такой ужасной мазни, какая будто по недоразумению попала в пред'идущие отделы,— рисунок хорош, есть школа, а не метание от итальянского изображения северной природы к импрессионистской пачкотне, в которой вместо фигур — какие-то символы. Но голландский пейзаж как-то слишком сер, как будто задымлен и прокопчен. Как будто современным голландским мастерам мало подражать своим старым учителям в манере,— они еще подражают тусклой блеклости изменившихся на старых картинах красок. Я пытался об'яснить это характером природы: страна болот, каналов и заливов. Но ведь можно же и в тумане разыскать сквозящие лучи, можно и здесь дать глубину и краски, хотя-бы и не радужные. Здесь-же редко-редко увидишь что-либо прозрачное, освещенное, сверкающее. Тоже я ждал и в Бельгии,— и сразу-же увидел свою ошибку. 251 № — это не очень много, но зато редко вы пройдете мимо картины, не остановившись. Сразу-же я наткнулся на

несколько миниатюр Jean Van Beers'a — прелестных, по тонкой реальности и изяществу исполнения (в особенности хороши портрет Рошфора и пейзаж: летний вечер, с задумчивой женской фигурой на скамейке. Безголовая статуя, темный лес назади, фигура — все проникнуто какой-то меланхолической прелестью). И между другими встретилась мне картина Paul Bayart (Bruxelle), изображающая голландский пейзаж. Сама по себе не особенно замечательная, хотя и недурная,— она характерна в том отношении, что дает для той-же Голландии совершенно другие тоны. И притом день взят — туманный, а вы чувствуете здесь и воздух и свет... Тоже нужно сказать о картине de Bats'a „In Iceland"— туман и здесь сквозит и движется. De Schamphelleer, Carpentier, Anten Dyef, Baudry, de Bruyn, de Rickx и др. выставили отличные пейзажи; van Lemputten („Возвращение"), van Snick'y и некоторым другим обстановка комнаты не помешала передать живо игру света. Из больших картин очень хороша Edgard'a Farasyn — посадка эмигрантов на пароход. Огромное судно вплоть у пристани производит впечатление полной иллюзии. Туман слегка прокрадывается в пространство между набережной и килем парохода, а на пристани — сцены прощания полны драматизма и движения. Недурна площадь La Porte de Hal в Брюсселе (François Gailliard'a), характерна —„Петушиный бой" (Emil Claus'a), „Святая неделя" (исторический жанр) и de Vriendt'a (Albrecht) „Charl VI and Odette". Nues — тоже полны жизни, тела светятся и сквозят живою кровью. Очень характерна „Jealousy" (Auguste Deal). „Мир" (аллегория Maeterlinck'a — женщина с оливковой ветвью), изящна Karel Ooms'a —„Купидон на охоте",— группа молодых женщин весело болтают, готовясь купаться, Купидон крадется из за кустов: все блещет красотой, молодостию

и весельем. Оригинальна (хотя фигура неизящна) — картина Fichefet (купальщица лежит на траве. Тело светится на фоне темной зелени). Очень хороша и жива — картина Rullens'a —„The Study" (молодая девушка, студентка — за книгами. Вся фигура и лицо — симпатичны и изображены очень ярко и сильно, хотя и очень просто). Дань экспрессионизму или простой небрежности отдали: Meyers Isidors („Мель на Шельде"); он-же выставил другой пейзаж весьма порядочный („Briele Poort"), Leroy —„Dream of Happiness" и некоторые другие. Но все же я далеко не перечислил всего, стоющего внимания в Бельгийской галлерее. Чтобы проверить себя и думая, что я сегодня настроен более благоприятно,— я вернулся опять в Голландскую галлерею. Нет — все то-же: туман, неприятные черноватые или уж прямо неестественно синие тоны. Откуда такая огромная разница у столь близких соседей, видящих один воздух, одно море, одну природу? Многие бельгийские картины, притом-же и писаны художниками, живущими в Голландии!

21 августа (2 сент.)

Чикаго 14-й день.

Осматривал выставку, познакомился с Каменским[1]. Да, русский человек — интересный человек. Каменский — талантливый скульптор, бросивший скульптуру для земледелия и притом в Америке. „Трудами рук своих" он кажется только и нажил, что большую яму на лбу (лошадь лягнула), которая удивляет своей глубиной на живом все-таки человеке. Теперь он распорядитель русского отдела изящных искусств. Расказывал кое-что

[1] Ф. Ф. Каменский (1836 — 1913), известный русский скульптор. В 1873 г. переселился в Америку и некоторое время был фермером во Флориде.

интересное. Между прочим: картины русские нравятся и привлекают внимание. Наш отдел — один из посещаемых. Кое-что можно-бы и продать,— но цены не выставлены и неизвестно, какие именно продаются. Когда с его слов об этом написал корреспондент „Нового Времени", то К. Маковский возражал, что это не может быть. А между тем цен до сих пор нет и его собств. картина (Ромео и Джульета вызвала вопрос о цене, на который Каменский не мог ответить. Особенно нравятся: Семирадский, Репин, Крачковского „Новая луна" и „Вечер", Айвазовский,— впрочем последний — публике. Художники говорят, что все это несколько слащаво и шаблонно, что и правда. Картин Айвазовского много — и все в одних тонах. Окрестности Малаги и Парфенон, Неаполь, Ялта, Венеция и Бахчисарай — помещены под одинаковое небо, укутаны одним воздухом, освещены одинаковым светом. Шаблон слишком ясен и та немалая доля поэзии, какая заключена в „настроении" этих картин,— ничего не выигрывает от повторения. Отношение художника к природе всегда более или менее определенно, но диапазон его цветов, если так можно выразиться, должен быть настолько широк, чтобы в единое настроение вмещалась возможно разнообразная область внешнего мира. Айвазовский уже не изучает давно; его отношение к природе уже не только определенно, но и узко. Мы знаем хорошо поэзию его красок, но мы не узнаем ничего нового о природе, на основании его „настроения". И понятно, что опытный глаз, умеющий читать краски,— быстро утомляется все повторяющейся гаммой цветов.

Выдаются: Бодаревского — Свадьба в Малороссии, Ендогуровых И. И. (масл.) и С. И. (акварели), Крыжицкий (пейзажи), Маковский Влад. (очень нравятся Курильщики, Рынок в Москве — не так), Мясоедов (Бегство

Дм. Самозванца — плоховато, Жатва — превосходно!). Обращает внимание — Пугачев Перова, Иван Грозный и Василиса Мелентьева—Седова. С любопытством останавливается публика около Софьи Витовтовны (Чистякова), срывающей с Василия Темного пояс Дм. Донского. Бруни (№ 23?), Кившенко — пейзажи (кратер Ледиази,— много жизни и света), Крамской — портреты. Разумеется — Запорожцы Репина — одна из great attraction [1]. Я смотрел на публику и редкое лицо не распускалось в улыбку, при виде этого могучего смеха в красках. Интересно, что г. Каменский (выбор распорядителя оказался очень удачен) с беспристрастием, поистине весьма уместным, отнесся с одинаковой любовью и к Репину и к Семирадскому. Картины эти висят друг против друга, во всей своей эстетической и бытовой противоположности, доказывая еще раз старую истину, что — все роды хороши, за исключением скучного. Мне — гораздо меньше нравится Фрина,— но нельзя не признать могучего таланта, залившего такое огромное полотно такой огромной массой света и блеска, такими чудными формами. Христос у Марфы и Марии — написан тоже отлично, виртуозно передана игра света, прорывающегося через зелень и играющего на камнях и лестницах. Превосходно, но — слишком много самых живых и ярких солнечных пятен и пожалуй — слишком мало Христа. Виртуозность несколько преобладает над сюжетом. Это еще хорошо для Фрины,— но для Христа хотелось бы, чтобы внутренний свет мысли заставлял забывать о совершенстве техники, а здесь прежде всего — пятна и уже потом фигуры. И все говорят: „ах какие пятна!". Редко: „ах какой Христос!". Ну, а это — едва ли то, что нужно. В картине Репина — смех есть прежде

[1] Больших приманок.

всего смех, и уже после мы заметим некоторые технические несовершенства освещения. Не важнее-ли еще, чтобы мы прежде всего увидели Христа на картине Семирадского и уже после — совершенство его красок?..

Во всяком случае — что-бы ни говорил Стасов [1], а картина Семирадского привлекает общее внимание. О К. Маковском нужно сказать тоже, что о В. Маковском.

Нечто об импрессионизме. Откуда он взялся? Каменский передавал со слов франц. художника и знатока-критика. Явилась новая теория цветов, признающая не семь, а три основных цвета. В виду сего — художники-импрессионисты решили употреблять только три краски, а остальное получать из их смешения. Это, конечно, вопрос техники и в этом смысле — большое недоразумение. Художники плохо вдумались в физику и совсем не приняли в соображение химию. Простой цвет — одно, но простая краска — другое. Простых красок нет или почти нет. Желтая или синяя — она все таки химически сложна и порой зеленая готовая краска — проще по химическому составу, чем зелень, составленная из двух простых цветов, — т. е. синей и желтой краски. М. тем — импрессионисты изгнали цвета и оттенки и ограничиваются тремя красками! Конечно, Паганини играл и на одной струне, но не все же Паганини в музыке, как и в живописи. Таково будто-бы основание импрессионизма,— в плохой физике! Конечно, это только одно из оснований. Школа не могла-бы создаться на этом, и к технике присоединилась психология. Импрессионист не даром изгоняет оттенки цветов: он ловит основной цвет предмета, как и основной тон настроения и чтобы его

[1] Влад. Вас. Стасов, археолог и писатель по вопросам изящных искусств.

подчеркнуть, схватить быстрее, выдвинуть рельефнее — устраняет оттенки реального предмета: в плохих подражаниях, как всегда,— является reductio ad absurdum. В школах норвежской и датской, но особенно шведской — как еще молодых и недавно еще избавившихся от итальянского пленения, можно видеть именно это полезное преувеличение. Вот например — вечерний пейзаж. Вдаль уходит река, в реке отражаются оба берега — так, что поверхность как бы отрезана с обеих сторон черными тенями, с'уженными в перспективе. Берега утонули в тени, река просвечивает резкой полоской, на темном берегу — лежит женская фигура, тоже неясно рисующаяся в воздухе. Мотив — эффект почти чорных теней и мерцание реки... Исполнение: тени детски, почти математич. правильны (устранены оттенки очертаний), небо не натурально холодно-сине (устранены оттенки цветов), фигура — наляпана с лубочной упрощенностию: синё и невырисовано; вместо трудно уловимых, но все таки живых очертаний, лежит куча платья, в которой ясно проглядывают только широкие мазки почти малярной кисти! И такой вывесочной мазни — не мало. Удивляешься, как это принято на выставку, а еще 10 лет назад — над этим-бы просто смеялись, теперь это — школа. И действительно есть случаи, когда художник очевидно мог-бы написать нечто, хотя и не особенно выдающееся, но хоть порядочное в общепринятом роде. Так г. Viggo Pedersen, датчанин, выставил итальянский ландшафт (№ 142),— который, конечно, не доставил-бы ему известности, но по крайней мере сошел бы среди остальных. Но г. Виго Педерсену угодно было к этой „средственной“ картине прибавить еще 3, представляющих возмутительную мазню,— просто полотна, измазанные грязью (в особенности нечто, названное им The Wather Mill, № 139).

— Или у норвежцев №..... гамак и дама. Гамак — какой-то чертеж в черных линиях, дама вымазана известкой и берлинской лазурью, заимствованой у прачек.

Невелик, но хорош польский отдел, о котором надо сказать отдельно. (Народность в нашей и западной живописи).

22 августа (3 сент.)

Чикаго 15-й день.

Пришло вчера в голову сравнение для иллюстрации: океан и морская болезнь. Также нужно пережить своего рода морскую болезнь очень долгую и мучительную,— чтобы потом оценить Америку.

Завтра — день рабочих союзов. Накануне появилась прокламация Алтгелджа, которую я и вырезал из газеты [1].

Весь день провел за ознакомлением с делом анархистов по источникам, доставленным мне одним из ассистентов прокурора. (M-r Francis Walker, 1020 chamber of Commerce Building. Chicago). Общее впечатление от этого чтения: суд в Америке предоставляет огромную возможность защиты. Это вообще (981 человек были призваны для образования состава присяжных. Всего исключено из этого состава по протестам сторон 757 человек. Около 4 недель ушло на предварительное испытание присяжных). Тем не менее, кажется, что в этом деле страсти и испуг американского общества перед непонятным еще движением были таковы, что все-таки и через эту броню прорвалось пристрастие и неправосудие...

[1] Эта газетная вырезка приклеена к листку записн. книжки. Мы опускаем ее.

23 августа (4 сент).

Чикаго 16-й день.

Labor-day.

Сегодня день рабочих союзов. Кроме прокламации, особое внимание в этот день обращало известие, что губернатор Алтгелдж будет говорить рабочим на mass-meeting.

В 11 часов я был на State-street. В 12 назначил свидание знакомому, чтобы вместе итти в Kuhn's park, где должны были собраться немецкие рабочие. Алтгелдж сам немец, принадлежит к союзу немецких американцев и хотел говорить именно в Kuhn's park'e. Ровно в 11 часов раздались звуки музыки и из за угла по улице, залитой народом по обеим сторонам — показалась процессия. Движение остановилось. Cable-cars с публикой стояли на рельсах, экспрессы, вагоны, телеги — все это стало, как огромные острова среди движущегося потока. Впереди показались маршалы, верхами, с лентами из национальных американских цветов через плечо. Это — выборные из рабочих. Затем среди двух таких-же маршалов проехал Harrisson [1], mayor (мэр) г. Чикаго, выбранный на этот день главным маршалом. Почет — против которого сильно восставали социалисты. Гаррисон — видный мужчина, ловко сидит на коне и окидывает толпу благосклонным, довольным, умным взглядом. M-r Harrisson — политик, говорят, не кладет охулки на руку в гор. хозяйстве, плохо чистит и метет улицы, но умеет говорить языком, который льстит народу, и его любят. Когда он поравнялся с задержанными вагонами, несколько аплодисментов и взвизгиваний

[1] Картер Гаррисон, один из энергичнейших деятелей по устройству Чикагской выставки.

приветствовали голову. M-r Harrisson слегка приподнял шляпу, конь заиграл под ним — и он улыбаясь проехал дальше, уступая место оркестру. Бравый тамбур-мажор размахивал своей палицей,— в эполетах и в блестящей форме, вроде военной. Так одеты все музыканты, но это все таки только частные оркестры [1].

24 августа (5 сент.) [2]

Чикаго 17-й день.

На выставке. Пересмотрел 5 зал (карт.) Соед. Штатов,— это еще менее кажется $^1/_4$ всего, что ими выставлено. Кажется, что я не одолею всей этой массы картин, а уж скульптуру наверное придется только оглядеть пов[ерхностным] взглядом (так я уже обошел всю выставку). Теперь хожу с каталогом, приглядываюсь, отмечаю и сопоставляю разбросанные в разных местах

[1] На этом описание „labor day" в записн. книжке обрывается; но на розрозненных листках, найденных в бумагах писателя, имеются заметки, относящиеся к этому дню и сделанные бегло карандашем, на ходу: на одном листке, под заголовком — В „Kuhn's park" — намечен порядок шествия рабочих союзов (длинный перечень наименований, иногда с краткими примечаниями); на другом листке записано (по русски) начало чьей то речи, вероятно Алтгелджа: „Я пришел, чтобы воздать почесть тому классу, который строит дворцы.— Перед классами, как перед людьми — лежит темное или светлое будущее. Я не скрываю, что перед вами лежит еще долгий период темный и трудный, но я надеюсь, что вы посмотрите в глаза будущему, как американские граждане. Государство может не много, но оно сделает, что может и мы постараемся, чтобы"... Далее несколько неразборчивых слов и на этом записи обрываются.

[2] Над этой датой на листке записн. книжки отмечено: „(У Беффало-Билля. В письме Дуне описание)". Упоминаемое письмо напечатано в т. XVIII наст. изд. („Из писем к жене"); в нем изложены впечатления от посещения своеобразного индийского балагана.

картины одних и тех-же мастеров. Кроме того, считаю необходимым, в осмотренных уже отделах побывать еще и в другие дни: очень много значит настроение; порой все кажется хуже, порой — все лучше.

Перед входом невольно остановился перед скульптурной группой Вандербильдов. О ней много говорят. Почему говорят? Думаю, потому что это Вандербильды, а у них — огромное состояние. Кажется, эта же огромность состояния вдохновляла и художника (или — цу) Caroline S. Brooks (New-York) изваявшую эти удивительно деревянные и безжизненные фигуры. В следующей работе того же резца — вдохновение вызвано опять огромностию — волос какой то лэди Godiva [1]: вместо одежды — ей служат, если верить художнику — ее волосы и в этом главный интерес вообще не выдающейся статуи. Далее — та-же лэди Godiva (returning) — садится или слезает с лошади — в том же интересном костюме...

Я вошел в зал живописи с предубеждением. Однако, нужно сказать, что оно не оправдалось: я нашел у американцев много посредственных, но и очень много хороших картин. Кажется можно сказать (по впеч. первого дня), что у них нет очень выдающихся мастерев, но очень хороших много.

25 августа (6 сент.)

Чикаго 18-й день.

Осматривал картины в галлерее United States. Около 1000 №№ одних масляных картин и очень много —

[1] Леди Годива—легендарный образ английской герцогини Ковентри, которая проехала по городу нагая, чтобы избавить этим жителей от непосильных податей, наложенных ее жестоким мужем. На эту легенду поэт Теннисон написал поэму (переведена И. Буниным).

хороших. Завтра кажется, кончу, но еще останется скульптура, карандаши, акварели, пастели и т. д., и т. д.

Кроме того,— смотрел с Петр. Алексеев. Дементьевым [1] — Transportation building. Роскошные вагоны отличные локомотивы, снеговой плуг — огромная махина для разбрасывания снега, другая — с винтом впереди — все это велико, прекрасно и очень импозантно. Но меня всего более заняли модели первых локомотивов и вагонов. Оказывается, что еще Исаак Ньютон в 1680 г. составил проект локомотива и теперь по чертежу гениального математика и философа сделана модель. Это огромный котел (ассоциация!), нечто в роде шаровидного самовара с трубой впереди. Он поставлен впереди четырехколесной телеги и не имеет никакой непосредственной связи с колесами [2]. Сзади котел оттянут в длинную трубку, с клапаном, вроде Папинова. Повидимому, идея состоит в том, что пар, выпускаемый в оттянутый конец, будет давить на противуположную стенку. За этим тянется целый ряд моделей, в которых идея развертывается все больше. Во 1-х, котел связывается с колесами и должен рычагом вертеть непосредственно их, а не толкать всю систему напором на стенки. Далее котел теряет шарообразную форму, отступает от своего первообраза (котла) и прибдижается к паровику. Шаг за шагом,— через стоячие конические паровики с вертикальными рычагами, прикрепленными к спице колеса — идея подходит все ближе, рычаги дифференцируются, делаются удобными, находят свои наиболее прямые движения и формы и наконец —

[1] П. А. Дементьев, собственно Демент (псевд. Тверской), писатель, бывш. тверской помещик, переселившийся в Америку, сотрудник „Вестника Европы“ и „Недели“.

[2] В записн. книжке сделан набросок пером этой модели.

последнее слово инженерного исскуства — стоят немецкие и американские локомотивы на рельсах.

Тоже и с вагонами. Прежде всего является идея — как бы везти без лошадей карету. И вот за первым годным локомотивом стоит ряд дорожных кареток, маленьких, тесных, с рессорами, кожаными фартуками и местами наверху (даже козлы для кучера еще уцелели). И только постепенно техника отрывает все более и более нынешнюю форму вагона - дома — от его образца,— вагона - каретки.

26 августа (7 сент.)

Чикаго 19-й день.

Сегодня в газетах эпилог очень характеристичной истории: в штате Канзас, в одном из „уездов" (counties) проводили жел. дорогу. Жел. дор. это жизненный нерв страны: есть города, построенные целиком и заселенные почти мгновенно с проведением ж. д. Но зато есть и другие. В том - же штате Канзас, есть город (Сев. Канзас?), целый настоящий город, с opera-house, с зданием суда, с отелями, с домами — который можно целиком получить за 100 долларов[1]. Город этот — совершенно пустой. Это — результат неудачного расчета. Сотни и тысячи городов в Америке растут как грибы и конечно — удачный расчет — правило. Но есть и исключения и как все в Америке является в грандиозных размерах, так и эти „исключения" являются в виде целых пустынных городов, которых миновала почему - либо струя промышленной жизни... Итак, в штате Канзас проводили жел. дорогу и какой - то город, увлеченный блестящими перспективами — принял на себя выпуск облигаций. Компания оказалась дутая, директора

[1] Так у автора.

положили деньги в карман и никакой дороги не выстроили. А облигации перешли в третьи руки и владельцы потребовали уплаты с жителей уезда. Уезд — отказался платить. Дело пошло в суд, а в уезде подошли выборы. Трудно было найти желающих, так как по америк. законам и нравам — в таком положении вещей принять должность, значило — принять и перспективу тюрьмы. Долго городок волновался, наконец несколько именитых граждан взяли на себя роль козлов отпущения. Их вызвали в Канзас и... вот уже по два года именитые сидят в тюрьме, отсиживаясь так сказать за свой американский „мир", который все таки не платит. Недавно, эти уездные власти строптивого уезда были выпущены, как некогда известный карфагенянин,[1] — на условии: отправиться в свой город и уговорить сограждан — уплатить по облигациям. Теперь газеты сообщают, что канзасские Кремуции Корды вернулись в Канзас и опять сели в тюрьму: сограждане, говорят они, настаивают на своем, и они не могут ничего сделать: если-бы они и согласились взять на себя обязательства за свой уезд, то им об'явлено, что их повесят по возвращении домой.

Итак,— они опять посажены еще на два (кажется) года до истечения их выборных полномочий, когда на их место сядут другие. Судья, впрочем, об'являет, что не выпустит их и по истечении этого срока, но вопрос этот дебатируется теперь на разные лады. Как бы то ни было,— весь этот шум еще подливает масла в огонь сильной и без того ненависти американцев к дельцам железнодорожного мира.

(Иллюстрация к старой мысли: о силе вещей и смысле вещей. Две столкнувшиеся стороны — обе невинны. Судья

[1] Речь о римлянине Регуле, попавшем в Карфагенский плен.

прилагает закон „в силу вещей“, но с м ы с л этого столкновения обращает общее искание источника неправды — на обстоятельство в н е обеих тяжущихся сторон. В силу вещей — деньги должны быть взысканы в пользу владельцев облигаций, и представители должны быть посажены не за то, что они виновны, а потому, что они самоотвержены. Но общественная совесть тревожно обращается к оставшимся в стороне железнодорожникам, истинным виновникам „по смыслу вещей“).

Когда я подходил сегодня к обычному месту моих посещений на выставке, то во 1-х, увидел огромный полураздутый воздушный шар. Очевидно предполагается полет. Во 2-х, прямо против Art-building, в здании Pennsylvania происходило торжество: сегодня пенсильванский и бразильский день. Пенсивальцы устроили свою платформу, занятую какими-то военными в треуголках со страусовыми перьями и толпой разного почетного люда. С платформы какой-то господин размахивал руками, как бы припечатывая жестами каждую фразу, и каждый раз, когда период кончался словом Pennsylvania,— в густой толпе подымался визг, крики, свист — вообще знаки одобрения. Народ стоял кругом, взбирался на стулья, облепил карнизы, сидел вверху на выступах галлереи и крыши, бесцеремонно свесив ноги вниз. Пенсильванцы — в этом здании у себя дома и никто им не указ, как им сидеть и где. В толпе множество значков: белая лента с надписью Pennsylvania. Оратор выкрикивал что-то горячо и казалось даже красивые знамена разных пенсильванских counties развевались от восторженых криков местного патриотизма.

— Pennsylvania people... (пенсильванский народ празднует),— говорил мне какой-то старый янки, с безусым ртом и рыжей бородкой,— добродушно улыбаясь. И все улыбались, несмотря на то, что дикция оратора

обнаруживала волнение, страсть и порой, кажется, горечь. „He is bitter“ [1] — можно было-бы сказать и про него, как было написано про негра Douglas'a. Пенсильвания имеет и свои интересы и свои счеты, и хотя над ее местными знаменами гордо и величаво красуется звездное знамя, но это не мешает отдельному штату обращать свою горечь против „правительства этой страны“ или тирании остальных штатов. И однако, ни одна нация не способна так об'единиться вокруг своего общего знамени, в случае нужды, и никто здесь не боится пенсильванских и иных сепаратизмов. Юг ворчит и пожалуй всего серьезнее таит свои замыслы. Но это не вызывает излишних тревог и опасений. Бывали трудные времена, и Америка, показала, что она может справиться, когда надо... Зачем же излишние опасения и нервность.

Когда оратор кончил — хор запел пенсильванский гимн. Публика подхватила и среди гула и грохота ярмарки — полились стройные величавые звуки. Я с какой-то особенной сердечной болью, с каким-то сиротливым чувством присутствовал при этом празднике — чужом для меня. У нас нет ничего подобного. У нас нельзя не встать при звуках казенного гимна, но он у нас все таки казенный. Нет этого свободного могучего и гордого национального порыва. Да, где нельзя излить горького чувства в таких свободных речах, там нельзя и чествовать так искренно и нераздельно. Когда можно только хвалить и славословить, — то и самая хвала и славословие обращаются в натуральную повинность, обязательную подать чувством,— и это как всякая подать — отдается неохотно, в лучшем случае, с тупой покорностию... —

Процессия уэльских друидов (в белых и желтых балахонах) с оркестром прошла мимо и остановившись отдала

[1] „Он желчен“.

привет пенсильванскому народу... Я ходил и изучал свои картины и долго, подходя к наружным дверям — слышал ликование и крики. „Пенсилвения пипел..."— говорили тогда и в картинных галлереях. И каждый из них знал, что у них был или будет свой день...

27 августа (8 сент.)

Чикаго 20-й день.

К. [1], очень хорошо присмотревшийся к американской жизни, рассказывает интересные вещи о юге и южанах и об их отношениях к неграм. Я и раньше слышал, что напр. негр, самый богатый, не сядет на юге в один вагон с американцами. Есть особые вагоны для негров и его бы непременно вывели. Негр должен при встрече обходить американца. Два негра, беседующих на тротуаре, обязаны непременно посторониться оба, — американец оскорбляется, если ему пришлось свернуть. Цветные — держатся в терроре. От времени до времени идет крик, что негры зазнались и при первом пустом проступке — Линч [2] и казнь. Тогда негры припадают и пугаются на долго. Экономич. отношения проникнуты самым примитивным грабежом, в роде нашей хищнической системы: негров заставляют брать в известных лавочках, за все ставят цены, вдвое и втрое, держат их в невежестве и в вечном долгу. Американцы (южане) в откровенные минуты сами рассказывают о своей системе. Между прочим, арендатор негр должен представить непременно поручителей, причем нередко поручитель негр оказывается записанным в поручители без ведома. Но негру

[1] Вероятно Каменский, скульптор.

[2] Т. е. Суд Линча (самосуд).

не найти правосудия и часто какой-нибудь бедняга, сколотивший собственность, разоряется в несколько дней. Югу долго еще придется являть следы подлого крепостничества.

28 августа (9 сент.)

День от'езда из Чикаго (в 9-30 вечера).

Три торжества на выставке: калифорнский день, день Transportation[1] и Grand army day[2]. Grand army — это армия последней войны за освобождение негров. При общей америк. склонности к организации, — раз созданная организация великой армии — не распалась и после официального распущения. Участники тотчас-же образовали союз, который и существует до сих пор. Когда в президенты попал Джонсон[3] ярый южанин, который захотел правдами и неправдами провести сепаратистские требования крепостнического. юга, — то самым существенным оплотом против этого заговора явилась grand army. Мирные граждане, занявшиеся торговлей, земледелием или скотом, вытащили старые доспехи и в стране внезапно ощетинилась grand army, — верная традициям великой войны...

Теперь организация, кажется, ставит себе более мирные цели: высокие пенсии за раны и увечия и т. д. Однако, когда они шли под знаменами своих штатов, порой истрепанными и избитыми вражеским огнем,— мне казалось, что над седыми головами веют сильные традиции. Говорят, grand army принимала участие в усмирении стачечников — с одной стороны. С другой — это оплот против живого еще крепостничества...

[1] Путей сообщения.

[2] Великой армии.

[3] Джонсон, президент С.-Амер. С. Штат. в 1865 — 1869 г. г.

29 августа (10 сент.)

В дороге из Чикаго к Нью-Йорку.

Жел. дор. „Nickel-plate", — через Кливленд и Беффало. Значительная часть по южному берегу озера Эри.

30 августа (11 сент.)

Приезд в Нью-Йорк.

Проснулся я часов в 7 после беспокойной ночи. Чудное утро. Поезд летит то над, то по сверкающему озеру. Утреннее солнце выгоняет туман из лощин и с озер — и он курится, то затягивая, то открывая зеленые вершины гор.

Часов около 10 — в Нью-Йорке. Писем не получил — удивительно! Остановился у Белякова, 207, Este, 18 Str. Пароход на Гавр — идет только в субботу.

31 августа (12 сент.)

Поездка в Woodbine[1].

3 (15) сентября

В Нью-Йорке последний день.

Утром был в консульстве, визировал паспорт. Познакомился с Ганзеном, мексик. консулом, заменившим

[1] Вудбайн („Повилика"), еврейская землед. колония, основанная в штате Нью-Джерси на средства барона Гирша. Несколько страниц запис. книжки заняты лишь сухими данными относительно колонии, очевидно предназначавшимися для дальнейшей обработки. Страницы эти здесь не печатаются. Живое и подробное изложение впечатлений от поездки в Вудбайн читатель найдет в письмах В. Г. к матери и к жене („Письма" кн. IV).

пока Оларовского. Впечатление приятное. Там-же — встретился со Святловским, корр. „Нового Времени". Как и я, он не знает англ. языка, но как корреспондент „Нов. Времени" — этим не смущается и пишет об америк. учреждениях всякие небылицы. Например, написал, что тюрьмы и школы во всех штатах содержатся центральным правительством на счет Вашингтонского казначейства, что нет никаких программ для школ и стоит родителям заявить желание, чтобы ребенок обучался санскриту,— и будет выписан учитель санскр. языка. Все это вздор и еще недавно, кажется, в штате Нью-Иорк, по словам давно живущих в Америке людей — просьбе множества немцев отказали в обучении немецкому языку в школах.

Взял билет на франц. пароход La Gascogne (80 долларов, 5 долларов — до Парижа из Гавра, и 1 доллар за стул). Купил „мэкинтош" (10 долларов) и теплое белье — 2 д. Под вечер — явился репортер „Press". „I do not speak english[1]",— отделался довольно благополучно. Это второй сегодня,— первый не застал. Вечером сидел Попов, когда вдруг явился м-р Крэн и отрекомендовал м-ра Керри. Почтенного вида, седой джентльмен, приехавший на своих лошадях. Я сначала подумал было, что это судья Керри. По поводу процесса Небе и Шписа и заявления иллинойского губернатора,— Крэн уже доставил мне случай беседовать с адвокатом Walker'ом, хотел свести с другим, и я-бы не очень удивился, если бы он притащил ко мне и самого judge'а Керри. Оказалось, однако, что это не судья, а журналист, редактор газеты New-York Times. Крэн сообщил об этом m-me L., но я все время думал, что говорю с знакомым Крэна — и только.— Он произвел на меня

[1] Я не говорю по английски.

впечатление человека умного и серьезного, а Крэн рекомендует его, как очень порядочного и хорошего человека. Речь шла все о России. Странное положение русского человека за границей: спрашивают о том, о сем. Что отвечать? Правда-ли, что вы были высланы? Как же это делается и почему без суда? Как издаются газеты? Неужели цензор может вычеркивать по своему усмотрению? И газета может быть прекращена административно? И вы не можете издать книгу без специального разрешения?.. Вот и разговаривай. Лгать?— Зачем? Говорить правду,— но они всё это осуждают в своих газетах и мечут громы... Отказываться отвечать? — Мальчишество и притом очень позорное да и никому не полезное. Скажут: вот какова свобода слова в России, если и здесь они боятся отвечать даже на фактические вопросы... Да, положение таково, что нет достойного выхода,— кроме: говорить правду, а там пусть судят, как знают. Если это все хорошо,— так быль не укор. Если это все плохо,— так может быть кто нибудь и задумается над этим... По крайней мере нет лжи и мальчишеского страха. Между прочим, вопрос: считаю-ли я Кеннана за честного человека? Конечно, считаю и не имею никаких поводов думать иначе. Недавно, в „Нов. Времени" было напечатано, будто Степняк[1] отозвался о книге Кеннана, как о сплошной лжи! Будто Кеннан не знал по-русски, смешал бродяг с политическими ссыльными и наполнил свою книгу совершенным вздором. Оказалось, что Степняк не писал и не говорил ничего подобного, и не мог говорить, потому что раньше много раз давал другие отзывы, а все

[1] Степняк — псевдоним известного революционера, писателя С. М. Кравчинского, жившего в то время в Лондоне.

эти слова относились совсем к другой книге, действительно переполненной сенсационными вымыслами. Что теперь сделает „Новое Время"? И в какое положение стала русская газета с этим излишком усердия? Исправить свою ошибку? Нельзя! Оставить заведомую ложь без поправки? Но каково же будет отношение к русской печати, которая так легко и так заведомо лживо шельмует иностранных писателей. И ведь надо заметить, что в том же „Новом Времени" был отзыв о первых статьях Кеннана о русских тюрьмах,— отзыв чрезвычайно благоприятный, в котором признавалось за автором глубокое знание своего предмета! Да, положение таково, что все эти попытки отрицать очевидные факты из странно понятого патриотизма,— только бесчестят самую печать.— Я старался в конце концов обратить разговор на значительный прогресс русского общества, на качества русского народа, на достоинство русского суда, который, однако, должен уступать свое место экстренным и исключительным судилищам слишком часто и нередко именно тогда, когда во всех других странах беспристрастие и независимость суда считались бы первой необходимостью и гарантией правосудия...

4 (16) сентября

Выезд из Нью-Йорка.

В 7 ч. утра был на пристани Compagnie generale Transatlantique в просторечии назыв. здесь French Line. В 8 часов ровно пароход „La Gascogne" отвалил от пристани. Погода тихая, дождливая; над заливом туман, впереди — туча какая-то буроватая и будто дымная — лежит совсем на море и на нее то и дело падают в море молнии в роде зарниц, а порой прорежется зигзагом огонь и грохочет гром.

Выехал я с радостным чувством,— но голова кружилась от ночи, проведенной почти без сна. Может быть по этому — совершенно неожиданно подвергся припадку морской белезни. Правда, впрочем, что к середине дня расходилась волна, хотя и не очень сильная, но все же порядочно раскачавшая нашу Gascogne. Завтрак сошел благополучно, но из-за обеда я вышел в середине, несколько стыдясь своего малодушия. Оказалось, однако, что и мои соотечественники (два инженера, Г. Г. Вознесенский и Nyberg) — последовали вскоре же за мною, и вообще морская болезнь сразу сделала большие завоевания. Я прилег в общей комнате и видел, как мимо проходили ее жертвы. В особенности внушил мне сожаление господин средних лет, спешивший к борту с остолбенелым взглядом и застывшим выражением отчаяния в лице. А к вечеру стон стоял во всех каютах.— Между тем море казалось довольно спокойно, красивого синего цвета, с белою пеной на валах за кораблем. Заглянув через борт, я увидел массу огней в глубине.

Вечером 2-й припадок морской болезни.

5 (17) сентября

В океане 2-й день.

Проснулся с тяжестью в голове и тотчас же вышел на палубу (часов в 7). Прелестное утро, прохладный, но не холодный ветер и знакомый уже глубокий гул океанской волны,—все это значительно меня освежило. За ранним завтраком опять было подкрадывалась морская болезнь, но усилием воли я победил ее, а свежий воздух прогнал остатки дурноты.— Часов в 10 — вдали видны были струйки воды, подымавшейся над морем в виде фонтана... „C'est le cachelot“ — сказал maître d'équipage. Пустив

еще несколько фонтанов, которые ветер разбивал в воздухе в белые брызги,— кашелот исчез.— Мой сосед по камере [1] — инженер, немец, чрезвычайно унылого вида. Понимать его очень трудно,— говорит по франц. более чем плохо, а по немецки должно быть хорошо, но очень тихо. Говорит, что не знал, получая билет, что попадет на франц. пароход. Чувствует себя одиноким. Я увидел вчера на палубе молодого человека, читавшего „Das Vaterland“ [2], и сегодня обрадовал соседа этим известием. — O ja, Vaterland. O, das ist ein Deutscher [3].— Я указал ему читателя Фатерланда,— и теперь они не разлучаются.

К вечеру тяжесть головы прошла и вообще почувствовал себя вновь окрепшим против морской болезни, хотя к вечеру качка стала сильнее. Пошел дождь, луна вечером чуть выглядывала из-за туч. Познакомился с Ник. Ив. Вознесенским (и В. Ник.), Гринером и Вильямсом. Разговор с инженерами о рабочих в Америке. Профессор ..... не находит в улучшении положения рабочих ничего хорошего — прежде одевались хуже, а добились увеличения платы, стали щеголять. Вознесенский, наоборот, приводит мнение американцев по этому поводу. Страна не теряет: увеличиваются потребности рабочих и оживляется промышленность.

6 (18) сентября

В океане 3-й день.

Проснулся в отличном настроении. Свежий ветер, изменивший направление (Ю.-Ю.-Вост.) борется с волной, которая вчера шла с С.-З. Вероятно от этого качка стала меньше, хотя по палубе ходить трудно.

[1] Описка В. Г. Надо „по каюте“.

[2] „Фатерланд“ (отечество) — название немец. патриотич. газеты.

[3] „О да, Фатерланд. О, это немец“.

К половине дня — ветер еще уменьшился. За обедом почти все места заняты. Почти весь день туман и ревун ревет то и дело. Эхо — печально и глухо возвращает из туманного пространства унылые звуки.

Разговорился с соотечественником А.[1] Добрый малый, чувствует себя неловко в штатском платье. Находит, что в Америке хорошо рабочему человеку, но очень неловко человеку, привыкшему иметь двух деньщиков. „Платье — чисти сам, сапоги, помилуйте, и то самому приходится.“ Встретил русского еврея. Разговорились. А. принадлежит к числу тех добродушных русских людей, которые как-то быстро сходятся со всеми и всех понимают также, как всем понятна их несложная психика. Оказалось, что очень скоро А. очутился в квартире еврея, который видимо захотел похвастать своей американской жизнью.

— Помилуйте, — я даже был удивлен. 5 комнат. Ну — две, правда, грязные. Жидовская привычка и тут сказалась, а впереди для гостей знаете — отлично!.. Мягкая мебель... И потом, говорит, я здесь сам хозяин. Заплатил 5 долларов в неделю за место, зарабатываю 5 долларов в день, живу свободно, никто не спрашивает, почему здесь живешь... Полиция не смеет войти в квартиру. А дома, говорит, проснешься, а уж городовой или квартальный над постелью стоит. То — то, то — другое. Вот этим, знаете-ли, главное обижаются все наши эмигранты. Много я встречал их здесь. И знаете-ли...

Добрый малый оглядывается по палубе, на которой впрочем нет никого и только вдали в тумане виднеется фигура маленького матроса с метлой, и продолжает тише:

[1] Агапеев, полковник.

— И знаете-ли: правда ведь это. Другие как-то ведомства поочистились. Даже наше интендантское и то стало теперь получше, а полиция все на прежней степени; (еще тише и грустно) взяточники, завзятые взяточники-с. Только и смотрят, где бы сорвать, ну и выдумывают какую-нибудь прижимку. Паспортная система дает поводы, ну, и... Конечно, это они правду говорят, и от этого бежит из нашего отечества много народу. А здесь свобода!... Человеку, привыкшему к прислуге — нехорошо. Есть и здесь, держат чорных, но для этого ведь надо истратить много долларов... А рабочему человеку лучше. И ведь вот удивительно: работает каких ниб. 10 часов, получает больше нашего чиновника. Теперь возьмите: говорят в Чикаге без работы тысяч 20.

— Что вы: двести тысяч!

— Двести! Господи Боже... Это еще удивительнее, а именно вот что: как-же после этого они не собьют цену. У нас бы сейчас кинулись за что дашь... Голод не тетка. Сбили бы цену живо.

— У них рабочие союзы и организации. Они порой помогают своим безработным, но сбавить цену не позволят.

Оживляется.

— Да, вот и я слыхал, что союзы. Это правда. Смотрел раз на Стет-стрите. $1^1/_2$ часа шли мимо, с музыкой, со знаменами. Так это вот что... Да-да-да... Это у них все дозволяется... А правда ли еще, поляк тут мне в гостиннице говорил, (опять продолжает шопотом) будто есть и польское общество...

— Наверное.

— И будто, говорит, сходятся на учение, обучаются владеть оружием.

— Ну, это глупости. Зачем им здесь оружие.

— Да, и я думаю, что хвастал... А паспортная система это верно... Это у нас знаете стеснение для человека...

7 (19) сентября

В океане 4-й день.

Туманная ночь, и на утро все еще ревун ревет, точно огромный кот, на весь океан... Я проснулся в превосходном настроении,— качка, говорят, была ночью, но я не просыпался, а на утро пароход идет, точно по нашей Волге.

Идем все таки довольно тихо. Вчера прошли 387 м., сегодня только 380. Вчера рассказывали мне, что перед выходом из залива (когда я писал письмо),— Gascogne наткнулась на недавнюю катастрофу. Большой пароход потопил какое-то судно, которое еще плавало, разбитое на поверхности. Плыла рубка, около нее стол и на столе бутылка! Кажется, мы взяли кого-то из пассажиров на палубу La Gascogne.

Весь вчерашний день, всю ночь и часть сегодняшнего дня — наш капитан не сходил с мостков и чуть не каждый час — измеряли температуру воды. Оказывается, было большое опасение, чтобы в тумане не наткнуться на ледяную гору, которых много пригнало, как оказывается, с севера. А мы беспечно спим, как младенцы.

8 (20) сентября

В океане 5-й день. (Прошли 390 м.)

Опять туманно, дождливо. Ветер шипит в снастях, море темно, туман то раздвинется, то опять окружает корабль. Волны идут правильными рядами и долинами.

Разговоры с соотечественниками об Америке очень характерны, если не всегда очень интересны. Непосредственный Агапеев, которого видимо шибанул по лбу разговор с евреем, сделал уступку относительно паспортной системы. Но зато отсутствие прислуги угнетает его с другой стороны, а затем открыв, что все таки на америк. жел. дорогах есть 2-й класс, куда преимущественно садятся рабочие („наплевано, знаете-ли, не хуже нашего") — он до известной степени утешился: „Да знаете, говорят, равенство, а вот и невозможно. Все таки есть,— все таки-же есть. А со временем будет все больше и больше. Непременно будет все больше, потому что равенство между людьми немыслимо". Это рассуждение добродушного вояки кажется мне очень типичным и к этому сводится большинство отзывов: берется какая нибудь одна черта и говорят: да, страна свободна, а вот это как вам нравится. На это, конечно, можно-бы сказать Агапееву: вы думаете, что это начало неравенства, а это как раз конец его. Примите к сведению, что раньше и не очень давно здесь была не только прислуга, но еще и рабы, а теперь рабов не стало и лакеи в америк. нации вывелись: приходится выписывать из других прочих земель. И прежде рабочий здесь работал по 14 часов, получая меньше, а теперь работает 10 и хочет работать 8, а платы сбавлять не желает. Итак, посмотрите, куда это движется... Но разумеется, я не стал огорчать полковника Агапеева и слушал дальше. Бари, меланхолический заводчик и член технич. общества, находит, что это мы испорчены и потому лишь не можем свыкнуться с отсутствием прислуги, а в сущности это хорошо. Но банки в Америке устроены плохо: любой банк представляет на 80 тыс. бонов в Вашингтон и ему на эту сумму присылают госуд. кред. билетов; за кредит страна платит

$12^1/_2$ проц., являющихся налогом за право иметь монетные знаки, которых без банковых билетов было бы недостаточно. Он изучил этот вопрос, и он находит, что это грабеж. Далее он полагает, что в Америке предстоит страшная резня. Почему? Потому, что здесь все грандиозно и значит, если будет резня, то будет именно резня грандиозная. Но почему она должна быть, когда есть столько средств и форм для легального учета наростающих интересов и выступающих на сцену новых общественных групп, — это осталось невыясненным. Проф. N не имеет повидимому определенного взгляда и от него можно слышать много очень дельных частных замечаний; но в вопросах общих он и слаб и довольно равнодушен. Другой инженер — повидимому сов[ершенно] беззаботен. Оба они рассказывают, что тщательно избегали расспросов американцев о России и об них написали в одном городе: они боятся говорить и из разговора с ними видно, как несвободны русские. Итак,— куда ни кинь, все клин, и ни с той ни с другой стороны немного чести дорогому отечеству... Но это — к слову. В нашем разговоре участвовал еще и юноша Бари. Это довольно самоуверенный юноша, одинаково смело вальсирующий, как и рассуждающий. Он был в Вашингтоне, в заседании конгресса. „Я изучил этот вопрос — повторяет он обычную фразу,— и недоволен. В конгрессе члены спят, ничего не слушают и подают голоса со своей партией. Каждый штат управляется по своему и в одном штате казнят вас за то, за что в другом погладят по головке". Я попросил примеров. Разумеется их нет; есть только случаи, когда в одном казнят за то, за что в другом ограничиваются каторгой, а это не доказывает необходимости казнить непременно всюду во имя централизации... В конце концов мне все таки больше всего

понравились непосредственные суждения добряка Агапеева. Он от всей души стремится к себе, в казенную квартиру, где два деньщика уже сгорают желанием стащить с него сапоги... И он прав... Он один прав, потому что он непосредствен.

Юноша говорил еще о том, что наш народ счастливее потому, что имеет меньше потребностей!

Здоровенная качка с 3-х часов. К часу приблизительно туман несколько разошелся. Его разогнало ветром, но зато тот-же ветер развел большое волнение и в $3^1/_2$ часа нас уже свирепо качало. День весьма неприятный. Небо все в туманных облаках, на правой палубе хлещет дождем, волны летят с носа и белою соленою пылью несутся до самой кормы. Я все ходил, и морской болезни со мной не было, но что-то залегало в голове и порой становилось как-то не по себе. Завтраков и обедов не пропускал (а вообще пустых мест было очень много) и — старался держать себя в руках. После обеда дождь шел реже, но море было совершенно темно, горизонт отделялся на небе темно-бархатной полосой, волна сильно светилась гребнями. Я уселся за одной из труб на скамейке и долго просидел, отдавшись незаметно сумрачно-величавым ощущениям, навеваемым этим огромным расходившимся простором. Поэзия корабля — вся тут в этом неприветливом и грозном величии, в этих порывах ветра, в этом глубоком рокоте волны и даже в этом холоде, ветре и брызгах... Спуститесь вниз, забудьте о том, что за стеной, забудьте, что вы несетесь над таинственной бездной, на скорлупке, со всех сторон охваченной бесконечным простором, наполненным собственной таинственной жизнию, которая равняется смерти для нас — и вас охватит простая прозаическая скука четырех стен, на которых известна каждая трещинка. А тогда — не может

быть существа несчастнее корабельного пассажира. Матрос, капитан — для них здесь работа, им близки все перемены ветра и волны, они с каждой такой переменой связывают свой образ действий. Море и его погода для моряка — тоже, что земля, с ее дождями и засухами для земледельца. Нам кажется, что мужик не наслаждается природой, но это неверно: он живет вместе с нею, для него, то, что мы выделяем, обособляем в своем сознании, как наслаждение природой и ее внешними красотами,— для него это атмосфера души, которой он живет все время. В тех-же отношениях находится моряк и море. Удалите привычного человека от земли или от моря,— и вы увидите, как они оба станут поэтами покинутой стихии. А пассажир, потерявший ощущение этой поэзии, не вылетающий воображением за пределы своей каюты, ограничивший свою душевную сферу пределами бортов парохода — самое скучное и несчастное существо, живущее от обеда до обеда... А между тем эта праздная жизнь без участия в какой-бы то ни было работе,— понемногу притупляет сознание... Мне часто приходит в голову сравнение: земля — корабль, несущийся в беспредельном океане. Сознание этого соседства — фон и поэзия религиозного чувства. Оттого — оно, это чувство и наиболее интенсивно и легче всего утрачивается в „высших классах“. Рабочие люди, „занятые на корабле“ неустанным делом, носят его в себе почти бессознательно, сливая и перемешивая это ощущение с тысячами практических дел и мелочей. А „пассажиры“ земли, ее праздные и свободные классы,— то отдаются ему со всем жаром свободной нервной системы,— то оно в них тупеет, и ощущение всего света, как пространства в четырех стенах,— овладевает ими до отупения, до тоски и отчаяния. Тогда то „морская болезнь“, называемая всякими

именами, охватывает нас с особенной силой и так хочется покончить с этим скучным и бесчисленным[1] путешествием...[2]

Говорят, несколько лет назад, пароход американской компании City of Rome — наткнулся на льдину в открытом океане и получил сильную пробоину. Случай этот послужил только к укреплению популярности К°: тотчас-же были закрыты все перегородки, и City of Rome — пришел в Ливерпуль, как ни в чем не бывало. Публика с удивлением рассматривала в доках, а иллюстрации изображали (в сотнях тысяч оттисков) — зияющую пробоину, с которой пароход прошел около 2—3 суток в открытом океане!

Сильная качка. День беспокойный.

9 (21) сентября

В океане 6-й день.

День ясный, на небе светлые облака, море — темно-синее, отделяется глубокой и резкой полосой. Волна еще сильная,— прямо навстречу. Здоровая килевая качка.

Каждый вечер у нас устраиваются концерты. На скрипке играет какой то странного вида rentier, совершенно бритый, в парике. Играет очень недурно, но при этом высовывает язык и делает уморительные гримасы... Затем большое оживление придает этим концертам целая стайка молоденьких американок, поющих очень мило хором незамысловатые песни, в том числе слишком уж

[1] Так у автора.

[2] Изложенные здесь мысли развиты в повести „Софрон Иванович" и в одном из вариантов к той-же повести, озаглавленной „Морская болезнь" (см. т. XVIII).

известный, правда — действительно прелестный романс— After the ball [1]. Сегодня к концерту присоединились еще итальянцы, и французский abbé [2], m-r...., рассказал игривый анекдот о bicyclist'e [3], попавшем в рай. Рассказ трактует очень фамильярно не только S-t Pierre и S-t Elie [4], открывшего в раю торговый дом велосипедов, — но и самого bon Dieu [5]. Толстый, кругленький и хорошо откормленный аббатик рассказал все это живо и с юмором,— и пожал массу рукоплесканий.

Среди нашего общества — обращает внимание signor Rudini, attaché итальянского посольства в Америке, сын министра, молодой человек с красивым, но глуповатым лицом и деревянной наружностию. Затем — американских девиц провожает какая-то квакерская сухая фигура в черном сюртуке со стоячим воротником, говорят проповедник. Он должен устроить девиц в Париже, куда они едут учиться в университете. Затем небольшой довольно полный испанец, с энергическим и неглупым лицом — Commander in chief of the spanish carabellas [6]... своего рода знаменитость. Это он командовал колумбовской флотилией, которая приплыла на выставку из Испании. Корабли — точная модель колумбовских каравелл и шли они ровно 62 дня. Он все пишет теперь какие-то отчеты и подолгу прохаживается по палубе.

Вечер сегодня чудесный. Невысоко над горизонтом стоит луна, кидая на море зыбкую полосу света, волнующуюся вместе с волнами. Порой — ее закрывают

[1] После бала.
[2] Аббат.
[3] Велосипедисте.
[4] Св. Петра и св. Илью.
[5] Господа-Бога.
[6] Главнокомандующий испанскими каравеллами.

облака и тогда полоса передвигается все дальше, стоит некоторое время — слабо мерцая — на горизонте и потом гаснет... А волна все еще сильна, сегодня были волны вышиной до 2-й палубы.

10 (22) сентября

В Океане 7-й день.

Ясный день, с сильным ветром. Качка еще сильнее вчерашнего, но она уже не производит на меня ни малейшего впечатления.

Океан разыгрывается не на шутку. По синей поверхности, изломанной белыми гребнями, вдали — пошли бурые оттенки. Слева волны идут холмами, и пароход то и дело опускается глубоко в долины. Справа ветер схватывает белые брызги и несет их далеко по морю, в виде облака, в котором играют колеблясь радуги. Часа в 4 однообразие нашего пути нарушено появлением двух пароходов на горизонте. Один — чуть дымит на юге, то появляясь трубами над обрезом изломанного горизонта, то опять исчезая. Другой забелел впереди и все растет. Очень красив силуэт, когда он вырезался на самой черте горизонта. Он идет навстречу и видно, как он колеблется, как клонятся и встают его мачты. Все ближе, красная ватер-линия то и дело показывается из воды. Потом он проходит совсем близко, в $^1/_3$ версты. По его положению мы можем судить о своем: видно, как на него набегают валы, как его клонит набок: выбегает наверх красная полоса, потом — черный киль, и кажется, что вот вот он опрокинется. Но он плавно вздрагивает и склоняется обратно. И так взлетая кверху и опускаясь книзу, ныряя то кормой, то носом,— он проходит, колеблясь, мимо и тонет скоро в золотистом облаке,

которое свежий ветер взбивает за нами из брызгов, смешанных с дымом. Вот он — в радуге, потом чуть рисуется красно-золотым пятном, а через несколько минут уже стоит назади на западном горизонте таким-же красивым силуэтом, как недавно стоял перед нами...

И опять только синее море, все в пене, в холмах и долинах, и опять мы одни на всем просторе океана. Дымок на юге давно испарился в атмосфере, пропитанной туманными брызгами... А волна вее сильнее и быть может судьба пошлет нам для разнообразия настоящий шторм, который завершит наши впечатления от океана...

На второй или третий день пути между моим визави за обеденным столом, красивым стариком с белой бородой (похожим на Н. А. Фрелиха)[1] и моим соседом налево, долговязым брюнетом с тонкой и вытянутой шеей (лет 45) — происходил следующий разговор:

— Mille pardons, monsieur.

— Mais, ça ne fait rien.

— Oh non, oh non! Je n'avais pas été aimable pour vous et je veux vous expliquer.

— Ah! Je fais mon voyage et je ne fais pas attention au reste.

— Pardon! Mais si je n'avais pas été aimable, c'est par ce que je vous ai regardé comme un allemand. Dés que j'avais appris, que vous êtes un autrichien,— oh, c'est très different pour moi, et je vous rends mes pardons... Savez vous,— moi je suis un français, plus que français — je suis un français alsacien, et je ne suis pas aimable pour les allemands.

[1] Н. А. Фрелих, нижегородский знакомый В. Г.

— Ah, c'est fini...[1] С этого дня мои соседи — в самых лучших отношениях. Старик постоянно подает австрийцу блюда, тот в свою очередь отвечает ему тем-же. Они ведут длинные, чисто щедринские разговоры относительно „пищи", привлекая повременам и меня, как эксперта по части habitudes russes[2].

— La noix. Ah, cen'est pas bon pour l'estomac.

— Au contraire.

— Mais m-r, elle repasse sans se changer.

— C'estça. Mais elles sont bonnes d'autre manière.

— Voudrez vous bien des olives?

— Les voilà qui ne sont pas bonnes pour l'estomac.

— Pas pour l'estomac, mais pour les intestins[3] и т. д. и т. д.

11 (23) сентября

В океане 8-й день.

Качка тише, день веселый, с ветерком, который как будто шутя нанесет вдруг облако, сыпнет дождем и

[1] Извиняюсь тысячу раз, сударь.

— Да это ничего не значит.

— О нет, о нет! Я был нелюбезен с вами и хочу вам об'яснить.

— А! Я путешествую и не обращаю внимания на остальное.

— Извините! Если я был с вами нелюбезен, то это потому, что я вас принял за немца. Но как только я узнал, что вы австриец,— о, это большая разница для меня — и я приношу вам свои извинения... Знайте, что я француз, более чем француз,— я эльзасец, и я не любезен с немцами.

— А! Кончено об этом.

[2] Русских обычаев.

[3] — Орех. Ах, это не хорошо для желудка.

— Напротив.

— Но, сударь, он проходит не изменяясь.

— Это так, но орехи полезны в другом отношении.

— Не желаете-ли маслин?

— Вот они — так неполезны для желудка.

— Не для желудка, а для кишечника...

понесет его дальше. И так весело смотреть, как косой дождь, колеблясь, несется дальше по морю, застилая часть горизонта и небольшой парусок, ныряющий по волнам...

К ночи океан как будто пожелал оставить в пассажирах La Gascogne — самое приятное воспоминание — успокоился и заблистал необыкновенной, обаятельной красотой. Уже во время послеобеденного вечернего концерта (который оживила miss Mórisson), когда пароход наклонялся, — в окна то и дело заглядывала на несколько мгновений — серебристая полоса, залитая лунным светом. На пароходе оживление, в столовой появились из глубины кают лица, которых мы не видели с первого дня, концерт был переполнен и вместе — из рук вон плох. Я ушел бы сразу, если бы не пение m-ss M... А тут снаружи каждый раз, как открывалась дверь — слышится ласковый плеск и серебряная полоса все мелькает в окнах...

Долго вечером мы, русские, ходили по палубе. По небу перебегали белые облака, сквозные, прозрачные, между ними ныряла луна, море тихо дышало, переливаясь, точно расплавленный металл. По временам, из темного простора врезывался в эту полосу силуэт парохода или парусное судно тихо покачиваясь перерезывало освещенный простор и утопало во мгле... Я соблазнился, сел у электрического фонаря и набросал эскиз этого моря, облаков и эффектов лунной игры, слабый набросок, из за которого однако на меня лично так и взглядывает теперь эта прозрачная, тихая, ласковая ночь...[1] Так жаль теперь расставаться с этой необычайной красотой, за которую прощаешь океану его сердитые выходки.

[1] Набросок этот сохранился в дорожном альбоме В. Г.

Около 10 часов распространилась весть: On voit la phare au Nord!..[1] Действительно огонек стоял на горизонте, но скоро оказалось что огонек поднялся выше, выступил еще красный внизу... пароход. Через $^1/_2$ часа однако действительно маяк сверкнул над обрезом внезапно и резко. Погас и опять вынырнул... А там потянулся ряд маяков на южном берегу Ирландии и в конце красный огонь Эддистонского маяка. Я с чувством невольной грусти спустился в каюту, где мой немец спал уже с 10 часов.

12 (24) сентября

Приход в Гавр и — в Париж.

Утром, вскоре после того, как я вышел на палубу,— мне указали землю. Это острова Джерсей и Гернсей — лежат над зеленоватым океаном, на южной стороне. Итак, мы в английских водах.

— C'est une anomalie que ces îles sont anglais, mais c'est ainsi.

— Une anomalie qui dûre cependant très longtemps, monsieur,— говорил я.

— Elle dûre depuis longtemps, mais cependant... ce sont des îles normands, un port de France...[2]

Милая американочка, — впрочем, очень рослая и далеко не воздушная, напомнившая мне мою Соню, в тройном масштабе, — собирает автографы на разных языках. Еще вчера один из соотечественников, Зеленков, подошел ко мне и сказал, что его соседка по столу miss Edith Lavaux

[1] На севере виден маяк!

[2] — Это ненормальность, что эти острова английские, но это так.
— Ненормальность, которая, однако, очень долго длится.
— Она длится долго, но все-же это нормандские острова, порт Франции...

читала кое-что в переводе из моих рассказов и просит мой автограф.— В это время я рисовал вал, и miss Lavaux, очень приятная девушка, с простой, застенчивой и милой улыбкой уже стояла надо мной, знакомясь. Я ей отдал один из своих рисунков, — толстенького аббата, рассказчика анекдотов.

Рисунок вышел довольно похожий, нас окружили, и я не заметил, как уже сам m-r Abbé стоял тут-же и смеялся со всеми над изображением своей полной фигуры... Он оказался очень милым, живым и остроумным собеседником,— и потребовал тотчас-же, чтобы я снял теперь портрет miss Lavaux и подарил ему,— для взаимности. После того, как я нарисовал еще мальчика матроса (Jean Delavoine) — я прослыл окончательно артистом и проходя мимо сидящих на стульях дам и господ, — слышу, что:

— Ce monsieur,—espagnol,—est un excellent peintre [1]...

И мне не хотят верить, когда я говорю, что я диллетант. Этой дешевой славой я обязан более всего американцам и американкам, у которых легко прослыть и ученым профессором, и академиком, и чем хотите. Для этого достаточно пачкотни в роде моей. Разумеется, эта дешевая слава не доказывает, что у них нет настоящих ценителей, знатоков и ученых. Но только,—у них целый океан толпы. Все, что у нас и не пытается пред'являть свое мнение в таких вопросах,— у них судит и рядит свободно. Плохо-ли это? Не думаю. Это полу-образование,— что-бы там не говорили,— много лучше полного невежества, и так как оно не исключает и настоящих вершин культуры — то и Бог с ним! Гора не станет ниже от того, что к ней подымаешься по едва заметным отлогостям,— и мне кажутся бессмысленными крики против

[1] Этот испанец — превосходный художник.

полу-образования, как будто возможно сразу какое-то целое образование!..

Обрывистый берег Франции у Гавра давно уже оскалился своими желтыми, освещенными солнцем обрывами над зеленоватой изменившей свой цвет поверхностию моря.

Miss Lavaux набрала более 25 разноязычных автографов.

Кажется, часа в $3^1/_2$ мы были в виду Гавра. Вследствие отлива, — который обозначился совершенно ясно зеленоватой полосой на камнях гаврской набережной, — La Gascogne остановилась на якоре. К ней подошли два пароходика и... лодка с парусом. В лодке — старик, дама и молодая девушка. Они спустили парус и причалили к маленькому пароходу, который принимал наш багаж. Все они смотрели с нетерпением на борта La Gascogne, — но никто не глядел на них оттуда, — и следя за их взглядами, — я не видел в публике никого, кто-бы ими интересовался более остальных любопытных пассажиров. Но наконец, им принесли с парохода какой-то листок. Молодая девушка схватила его первая, все трое наклонились и читали внимательно. Кто-то узнал этот листок, — это была карта La Gascogne, с именами пассажиров. Очевидно, нужного им имени не было, девушка закрыла лицо платком, и рулевой равнодушно оттолкнул лодочку. Поставили парус — и скоро лодка быстро понеслась обратно. Девушка часто прикладывала платок к глазам.

Через час или около, — спустили нас на пароход. Однако — ранее еще — пастор, везущий юных американок в свой пансион в Париже (он ежегодно, говорят, ездит в Америку и набирает там учениц) — итак, пастор собрал свой выводок у фортепиано и они совершали там что-то в роде службы. Когда я вошел, — девицы стояли вокруг

и пели какой-то гимн. На меня это произвело хорошее впечатление: пастор, вообще неприятный и кажется ханжа,— был серьезен (хотя кажется, более присутствовал в качестве наставника, чем участвовал в молитве),— но... я удивился, увидев своего соотечественника З — ва на коленях, около скамьи, рядом с какой-то женской фигурой. Что это значило,— никто из нас так и не знает, и что за повод загадочному господину было — участвовать в пансионской мессе,— понять трудно. Как бы то ни было, он корректно пребывал в коленопреклонении даже после того, как никто не стоял на коленях из прямых участников,— и мне почему-то казалось, что у него „католические манеры"... Это странное впечатление присоединилось к прежнему: раз он стал нам доказывать, что в наших высших учебных заведениях недостает... военной дисциплины.

— Вы не согласны?

— Мы не понимаем, почему именно военной?

Он продолжал некоторое время настаивать, но вскоре счел зачем то нужным перенести центр тяжести разговора на другой предмет и неожиданно обрушился на „военщину", на военные расходы, на их бесполезность и тягостность. Все это более или менее справедливо вообще,— но мне стало еще непонятнее,— зачем же тогда именно военная дисциплина для будущих врачей, инженеров и адвокатов...

Часа в $4^1/_2$ мы ступили на твердую землю. Сказать, что это меня очень обрадовало,— не могу. Последние два дня на океане были великолепны и вообще обаяние моря охватило меня в это время очень сильно. Мне стало как то грустно, когда обогнув Gascogne — пароходик понес нас к берегу. Наш пароход вырисовался перед или вернее над нами — тонкий и стройный (я понял,

отчего так сильно качало это тонкое, узкое и высокое судно),— и мне показалось, что мы покинули его слишком скоро.

В Гавре таможенный очень легкий досмотр и готовый уже поезд на самой набережной,— который однако простоял с нами еще часа 2. Великолепный закат над гаврской бухтой: ряд старых домов норманского типа— затянулся золотистым туманом, небо покрытое синеватыми облаками — все горело пурпурным пламенем и края облаков светились золотом. Я прошел к вагонам, чтобы позвать соотечественников, но — минута и все мгновенно угасло на глазах и все разоблачилось в будничные одежды — точно еврей с закатом субботнего солнца. Дома выступили из золотистой дымки,— муругие и серые, бухта похолодела и на бледно-синем небе спокойно лежали темные облачка, видимо собиравшиеся в сплошную тучу для общей работы. Начинало свежеть и пахнуть дождем...

За поездом долго бежали мальчишки. Они продавали газеты, шныряя между вагонами и при случае выпрашивали „un petit sou“ [1]. Эта просьба долго слышалась, пока поезд шел по Гавру и уже на ходу,— в окне вдруг появлялось черномазое лицо мальчишки или подростка девушки — и слышался припев:

— Un sou, un tout petit sou pour acheter le pain [2]...

За мостом — мы пропустили какой-то поезд из Парижа— и затем перед окнами в серебристом сумраке лунной и ясной ночи замелькали поля, леса, живые изгороди, с небольшими пирамидальными тополями, реки, над которыми искрился легкий туман и луга, похожие на те-же реки под таким же паром, пронизанным серебристыми лучами...

[1] Монетку.

[2] Одну монетку, одну мелкую монетку на хлеб...

Часов в 12 — Париж, Gare de St Lazare. Суетня и давка,— я даже не успел посмотреть, встретила-ли m-elle Lavaux своего отца, который должен был встретить ее, чтобы через неделю водворить в пансион m-me Havet, rue de Longchamp.

Соотечественники наметили Hôtel Terminus, рядом с вокзалом, но там оказалась во 1-х страшная давка, а во вторых, когда нам наконец отвели с полковником каждому по une chambre à un lit[1], то оказалось, что мы ехали сначала по элеватору кверху, сколько было можно, потом еще подымались сколько было можно по лестнице, и наконец очутились в корридоре, где в небольших комнатах спали какие то люди, кажется, прислуга; когда нам открыли 501 и 505 №№,— то оказалось, что это крошечные мансарды с окнами в наклонном потолке. Я люблю такие неожиданности, но полковник стал божиться, что он „нет, ей Богу, не может", что это лазарет, а в мире нет ничего хуже лазарета, и мы спустились опять книзу. Потом пошли получать багаж, где еще раз перед нашими глазами мелькнул —„выводок". Американки ходили и разыскивали свои „беггедж" и „пеккедж", а сухопарый пастор присутствовал при этом с обычным квакерски серьезным видом. Затем я выручил багаж и решился ожидать с ним пока разборчивый полковник осмотрит комнаты в Hôtel de Havre или Calvados,— вывески которых мелькнули перед нами, когда мы шли в багажное отделение. Через несколько минут появилась фигура добродушного Агапеева, который тащил за руку юного француза в блузе.

Он приволок его к месту и лишь тогда выпустил из рук, сказавши:

[1] По комнате в одну постель.

— Воаля багаж. Тащи вит.

Выбор пал на Hôtel Calvodos или полнее: Grand Hôtel du Calvodos (restaurant à la carte). Lambert propriétaire, rue d'Amsterdam 20 (visà vis le débarcadère du chemin de fer de l'ouest). Paris, english spoken [1].

Lambert, propriétaire,— оказался человеком без сюртука, с курчавыми, с проседью, волосами,— фигура не особенно счастливая, а grand hôtel du Calvodos — мурьей, с узкой лестницей. Пока полковник, оставшийся после меня на вокзале — вернулся,— Lambert вступил со мной в разговор, повидимому очень обрадовался, что я говорю более или менее по французски, а не жестикулирую, как полковник, и потому он заявил с великолепным видом своему отельному юноше в пикейной блузе:

— Puisque ce monsieur parle très bien français, je lui veux donner une excellente chambre pour 4 francs. Mettez le à douze-bis [2].

12-bis оказался этажем выше полковницкого №, и юноша повел меня по узкой лестнице, светя перед собою плохонькой свечей, в плохоньком подсвечнике. Корридоры и лестница в Grand Hôtel du Colvados — очевидно не освещаются, но №№ просторны и в общем недурны. Полковник сначала запротестовал против перенесения меня этажем выше, и только очевидные преимущества этого № перед прежним заставили его сдаться, однако не прежде, чем он спросил у юноши, показав ему четыре пальца:

[1] Гранд-отель Кальвадос (кушанья по карте). Владелец Ламбер, Амстердамская ул. 20 против дебаркадера западн. жел. дороги. Париж. Говорят по английски.

[2] Так как этот господин очень хорошо говорит по французски, я дам ему прекрасную комнату за 4 франка. Проводите его в № 12-бис.

— Катр франк, энси? Вуй?

— Катр,— ответил тот.

— Энси?— настаивал полковник.

— Ainsi, monsieur,— ответил юноша,— подняв тоже 4 пальца.

— Вуй! — сказал Агапеев. — Раздевайтесь! Хотя я давно уже расположился в номере. Я очень люблю захолустье, а захолустье в Париже — это просто подарок судьбы. И так я в отеле du Calvados, propriétaire Lambert, rue Amsterdam. Необыкновенно весело, и я начинаю забывать милую Gascogne, с ее меняющимися, подвижными и зыбкими окрестностями, и качку, и вечерние концерты, и лунное сияние, и „выводок", и даже милую miss Lavaux, с ее крупной фигурой, голубыми глазами и детски-простодушной улыбкой... Мое окно открыто на rue Amsterdam, по которой все еще едут экипажи, светят огни, ходят пешеходы и кто-то тянет в два-три голоса несовсем складную песню.

Vive le Paris!

13 (25) сентября

В Париже 1-й день.

Утром проснулся от сильного стука в дверь. Варвар полковник подымал меня, чтобы идти вместе на почту. Я вчера писал до 3-х часов и заснул так крепко, что Агапеев долго не мог меня разбудить. Поэтому он тотчас-же привлек к содействию двух гарсонов и они принялись колотить в дверь втроем. Когда я отпер дверь, полковник ворвался в комнату и открыл окно. Я взглянул на часы. Оказалось — только $^3/_4$ восьмого!..

На почте — ни одного письма из Нижнего — и одно от Дуни. Лена больна! Вместе с молчанием из Нижнего это произвело на меня очень угнетающее впечатление...

Поэтому сегодняшний день — весь прошел в ожидании ответных телеграмм. Теперь вечер, 11 часов. Ответа все нет. Я нарочно обедал сегодня дома,— в отеле Calvados,— хотя трудно было ожидать ответа так рано. Впрочем, мне было также любопытно посмотреть, чем угостит меня propriétaire Lambert. Сегодня утром, когда мы отдавали ключи,— полковник заметил с неудовольствием, что „пахнет очень скверно".

— Fume маль, — скажите ему, — что фюм ужасно скверно. Мосье, фюм маль, не па бон, тре маль фюм... — Так как это сопровождалось движениями пальца около носа, то Lambert понял и ответил с сознанием своей правоты, что это пахнет рыбой, которую жарят на кухне, и в свою очередь попросил меня сообщить полковнику, что он проприетэр Lambert служил у prince Obreskoff поваром и отлично умеет готовить рыбу. На это полковник ответил, что он любит рыбу, но любит ее есть, а не обонять... Lambert вообще согласился с справедливостию этого замечания, но повторил, что он est un vieux coq [1] и что мы останемся довольны.

Тем не менее полковник пренебрег, а я тем не менее пришел обедать. При сем оказалось во 1-х, что Grand hôtel du Calvados — погружен в кромешную тьму: газ погас даже в нижнем этаже, не говоря о верхнем, где его никогда и не бывало. Когда я заявил желание обедать,— приличная дама, жена Lambert'a повидимому, сказала, что это очень хорошо, и две прислужницы стали хлопотать. Одна принесла оплывшую свечку, слабо осветившую скудную залу Calvados'a. Другая подала карту, а сама madame спросила — желаю ли я potage maigre или еще какой-то. Я пожелал — maigre. Мне принесли

[1] Старый повар.

какую-то болтушку, жалкое содержание которой бывший повар prince'a Обрезкова лукаво, но неискусно прикрыл оригинальным кулинарным маневром: в полуостывшую бурду — он навалил огромное количество булки, так что вышло в роде детской тюри. Я показал вид, что, при оригинальном освещении сального огарка — не замечаю этого,— и с'ел около $^1/_2$ тарелки. Потом мне подали кусок мяса, под соусом — из одного чесноку. Я очистил чеснок — и с'ел мясо. Потом немного гороху и наконец: — Qu' est ce que vous voulez pour le dessert? Nous avons des bonnes poires, des...

— Donnez moi une poire...

— Une bonne poire [1] ...— поправила меня прислужница, а madame подхватила:

— Monsieur veut une bonne poire. Il l'aura tout à l'heure [2].

Наконец груша — оказалась действительной грушей, и я с'ел ее не без удовольствия.

Когда я брал ключ, чтобы идти наверх, у madame хватило духу спросить у меня:

— Est ce que monsieur a bien diné?..[3]

Бедная мадам! Я ответил, что j'avais tres bien diné, madame, merci bien![4]

Бедный Calvados! Как бы то ни было, я, кажется, стану здесь обедать, сколько будет можно, хотя от этого едва ли особенно поправятся дела большого кальвадосского отеля!.. К концу обеда,— нужно сказать, газ

[1] Что вы желаете на дессерт. У нас есть хорошие груши, есть...
— Дайте мне грушу.
— Хорошую грушу...

[2] Господин желает хорошую грушу. Он сейчас ее получит.

[3] Хорошо ли вы пообедали сударь?

[4] Очень хорошо пообедал, благодарю вас.

опять засиял, вследствие чего два газовых мастера в блузах вошли в отель, выпили по стакану пива, сказав любезно: à vous, madame,[1] и ушли.

А телеграммы все нет (уже полночь).

В 7 ч. утра пришла телеграмма.

Леночка моя[2]!

14 (26) сентября

Утром в $7^1/_2$ часов. Бедная моя девочка Лена! Как она плакала.

Вечером в $8^1/_2$ часов выехал из Парижа в Швейцарию.

15 (27) сентября

Дорога (Швейцария).

16 (28) сентября

Приезд в Вену.

Проснулся в 5 ч. Равнина под С.-Пельтеном. Вдали отроги гор. Заря.

В $6^3/_4$ (более, — опоздали) — в Вене.

В 2 ч. 15 м. (7 часов ожидания) — в Галац (Via Buda-Pest, Predeal, Plojesti); стоил билет 25 гульд. 23 крейцера

[1] За ваше здоровье, сударыня.

[2] Две последние строки написаны карандашем неверным почерком и обведены кружком. Текст телеграммы, сохранившийся в кармане при записн. книжке гласит: „Aprés courte maladie Lena morte Doubrowka". („После недолгой болезни Лена умерла в Дубровке"). Телеграмма дана была из Н.-Новгорода сестрой В. Г. М. Г. Лошкаревой. А. С. Короленко, все еще находившаяся в Румынии, еще не знала о смерти ребенка, и В. Г. предстояло сообщить ей об этом. Душевное состояние писателя в первые часы горя запечатлелось в двух его письмах от 14 (26) сент.— к матери и к свояченице А. С. Малышевой (см. „Письма" т. IV). См. о том-же далее запись от 1 ноября 1893 г.

(= 49 фр. 73 сант.). Гульден = (почти) 2 фр. (За 100 фр. дали 49 гульд. 97 кр.).

Ночь в переполненном вагоне. Долго стоял в коридоре и смотрел в темноту. Лена моя, Леночка, где ты?

17 (29) сентября

В дороге (к Дуне).

Заснул немного, сидя, так как два венгерца ушли. Проснулся в 6 ч. около ст. Klausenberg. За ночь горе тупеет, но просыпается вместе с днем. И все так еще нова мысль, что уже нет моей девочки, которая хваталась за мою шею и так крачала: Папа — папа! — когда я оставлял ее 3 месяца назад.

Предчувствие великой истины, разлитой в природе среди жизни и смерти — есть благодатный дар, которым судьба наделяет одинаково простые сердца, как и сердца мудрецов. Но только упорное исследование, очищенное огнем искренних сомнений закрепляет смутные предчувствия, дает им содержание и очищает путь для новых предчувствий[1]...

18 (30) сентября

Должен приехать в Тульчу.

В Галаце. Пароход завтра. День и ночь ожидания. Не застал парохода в Галаце. Еще день ожидаиия. Огромные горы перед Кронштадтом[2].

[1] В дневнике 1895 года подробно восстановлен строй мыслей и чувств, овладевших В. Г. во время этого переезда. (См. запись под 16 апр. Дневник, т. III).

[2] Город в Румынии. В этом месте записной книжки два карандашных наброска, изображающих очертания гор, с пометками: „Синай“ и „Predeal“.

19 сент. (1 октября)

В Тульче в $1^1/_2$ ч. дня. Вечером на Сарике.

21 сент. (3 октября)

Из Сарика в Тульчу.

23 сент. (5 октября)

В Тульче.
Уехали Бессарабяну и Кадриану [1].

24 сент. (6 октября)

Уехали в Сарик.

25 сент. (7 октября)

Прогулка с Д[уней] и детьми на горы.

26 сент. (8 октября)

В Сарике.

27 сент. (9 октября)

В Савуне.

28 сент. (10 октября)

В Чалыке. (Уехал Петро [2]).

1 (13 октября)

В 3 часа дня выехали из Сарика.

[1] Русские эмигранты-бессарабцы в Румынии.

[2] Шурин Вл. Г-ча, В. С. Ивановский (в эмиграции — Петро Александров).

2 (14 октября)

Беседа с молоканином[1].

— Давно здесь?—Годов уже с 30.— Пожалуй и забыли про Россию? — Нет, не забуду! Почему не забуду, что я в России был арестованным 5 годов и 6 месяцев, а за что и сам не знаю.— Как так?— А так. Взяли в Архангельским и повели этапом, в ручных и в ножных в Симферополь... 4 тыс. верст. Привели в Симферополь, повели к губернатору. Он как взглянул и говорит по французски. — Это не тот человек, напрасно привели. А со мною был солдат, поляк, жил в Париже $1^1/_2$ года, то знал французский язык. Он мне после и передал, что губернатор с вице-губернатором говорили: не тот человек! — Знаю,— говорит, —Вас. Федоров, что ты напрасно страдаешь, а мы должны исполнить предписание министра. Отправить его в N для очных ставок. Отправили на следствие. Оказывается, 9 человек показывают, что Вас. Федоров говорил в местечке Токмаке на базаре политические речи.— Когда, говорю, это было?— Такого-то году, 14 сентября.— Верно, говорю, помните?— Верно, потому что базар всегда в Токмаке 14 сентября. Я и говорю следователю:— Ваше благородие, возьмите в моем деле турецкий пашпорт, посмотрите. Взяли, а там как раз написано: такого-то года, 14 сентября сей пашпорт явлен Василием Федоровым в Константинополе в консульстве.— Судебный следователь прочитал и говорит: что-ж вы, сукины дети, это делаете? Вызвали откудова человека и правительству столько сделали расходу

[1] Заметки, сделанные В. Г. во время этого первого посещения Румынии, были им использованы вместе с заметками его второго, более продожительного пребывания в Румынии (летом 1897 г.), в ряде румынских очерков (т. XIX наст. изд.).

напрасно. Будете в ответе. Ну, они переконфузились, да что! Дали после прокурору по 100 рублей каждый, всего 900 рублей, он дело о ложном доносе и закрыл! А я еще после того времени сидел 3 года 6 месяцев, пока через турецкого консула на волю не выкарабкался. Так вот и буду помнить Россию по гроб!

— А зачем вы попали в Архангельск?

— А это... был там человек один, в Соловках, Рудометкин, так с ним повидаться надо было...

— Вера молоканская есть чистейшая из всех, и никто ее не может поколебать. Потому что возьмем такой пример: теперь даны заповеди, напр., не убий. Всякий смотрит на букву закона, боится наказания, — что убьет, то зато потерпит. И воздерживает себя, а во нутренности своей — человекоубийца есть... А молоканская религия требует очищения внутреннего человека, от совести, а не по букве.

— Значит, вы довольно близки к штунде. Ведь, и они тоже держатся не буквы, тоже требуют внутреннего очищения и писание толкуют духовно.

— Имеется большая разница и несогласие, которое может понимать человек религиозный. Видите: у них требуется вторичное крещение, и они так утверждают, что после этого человек перерождается вторично из ветхого Адама во Христа. Видите? А после этого и опять впадают в грех хуже прежнего. Это как же возможно? Нет, эта вера не вышла... Вот я вам скажу: есть и здесь штунда. Вот одна женщина была у них член общины, значит, перерожденная. И вышла замуж за липованца [1]. Они,— что вы думаете,— отлучили ее от общины. Плачет, бедная, понятно, считает себе это в несчастие. А у них в катехизисе сказано, что таковых отметать.

[1] Липоване — старообрядцы, переселившиеся из России.

Вот ей и посоветовали: поди к молоканскому попу, он тебя научит. Пришла она ко мне, я дал ей выписку, послания апостола Павла к Коринфянам. Там прямо говорится: если верная жена состоит в браке с язычником,— оставить и рождаемое свято. Она эту выписку им отдала. Посмотрели — верно. А у них в катехизисе иначе. Написали в Россию вопрос. Что-же вы думаете: отменили их решение. Теперь во что же поставлен их катехизис? Нет, это невозможно признать за правильную веру. Были толки у нас, и с липованами тоже собор был... Может слышали, еще тогда в 72 году греки хотели нас порезать. В ведомостях оглашено...

— Что-то помню.

— Да здесь и было, в Тульче, вот может видели дом за католической церковью. Сами липованы собрали собор и наших пригласили человек 10 для собеседования. Пошел и я, сел к сторонке, у стены, а я тогда только еще из России вернулся. Ну, сначала наших они таки смяли, порядочно. Только один из наших и говорит: Вас. Фед., может ты чего не скажешь-ли в ответ. А липованы спрашивают: это у вас еще что за человек, мы такого не видали? А это, говорят наши,— из России человек недавно вернулся.— Ну, послушаем.— Я взял стул, подсел к столу. Стал их спрашивать: это у вас как, это как? Два вопроса дал. На первом они сбились: потребовал я требник, показываю: вот у вас как, а вы сказали неправильно, не знаете сами. На второй вопрос уже они прямо не отвечают, а вышли во двор совещаться. Пришли и говорят: у нас теперь таких книг нету, чтобы сегодня вам ответить, а благоволите явиться вот в такой день для вторичного собора. Хорошо! собрались мы и вторично. Народу набилось,— вся Тульча! Вот они нам предлагают упрек, что у вас, говорят, нет церкви.

— Мы, говорю, имеем молитвенный дом.— Это не есть церковь, потому что без главы.— А у вас какая, спрашиваю, глава? — У нас есть глава церкви святой крест.— Вот я встал на стул и говорю:

— Слышите-ли, братие, у них именуется глава церкви: святой крест. Они говорят: это правильно. — Все, говорю, слышите, — верно это?— Верно! Крест глава церкви. — Несите, говорю, апостольские послания. Раскрывайте на такой то странице. Чтите: Глава есть церкви Христос-Господь!

Видят они, что ошибку дали. Говорят: у нас и Христос тоже глава.— Слышите, говорю, братие,— у них глава Христос и св. крест. Верно-ли?— Правильно.— Все слышали?— Все.— Несите Хронограф.[1] Чти на такой то странице: аще-же у церкви две главы, то есть церковь змеиная!..

Так мы их тогда смяли окончательно. А уж они заранее пустили между греков слух, что мы разрушаем церковь и веру Христову. Вот между тем временем греки с кинжалами изготовились нас порезать. Да все таки паша узнал,— не допустили: расставили мизанов (низамов)— они и преградили, а нас после того вывели меж двух рядов солдат невредимо...

3 (15) октября

Утром в 11 часов, мы выехали на паре лошадей (с кучером хохлом) — в Сарыкиой, липованское старое село, лежащее на берегу соленого лимана. День был ясный и теплый. После того, как мы выбрались из кривых улиц Тульчи и из долинки (тотчас за Тульчей) и наша телега быстро покатилась вниз по отлогости — перед

[1] Хронограф — русская компилятивная энциклопедия XV-го века, содержит пересказ библейских событий и очерк всеобщей истории.

нами раскинулась своеобразная широкая панорама Добруджи. Своеобразная, красивая сторона, освещенная родным солнцем нашего руского юга, обвеянная его воздухом, проникнутая его трогающей простотой, его своеобразной задумчивой ленью. Отроги Балкан, перемешанные с отрогами Карпат, кой-где взламывающие горизонт синими зубцами, мягко, как будто ослабевая — спускаются к близкому уже морю все отложе; вот степь легла широко и далеко, чуть-чуть волнуясь, затуманенная сизою мглою, и по краям холмы стоят как облака или как призраки гор. Вон на востоке блистает что-то, пробиваясь сквозь дымку,— это уже море тихо прокралось по равнине и залило ее на десятки верст ленивым синим лиманом. А вот на лимане опять лежит какой-то лысый бугор и, кажется, плавает в воздухе, не касаясь воды. Это вдалеке, перехватив через степь — еще раз вынырнул отрог дальней гряды и странствующий русский нигилист, наш Петро, искал на нем „сближения с народом", ловил матулой лиманную рыбу, набрав артель забубенной добруджанской голытьбы... А лиман все ближе, все шире, вот он уже лежит грузной полосой синей воды, до самого горизонта, и кажется так странно, что эта масса, рисующаяся глазу выше бедной и обнаженной степи,— не опрокинется на эти солончаки, покрытые кой-где пурпурно красной, низко стелющейся береговой травой.

Вот деревенька,— мазаные избушки, крытые тростником из дунайских и лиманных плавней. Это черноволосый, ленивый молдаванин развел „багу" [1] и распахал ниву. Вот точно такая же деревушка,— но здесь с молдаванином, такой же черноглазый, черноволосый и ленивоюмористичный — поселился хохол. К востоку у устьев

[1] Бага — виноградник.

Дуная, за дальними туманами взморья и реки — лежат две деревушки, основанные еще запорожцами. Там, куда мы едем,— правильно, однообразно выстроеное село — липован-великороссов. Вот в чалмах и широких шароварах, с'уженных и разрезанных книзу — плетутся за обозом турецкие цыгане или татары,— и чорные лица кидаются в глаза своей чернотой даже среди загорелых молдаван и хохлов. Вот в таких-же чалмах и расшитых куртках — плетется задумчивый турок, недавний хозяин этих степей, так гостеприимно принявший всех этих гяуров. До последней войны по этим дорогам можно было видеть еще стройных черкесов на их поджарых лошадках. Выселенные с Кавказа, после необычайных страданий и потеряв половину людей [1],— они оказались отличными пионерами,— и степь, которая теперь царит безраздельно всюду, где расступились горы,— вынырнула из под их топоров. Но с энергией и трудолюбием, они завезли сюда также и свои дикие нравы и войнолюбие, и ненависть к поклонникам Христа, лишившим их родины, пославшим в этот гибельный путь. Однако,— странно: с русским липованцем, хохлом, вообще с выходцами из победившей их России у них все таки установился известный modus vivendi. Но над болгарином до конца они неистовствовали, сосредоточив на нем свою ненависть, которой в значительной степени наделяли братушку и другие его соседи. Случаи самой дикой расправы с болгарами — были здесь обычным явлением и турецкое правительство ничего не могло с этим поделать,— боясь репрессиями раздразнить это осиное племя,— быстро ставшее на новой почве богатым и могущественным... По берлинскому трактату

[1] Липоване рассказывали, что у них в некоторых местах была одно время натуральная повинность,— хоронить мертвецов, десятками оставляемых поездами, перевозившими черкесов. (Прим. автора).

решено, чтобы ни один черкес не оставался на европейской почве,— и красивое, неугомонно-хищническое племя вновь снялось с недавно-насиженных мест и, как последнее облако недавней грозы — понеслось в Анатолию, оставив свои сакли и разделанные нивы... Теперь, говорят,— бывшие пустыни в благодатной, но гибельной по климату Анатолии,— опять расцвели под их умелыми и сильными руками, опять встали сакли, склоны гор покрылись виноградниками, а ущелья и дороги, которые еще недавно они устилали по сторонам своими странническими могилами,— теперь оглашаются нередко громом их разбойнических выстрелов. Но там в Азии,— это кажется уже не такой аномалией.

А в Добурдже — остались попрежнему молдаване и славяне. И,— как эта местность, так близко сводящая горы и равнины и залившиеся далеко от моря соленные лиманы,— так и население сидит своими отдельными разнородными группами, не сливаясь и не ассимилируясь, несмотря на эту близость. Хохол здесь так и остался хохлом, сохранив в чистоте свое музыкальное мягкое наречие, и кто хотел-бы видеть типы и нравы (мирного времени)— прошлого столетия,— тому я рекомендовал бы приглядеться к здешней жизни, посмотреть эти корчмы, где загорелые и усатые потомки непокорившихся Москве запорожцев курят свои люльки, обмениваясь неторопливо меткими замечаниями,— эти степи под мглою южного вечера, с огнями, вокруг которых он увидит внезапно ожившие призраки чумаков, лежащих на спинах и глядящих в звездное небо, между тем как где-то тихо звенит старая песня, а круторогие волы, такие-же задумчивые, неповоротливые, выносливые и ленивые,— белеют в синеве ночи фантастическими белесыми пятнами. И старая славянская рознь жива здесь во всей своей силе.

Она-то и хранит эти племена в такой обособленной чистоте. Хохол, православный и не особенно преданный обряду,— посмеивается в усы и крепко не любит москаля - липованца, с его строем XVI века, с его начетчиками, с его сектантской гордостью и святошеством, с его толстым брюхом и скучной молчаливой общественностью, не допускающей ни хоровода, ни пляски, ни песни... Липованец презирает и не любит обливанца - хохла. Далее — разные секты препираются и спорят друг с другом — и все вместе косится на учителя - румына, с некоторых пор внедряемого правительством (обучение здесь обязательное). Гора и степь и море — лежат в беспорядке, в беспорядочной близости и в вечном различии... И в такой же беспорядочной близости, так же резко отличаясь друг от друга, живут рядом эти племена... Только порой сильные ветры намоют где нибудь песчаные гряды и отрежут лиманы от моря,— и тогда на месте синей воды поростут камыши, точно другое море, а лиман прорвется в другом месте. Так и здесь веками селились и уплывали племена, то внезапно изменяя физиономию целых местностей, как черкесы,— то исчезая, как они, без следа... Но больше всего ветры бегут с северо-востока, с открытого моря, с наших черноморских степей. И оттуда - же тихо набегают, сменяя друг друга, подвижные волны бродячей Руси. Вот лиман уже занял перед нами весь горизонт, подтопив справа синюю длинную косу. Это—Разин. Есть предание, что удалой Стенька приезжал сюда на своих стругах, об'езжал весь лиман, зорко оглядывая эти степи и может быть ища здесь, на случай,— нового места для какого нибудь фантастического общества с казацким строем, которому становилось уже тесно от „Москвы“ с ее новыми распорядками... Планы погибли вместе с удалой головой, которую буйные ветры понесли в другую сторонушку, а над заливом осталось только до сих пор славное имя...

В Сары-Киое (около 600 домов), построеном правильно „порядками", по „московски"— две церкви. Одна — беглопоповская, другая — австрийского священства. Несколько часов я провел здесь, переходя из дома в дом, угощаясь белым вином из знаменитых в Добрудже Сарыкиойских виноградников, закусывая лиманской рыбой и жареной говядиной. Был праздник. Точно маков-цвет пестрели по улицам бабы и молодицы, между тем как мужчины ходили от кабака к кабаку, из дома в дом,— наполняя и опоражнивая графины. Я смотрел на все это—и удивлялся, внезапно после долгой поездки очутившись в России. Один из липован говорил, что император Николай в 28 году посетил их село и был удивлен еще более меня.

— Как вы только зашли сюда? — спрашивал он,— и получил ответ от стариков, привыкших уже к вольным порядкам и вольной речи.

— Собственно от вас и ушли,— ответили старики,— по причине, что терпели гонение за восточную веру. Здесь вот и в Туречине,— а живем, слава те Господи, и имеем благолепные храмы и даже звон...

„Расскажите в России, что видели липован и как мы живем здесь без стеснения",— провожали меня охмелевшие липоване под вечер, между тем как кругом в синей мгле, на багах горели красные огни (теперь давят виноград), и такой же красный месяц выглядывал из за мглистой тучи,— слабо светя и не освещая чутко заснувших меж горными кряжами степей...

Часа три мы ехали среди этой синей ночи, и под громыхание бубенчиков, под частый топот копыт, под редкое уже стрекотание ночного кузнечика,— я бережно увозил в душе странное ощущение этого прошлого в настоящем,— между тем как огни то и дело трепетно освещали какие-то фантастические тени — и высокие журавли

частых придорожных колодцев смутно рисовались в темноте, точно виселицы,— и из пыльных клубов то и дело с резкой внезапностью вылетали „каруцы“ и повозки с хохлами, липованами или молдаванами, раз'езжавшимися к ночи по деревням из Тульчи...

Лука, хохол-возница,— недоволен: слишком долго загостились у липован. Он там скучал, пил мало, отказывался от угощения и больше стоял в стороне, искоса глядя на нашу беседу...

5 (17) октября

Беседа с диаконом (белокриницкой иерархии). Человек пожилой, блондин, с усталыми голубыми глазами, говорит тоже как будто слегка устало и тоном человека, видавшего много видов, но мало толку: — А! у нас тут 77 вер!

Я спросил, по правилу audiatur et altera pars [1],— насчет собора 72-го года, и правда-ли, что молокане вышли победителями.

— А! писано об этом в ведомостях... Победили, победили. Как победили! С ними не стоит и разговаривать, и спор иметь, потому что они кроме евангелия, ничего не признают. То как с ними и спорить. „Покажите в евангелии на счет икон“. Ну, в евангелии нет, а писание ясно доказывает, что было поклонение. Смотри у Игнатия Богоносца насчет креста. А! Что! — не понимают!.. Не стоить и говорить с ними.

— А все таки, каж же этот собор устроился?

— А видите. Был тут Иван Иванов один, Федоров по прозванию. Сынок его Мих. Ив. и по сей час жив. Так он устроил. Он, видите, был себе у турок, в конаке, а русской стороны представитель, не то что от молокан, а от всех. Имел у паши силу,— и устроил. Ну, спорили,

[1] Выслушай и другую сторону.

конечно — с ними никак не сговоришь... Например,— только вопросы, вопросы, да крик, а сказать не дадут,— так галдеж. А сам паше сказал, что липована хочуть сделать революцию и книги все из монастырей принесли, то чтоб забрать... Наших и забрали в конак с книгами, да греки заступились. Тут уж и вправду — мало революция не сделалась. Подступились к конаку,— паша рад был, что выпроводить удалось наших. Уходите только, и с книгами с вашими.

— Так это потому греки порезать молокан хотели?

— Не то. Они еще раньше кинулись за оскорбление креста. И опять богородицы они не почитають.

— Но ведь Христа признают?

— Христа признають. Такой дають пример, как кошелек с золотом. Сила не в кошельке состоить, а в золоте, а как золото вынял, то кошелек хоть брось. Ну греки действительно с ножами кинулись. Да опять нельзя им никак порезать, не знают кого: и молокан у поддевке, и липованец у поддевке. „Покажите, кого резать, кого резать". А! Кто там станет показывать... Ну, а все таки с этих пор от них много отшатнулось, тем более — тоже и они разделились: одни признають крещение, другие отвергають. И насчет слабости: пошло и у них, без прикрытия, как и у других...

Насчет монастырей о. диакон самого нелестного мнения, не различая вер и не щадя своего (белокриницкого) Славского. В Чолыке (Чолык-дере) уж нечего и говорить. Афанасия (основателя) турки хотели судить за безнравственное сожитие с монахинями. Откупился, а все таки известно. Человек был гладкий, толстый, крепкий: монашки его и в постель клали и в ванну и из ванны... Ну, и прочее. Потом Филимон у них священствовал, теперешний игумен в Савуле. Так уж румыны его вывели, назначили

священника женатого, семейного, и самый мужской монастырь отвели подальше. А! Что толковать. В Славе женская обитель — в селе, а мужская версты три. Строилась церковь, и я был строителем. Ну, я тут, да еще подрядчики, да плотники. Смотрим — все монашки шныряют по кельям: то белье мыть, то полы, то еще что... Стали мы покалывать им глаза... Так после того один (NN имя рек) и говорит раз:— А скоро вы, проклятые, эту церковь кончите? — Да что, говорю, ведь церковь, не сарай, кой как не состроишь. Да тебе что? — Да то, что измучили нас. Вы, проклятущие,— с'ездите к женам, да и назад, а нас сколько времени держите. Сам знаешь,— не может мужской монастырь процвести без женского... Возьми хоть в белой Кринице. Есть мужская обитель, да и женская тут-же,— вот и процветают. А вы нам вовсе свет закрыли, проклятые.

— Откровенный!

— Да, бедовый старик был,— не без того, чтобы и пошутить любил, а оно все таки и от правды видно недалеко. Как назначили мы день от'езда, то еще и не выбрались, как уже монашки ринулись туда. И-и! Не дотерпели, не дали и уехать: пошло это по кельям шнырять... Тьфу! Думаю, в России все таки построже.

— Не очень. Да ведь и у вас не всё так.

— А пожалуй и всё. Вот федосеевское общежитие есть за Сариком... лица не моють, волос не чешуть, ходять в белых рубахах, да в портах. Что! Наружное дело, а тоже... Был Кокош, румынский монастырь,— те хорошо жили, строго и в братолюбии. Так тоже...

— А что?

— Да выискался такой, растолковал братии. Что такое, говорит, игумен у нас строжится, клобук задрал кверху, начальствует. А по древнему-то уставу, в обители все

равны, все братия. Ну, те уразумели. Стерли того игумена, этого посадили. Ну, он им в три или сколько там лет столько долгов на обитель накатал, и до сих пор не поправятся. Спихнуло его начальство, с тем что не быть ему игуменом до конца дней. А ему что,— набил карманы... А братия, как попробовала этой жизни, то уже и других никого не слушают. Рушилось все прежнее иноческое житие. А,— не те времена. Старики и то говорят, как станут при них толковать, почему высшие лица не наблюдают: „да вы что думаете, прежде этого не было? Было,— с Екатерины. Еще в Черниговской губ. дана свобода строить обители рядом. Вот раз заметили — к одному пробегла. Ну, стали говорить: это как,— чтоб этого не было. Пришли в келью: так и так, куда спрятал? А старец говорит: что вы, братие, это вам от греховных мыслей так у глазах представилось. А если-же такая на меня по грехам напасть,— то смотрите всюду. Искали, искали,— ничего! Ну, да нашелся такой,— может и сам когда делал то-же. Вот что, говорит,— а нет ли у него потайного какого места. Отодвинули постель, а там дощечки этакие, отдельные. Подняли,— а у него подполье, каморочка и она лежить в одной рубашечке. Ну, сделался шум, выволокли ее, бить. А она кричит, что и по другим кельям также. Ну, кинулись по другим, а ее отдали двум слепым монахам караулить: где-же углядеть. Она через забор,—и была такова. Слепые кидаются,— вот она была, вот она была,— а уж ее и нет следу... А,— бывало это давно...

Прежнее житье в Добрудже,— было не житье, а попросту сказать земной рай. Населения этого было — пространно. Рубать лес — свободно, брать землю,— где хочешь, нашел себе лужок — коси! Подойдет время гарманить,—

приходит доверенный человек, отсчитывает 9 снопов тебе, десятый береть, зарубить на бирку,— вымолотишь,— отдавай...

— А суд?

— А что. В конаке просто было, такого правосудия нигде не было и не будеть. Вот приходить жалуется: побил меня Иван по морде. Дають ему заптия,— иди, приведи.— Побил ты его по морде?— А, побить таки и побил, потому что был пьяный.— Пьяный? Так что же ты своей головой о печку не стукаешься, а непременно пьяный в чужую морду попадаешь?.. Плати лиру.— Эффенди, эффенди,— да у меня нету, я бедный! — А, бедный, а пить так не бедный, на вино себе имеешь... Давай 80 лев.— Эффенди,—нету-же у меня.— Давай 70, ну 60, ну 50,— это уже только половина.— Нету.— Сорок, 30, 20... Нету? Ну, слушай,— Семене, он тебя крепко ударил?— Да таки засветил, что искры посыпались...— Ну, так дай-же и ему как раз так, и ступайте миритесь.— Вот это был суд какой. А за пашпортом бывало придешь.— Эй, кто там есть?— А что надо тебе?— А пашпорт надо.— А кто ты такой, как тебе на имя?— Григорий!— А отца как звали?— Федос! Вот сейчас на колено присел, поскрыпить, поскрыпить пером,— готов пашпорт Григорию Федосову.

— А бакшиш, взятки брали?

— Э, какая взятка,— франок один, то уже большая взятка. За порубку лесу как возьметь франок, то еще наставление даеть: ты бы, скажеть, вот какой дорогой ездил, что тут ездишь...

Народ здесь сбродный, вот главное дело. Идеть каждый из Рассеи: вор, разбойник, монетчик. Печатников много у нас было тоже. Теперь вот хоть монетчиков мало,

а было так, что он монах, а он себе монету чеканить, да еще какую... Вот недавно еще ушел от нас один, Алексей. Тоже монах, а ничему не верил. Как начнеть бывало ругать все веры, только послушай. Да ты то сам какой-же? — А я, говорит, такой, что уйду от вас в томские леса...

— Это зачем так далеко?

— Там еще для нашего брата дураков много осталось, как все равно рыбы у лимане. А здесь уже народ сам подлец такой изделался, что никуда не годится. — Что же ты в томских лесах станешь творить? — Святость разводить, об антихристовой печати проповедовать. Все теперь, братие, антихристовой печатью печатано, в ней-же погибель и геенна, наипаче же сторублевки. — Охти, грехи, а у нас их сколько-то было, что делать. — И-и — не тронь, чадо, тащи сюда, я тебя ослобоню от погибели. Принесеть. Клади вот сюда, в кишеню, да смотри как нибудь не того, не задень ею проклятущею моей руки, чтобы и мне не погибнуть. — А что ж ты с ею сделаешь? — В лес выйду, то вместе с хламидою спалю... Вот как...

9 (21) октября

Выехали из Тульчи в 2 ч. дня.

10 (22) октября

Прибытие в Одессу.

В Одессе в 2 ч. дня. — Осмотр, похожий весьма на формальный обыск. Подписка о том, чтобы явиться в департамент полиции, „не заезжая в Нижний". Таковы первые впечатления в дорогом отечестве. Озадаченная публика присутствует при всей этой сцене, где „нашего известного беллетриста" третируют точно гимназиста,

подозреваемого в незаконном курении табаку или чтении недозволенных книжек. Дети, Соня и Наташа, протестуют против обыска их кукол,— но власти неумолимы. В коробке с куклами может скрываться революция[1].

11 (23) октября

В Одессе 1-й день.

12 (24) октября

В Одессе 2-й день.
На выставке южно-русских художников.

13 (25) октября

В Одессе 3-й день.
Репортеры, „почитатели“ и „почитательницы таланта“ с одной стороны,— полиция с другой. С меня взяли подписку, что я „обязуюсь выехать в четверг“. Не хотел давать подписки, считая ее недоразумением, но зная, как наша полиция вообще, а одесская в частности разрешает подобные недоразумения,— не пожелал дать детям поучительного зрелища подобного опыта. Дал подписку выехать в четверг и выехал — в среду.

14 (26) октября

В Киеве часов в 11.

15 (27) октября

В Москве в 7 часов вечера.

16 (28) октября

В Москве.

[1] Об этом обыске имеется далее подробная запись под 1 ноября. См. также очерк „Эпопея“, т. XIX наст. изд.

17 (29) октября

В Москве.

Легкая одышка.

18 (30) октября

Из Москвы в Петербург в 4 ч. 30 м.

19 (31) октября

В Петербурге в 9 ч. 10 м.

Кончился цензурный срок моей книге „В голодный год". Книга вышла.

20 октября (1 ноября)

Интересное об'яснение с тов. директора Департамента полиции г-м Зволянским по поводу газетных статей в Американских газетах [1].

22 октября (3 ноября)

Выезд из Петербурга в 3 часа дня.

29 октября (10 ноября)

Приехали в Нижний.

ОПЯТЬ В РОССИИ [2].

(В Нижний вернулся 29 октября).

1 ноября 1893 [3]

Мое путешествие с 22 июня по 9 октября (выезд из Нижнего и первые шаги на русской почве в Одессе) отмечено в записной книжке-календаре на 1893 год.

[1] О поездке в Петербург по требованию департ. полиции см. далее в настоящем томе — запись без даты, между 4 и 6 ноября.

[2] Дневник снова ведется в тетради с надписью „Заметки. Год 1893 (продолжение)". Заголовок принадлежит В. Г.

[3] Старый стиль.

14-го сентября в 7 ч. утра в Париже ко мне постучали в дверь и подали телеграмму. Помню, что я задержал гарсона, пошарил в кармане жилета, висевшего на спинке стула, достал оттуда несколько монет и передал в дверь для разносчика. Не знаю, хотел-ли я сознательно отсрочить чтение телеграммы (ответ на мой запрос, вызванный глухими известиями о болезни моей Лели) или только уже теперь я переношу на эти минуты утренней полутьмы и полудремоты — весь ужас последующих минут,— но только мне кажется, что мне было холодно, что я дрожал и мне было как будто жалко себя. Кто-то, невидный в темном корридоре, подавший телеграмму, ждал, пока я лихорадочно искал денег и зажигал свечу, потом кто-то принял деньги и чьи-то шаги тихие, замедленные слышны были в корридоре, когда я вскрыл телеграмму и прочел, что моя девочка умерла. Помню, что мне не верилось. За что же они, незнакомые, кому я дал сейчас деньги,— за что они так страшно поразили меня этим клочком синей бумаги... Бедная моя девочка,— я сам своими руками увез ее, слепой, не зная, что везу на смерть. И она так плакала прощаясь, так цеплялась ручонками... Ну, будет об этом. Мне казалось, что до этой минуты я еще не знал горя в своей жизни. Когда нибудь может быть вернусь к своим ощущениям этих дней. Теперь еще трудно.

Утром 19 сентября я плыл по Дунаю на австрийском пароходе. На левом берегу мелькнула пристань, за которой виднелся город.

— Знаете что,— сказал мне мой собеседник, русский-румын из Бессарабии, но живущий в Тульче.— Пойдем вниз и ляжем спать в каюте.

— Зачем?

— Это Рени.

— Так что-же?

— А! Черт возьми, русская пристань. Уйти от греха.

Я остался, он ушел, задернул внизу свою кровать занавеской и лег, а я имел удовольствие видеть, как пароход причалил к пристани, на которой уже стояли солдаты с зелеными кантами таможенного ведомства и кучка синих жандармов. Кинули мостки, какой-то один несчастливец сошел по ним и мгновенно потонул, со своим багажем в густой кучке праздных досмотрщиков. Группа показалась мне интересной: все склонились головами к одному центру, а досматриваемый бедняга совсем исчез и казалось растаял. Так,— я видел когда-то, кучка муравьев покрыла собой сладкую древесную тлю...

Минута — и австрийский пароход опять плыл вниз по течению и клинушек русской земли, приткнувшийся к Дунаю, остался назади, а я увозил с собой мимолетное, но довольно сильное впечатление давно невиданного отечества.

10 октября пароход „Болгария“ подвез меня, Дуню и девочек к одесскому порту. Уже ночью неприветливо встретило меня Черное море. От Сулина мы отвалили при ясной и тихой погоде, но среди ночи я проснулся среди качки, неровных толчков, плеска волн и кряхтения парохода. Соня звала меня тревожным голосом.

— Папа, папа!

— Что, девочка?

— А мы не утонем?

— Что-ты, бог с тобой, деточка.

— У меня сердце болит.

Я понял, что это значит и не успел взять ее на руки, как с ней случился припадок морской болезни, а от нее — он перешел и ко мне,— гордившемуся своим знакомством с океанскими бурями. Очевидно, пришло время смириться.

На другой день для смирения явились новые еще более яркие поводы. Отечество встречало меня сразу по своему...

Пароход обогнул мол, подошел к пристани Русско-дунайского (Гагаринского) пароходства и остановился. В общей зале накрыли стол для завтрака. Кому?— Таможенным и другим официальным досмотрщикам. Ждать пришлось довольно долго. Наконец, явились чиновники, жандармы приняли паспорта, начались приготовления. Обыкновенно досмотр начинается с I-го класса. На сей раз, прежде всего началась какая-то суета между жандармами. Стоя на верхней рубке,— я видел, как один жандарм подбежал к другому, стоявшему на берегу, пошептался, и тот побежал куда-то. Вскоре стало известно на пароходе, что „ждут жандармского полковника". Когда в известном эпизоде с Ионой — погибал корабль,— жребий указал на виновника бури. Я без жребия понял, что причина остановки — во мне и ни в ком другом. Впрочем, моя совесть была чиста, как и мои сундуки и чемоданы, и потому я сошел в свою каюту с девочками, чтобы поесть цыплят и винограду. Между тем, в ожидании,— занялись пассажирами третьего класса. Было еще более ясно, что полковник приедет для кого-то в I-м классе.

Наконец, полковник явился и принялся за паспорта. Он вызывал всех, заставлял приводить к себе всех членов семьи, осматривал и сличал приметы. Наконец, я услышал свою фамилию и вышел.

— Я должен вам об'явить распоряжение департамента. Потрудитесь росписаться, что вам об'явлено требование явиться в Петербург, из портового города, не заезжая в Нижний. Где ваши вещи?

Я росписался. Принесли мои вещи. В каюте водворилось молчание,— напряженное и подлое, так хорошо мне знакомое молчание русской толпы, присутствующей при

формальном обыске. Все более или менее знали мою фамилию, знали, что я „известный русский писатель", и всем было интересно присутствовать при том, как писателя будут обшаривать жандармы. В сущности — это был только таможенный досмотр. Но это был и обыск. Прежде всего, полковник спросил, нет ли у меня „запрещенных изданий", которые должны быть отобраны. Вопрос излишний и глупый. Я ответил, что ведь он все равно не поверит моим уверениям и все таки будет обыскивать. Поэтому я и предпочитаю не давать никаких заверений. Смотрите.

Смотрели. Перевертывали все, брали в руки всякую бумажку, развертывали бумаги, заглянули в письма, на что таможенный досмотр не давал никакого права. Полковник был, впрочем, деликатнее, но молодой таможенный щенок усердствовал совсем не в меру. Схватился за коробку, в которой лежали детские куклы. Мои девочки запротестовали.

— Это наши куклы. Зачем он берет наши куклы.

— Постойте, девочки, им ничего не сделают.

— Вот еще! Это не его куклы.

Наталья, довольно решительная, перелезла через узел и схватила коробку. Находя, что куклы могут простудиться, она закрывала их одеялами, которые таможенный старался раскрыть. Публика, даже русская публика, выражала явное сочувствие этому „сопротивлению" моей девочки, „должностному лицу при исполнении обязанностей". Вслед затем в его руки попала книга.

— Моя книга,—кричит Соня.—Зачем взял мою книгу.— Полковник первый замечает дурацкое положение и начинает удерживать ретивого щенка. Я чувствую, что у меня горит лицо, чувствую, глядя на лица публики, что всем стыдно, тяжело, отвратительно. Девочки плачут: „папа,

зачем он зовет тебя в Петербург, не уезжай от нас". У Дуни в глазах испуг и слезы. Наконец,— все кончилось. Сконфуженный полковник не трогает вырезок из газет и моих печатных материалов.

— Да ну! — говорит он щенку, который с сыскным усердием накидывается на все это. Недоставало только, что бы у меня обобрали весь материал, за которым я, писатель по профессии, только и ездил... Этого не случилось, но, кажется, только благодаря сконфуженности, последовавшей за сценой с детьми и с куклами.

„Ничего предосудительного не найдено",— как всегда при всех обысках, много раз у меня производившихся... Однако, на душе за этот час накопилось столько гадости, столько „предосудительного" было во всей этой позорной сцене... Остальных пассажиров пощупали для формы и отпустили. Мы уехали в гостинницу...

Таково было мое возвращение в отечество после далекого путешествия (10 октября).

4 ноября 1893

МОИ ДЕТИ

Вчера тяжелый день горя и слез. Образ нашей Лели вновь встал перед нами, среди нашей семьи, со всей живостью и во всей новизне невозвратной потери. Дети до сих пор ничего не знали о ее смерти. Хотелось сказать им уже тогда, когда сами будем крепче. Так жаль было отравлять их веселье среди цветущей природы юга. Бедной Дуне много пришлось вынести от их невинной болтовни. Они то и дело вспоминали о „маленькой Еичке" (особенно Наташа), и все готовили ей подарки. Вчера утром я проснулся с тяжелым чувством. Сон часто возобновляет и освежает тупеющее горе. На глазах у меня

были вероятно следы слез. Наташа, которая спала рядом со мной,— заметила это.— Ты плакал?

— Что ты, детка, разве ты видела, чтобы папа плакал.

— Видела... Плакал об Лелечке.

Как трудно скрыть что нибудь от детей. Соня тоже сделала раз наблюдение: „как скажешь об Леле,— так мама плачет".— Но все таки они не знали. Вчера Дуня решила сказать. Я услышал громкий отчаянный плач.— Что такое?—Мы не хотим, не хотим, чтобы Леличка умерла.

Соня вскоре стала упрашивать, чтобы мы не плакали. Они не могут видеть слез. Ну, так не плачьте и вы! Соня скоро сдержалась. Я видел на ее лице усилия,— и, к моему удивлению, она гораздо легче справилась с собой, чем Наташа. Правда, что Соня целые дни проводила с Надей[1] внизу, а Наташа, еще не принятая в их компанию, все играла с Лелей, и потому живее чувствует ее потерю... Она упорно стоит на своем: х о ч у, чтобы она была здесь, у нас, не хочу, чтобы она была неживая. Матери она тотчас-же сказала: есть такая живая вода,—вспрыснуть,— она встанет. Горе ее глубоко и сильно.

Я предложил лекарство,— у меня не хватало духу оставлять эту детскую душу перед лицом голой проблемы смерти, без всяких смягчений. Я сказал, что это правда, что Лена, „у боженьки", что ей хорошо, что она нас любит и жалеет, что она нас видит и слышит. Замечательно, как резко обозначаются уже в детях умственные склонности и настроения. По мечтательному взгляду Сони я заметил, что на нее легенда подействовала и вошла в нее, тогда как Наташа тотчас-же выдвинула вперед сомнение и критику.

— Видит! Как-же она может видеть, когда она уже неживая...

[1] Надя, племянница В. Г., дочь его сестры М. Г. Лошкаревой.

Это ужасное представление „неживая“, в применении к дорогому существу, которого и я не могу выносить без ужасной боли,— испугало меня в Наташе. Я схватил, что было под рукой — и сказал ей, что тело неживое, а душа у бога, видит и чувствует. Соня уже по примеру Жени[1] (умершей, когда Соне было года 3) — знает, что на небе цветочки и прочее. Наташа и тут критикует:

— Какие цветочки, когда там нет земли, а только воздух.

В другой раз она спросила: до неба так далеко, верста! А ты говоришь, что Лена нас видит...

Тем не менее, и на нее легенда производит свое действие. Через некоторое время у них спор, за решением которого приходят ко мне.

— Бог хороший,— говорит Соня.

— Нехороший,— утверждает Наташа.— Какой хороший: делает, что люди умирают. Взял Лелю. Пусть отдаст...

Припадки острого горя возвращаются к ней постоянно, после игры и развлечений, которыми мы стараемся отвлечь ее от этого предмета. Эта глубина чувства тронула меня очень сильно в моей девочке, которую я считал, правду сказать, несколько (хотя и по детски) эгоистичной. „Мне, для меня, это ко мне в шкапик“— повторяет она и теперь. Но под этим — бьется все таки любящее и горячее сердечко. За обедом, она вдруг встала со стула, подбежала ко мне, охватила шею мою своими ручонками и тихо-тихо, так что я едва слышал,— шепнула: „а ей об нас скучно. Ты слышал, что я сказала“. Я ответил, что, если она нас видит и слышит, то ей не должно быть скучно, а только она верно жалеет нас, что мы плачем...

[1] Женя племянница В. Г., дочь М. Г. Лошкаревой. См. о ней записи в т. I „Дневника“ („Женькин лексикон“ и „Смерть племянницы Жени“), а также письмо к В. Н. Григорьеву от 18—20 сент. 1888 г. („Письма“, т. II).

Она и ранее против легенды выдвигала это соображение: „ей там нехорошо. Она маленькая, она хочет к нам“...

Потом пришла кормилица из деревни. Бедная,— сначала у нее умер свой ребенок, потом она оплакала и нашу Лелю, для которой оставила своего в деревне... Леля умерла тихо, без особенных страданий, покорно принимала все лекарства, но помочь было нельзя. И эта же простодушная Лизавета была причиной ее смерти: диссентерия — перешла к нашей девочке от нее!

Долго вечером обе девочки не спали и Наташа все плакала: „жалко мне Еицьку!“ Сегодня утро как будто принесло облегчение. Началось с того-же. Часов в 6 она проснулась и позвала маму.— Что тебе? Она бормотала что-то впросонках. „Страшный сон, будто украли нашу Леличку“...— Спи, деточка, Бог с тобой. Она повалилась на подушку и заснула. Кажется, Дуня не разобрала слов, может быть и я ошибся, но, кажется, что она говорила именно это. Проснулась однако спокойная, вспомнила сон: „будто приходили воры“, расспрашивает опять подробности о Леле, но уже без слез. Я сказал, что теперь нужно быть хорошей: если Леля видит, то радуется: вот моя сестричка какая хорошая. А если вы нехорошие,—ей неприятно...

Зачем я говорю все это? Если бы я был убежден, что истина в представлении о неживой, в одном лишь разложении и тлении,— я никогда не позволил-бы себе, вероятно, лгать даже детям: пусть с детства привыкают к суровому веянию истины этого печального мира. Но я убежден наоборот, что этим не кончается, что настроение Наташи и настроение Сони, как и настроение Марка и Васи („Ночью“)[1], как и настроение скептика Сократа и мечтателя Христа,— два полюса, между которыми происходят вечные колебания человеческого ума, в его

[1] Рассказ этот был написан в 1888 г. Вошел в т. VII наст. изд.

стремлении — и более: в его приближении к истине. Легенды детски наивны, но под этими переменчивыми формами бьется вечная идея о непрерывности жизни, о высшем сознании. Незачем вырывать эту идею из детской души и лучше уж навремя оставить и самую форму. С другой стороны — и скептическое настроение, обращающее воображение на землю, спрашивающее то и дело — как и почему,— очевидно так же вечно, органично, законно. Оно то и дело притягивает воздушную мечту на землю, делает ее более земной, нагружает ее так, что у нее слабеют крылья.— Но тут она набирается новых сил, делается способной подымать за собой большую тяжесть новых земных истин, новых фактов и об'ективных знаний. И когда после этого явится новая мировая гипотеза,— она подымет за собой к „вечному небу" еще на одну ступень нашу бедную землю. Я много думал за это время о вопросах, которые волновали меня и раньше. Теперь они приняли для меня особенную живость, близость и так сказать ощутимость. Когда поезд мчал меня с моим внезапно обрушившимся горем среди чужой природы, в вагоне, наполненном чужими людьми,— я смотрел в темноту, где темнели и зияли долины, где в ущельях мерцали туманы, сверкали в небе звезды или висели облака,— и вопрос: Леля моя, где ты?— я обращал к живому существу. Я чувствую, что это не болезнь ума, не туманно-мистические миазмы, побуждающие например румынского ученого Гиждеу вызывать спиритическими способами дух своей умершей дочери. Я гарантирован от этого, я не забыл ничего, что знаю и знал о природе, об ее неизменных законах. Но я думаю, что эти законы неизменнной причинности, законы „материи" и „силы"— не закрывают гробовою крышкой вечно живого религиозного чувства, что и их всех может и

должна в грядущем охватить новая гениальная мировая „гипотеза“, которая покроет, об'яснит, разрешит их все и все об'единит в одном синтезе, оставляющем простор для вечной высшей жизни и вечных новых форм „сознания“, для цепи таких сознаний, перед сложностию и величием которых наши самые гениальные сознания — то-же, что наша песчинка-земля перед лицом бесконечности вселенной.

А если так, то почему-же я стану внедрять в детскую душу „односторонность“ материальной смерти, предпочтительно перед односторонностию и наивностию антропоморфических легенд о вечной жизни...

(О моих теориях, которыми я стараюсь наметить „возможности“, не отрицающие и не отрицаемые научными данными,— после)[1].

Я уже привык к своему дневнику и чувствую угрызения совести, когда позади остается нечто заслуживающее отметки не внесенное в дневник. Такова именно моя поездка в Петербург по „приглашению“.

18 октября (4 ч. 30 м.) с почтовым поездом я выехал в спальном вагоне 3-го класса. Ночь проспал и утром был уже в Петербурге в 9 ч. 10 м. Чтобы не тревожить Велю[2],— приехал в Пале-Рояль и занял № (67). Быстро умывшися и переменив костюм, отдал свой паспорт и ушел к знакомым с твердой решимостию вернуться лишь ночью: я совсем еще не знал, как за меня примутся. Полагал, конечно, что ничего серьезного не будет. Однако, всякая судьба, связанная с известным учреждением у Цепного моста,— становится в известной степени волшебной и

[1] См. Дневник т. III, запись под 16 апр. 1895 г.

[2] Эвелина Гал. Никитина, сестра В. Г.

необеспеченной. А вдруг,— причины моего вызова не те, какие я предполагаю, и в основе нового инцидента лежат опять фантастические гадания о моих великих преступлениях, долженствующих потрясти Российскую державу, как это уже бывало ранее. Одному из моих знакомых помощник градоначальника Фурсов (кажется) насказал про меня еще в 1879 году невероятных ужасов: по его предположениям я подписывал даже смертные приговоры, приведенные в исполнение „партией". Все возможно предполагать и даже должно предполагать все, когда приглашают для „об'яснений" к Цепному мосту. Я не из трусливых в этих случаях, к тому-же давно привык к этому порядку явлений нашей жизни и потому нервы мои при этих инцидентах всегда в порядке. Но тем более я привык держаться на чеку и не дать себя накрыть какой-нибудь внезапности. Я приехал во вторник, в среду — приемный день,— и потому во вторник-же я обегал знакомых и побывал в редакции,—на случай, если бы после прописки меня потребовали-бы сейчас-же в департамент.

Ничего такого не случилось, и в $11^1/_2$ часов следующего утра я входил по лестнице в знакомую „приемную"[1].

[1] На этом рассказ о посещении департ. полиции прерывается. Повидимому В. Г. имел намерение продолжать его, для чего в дневнике оставлено две страницы чистой бумаги. Об этом же посещении см. выше, отметку под 20 октября (1 ноября). Некоторые подробности об'яснения с Зволянским В. Г. приводит в письме к С. М. Степняку-Кравчинскому от 29 янв. 1894 г. „М. прочим,— пишет В. Г.,— в разговоре речь коснулась того щекотливого обстоятельства, что „В. Г. Короленко виделся со многими эмигрантами,— что известно положительно". Разумеется, я ответил, что это совершенно верно, тем более, что среди эмигрантов не мало людей, с коими я разделял приятные дни в Сибирской ссылке"... В общем В. Г. так резюмирует в письме результаты об'яснения в деп. полиции: „...Я не имею поводов на сей раз жаловаться на Петербург, ну, а грубости разных местных начальств,— это уже, конечно, проводит меня в могилу".

6 ноября

Ездил на товарную станцию получать книги („Голодный год"). Ока почти чиста, лед стоит у Молитовки. Пристани убраны, ходит один перевозный пароход с баржой, повременам проплывают лодки, где-то вдали просвистит одинокий пароходик, и этот свисток, гулко нарушающий важное спокойствие застывающей реки, еще более оттеняет ее запустение... В лодку, на которой я переезжал,— то и дело стукались небольшие льдины, тихо плывущие по течению, желто-бурые от нефти...

Ярмарочная сторона пуста, здания заколочены, колеса извозчиков (здесь еще ездят на колесах) гулко стучат и наполняют грохотом безлюдные улицы. На вокзале все заперто, только дежурный официант спит на скамье, задравши кверху голову. Готовый поезд стоит чистенький и красивый у платформы. Кое-где служащие в форменных фуражках стоят кучками на шпалах и ведут беседы о злобе дня,— передаче жел. дороги в казну, неожиданно об'явленной на днях.

— Испужались,— об'яснял мне ломовик, с которым я ехал до пристани, получив вещи.— Дорогу-те казна взяла, а у них, слышь, касса своя, вычеты теперича делались. Вот и мижуют ь, как если теперича деньги пропадуть...

— Да,— продолжает он, качая головой.— Эта им одна дорога все расходы оправдывала. Николаевска теперича или Варшавская не может супротив этой работать. А они, слышь ты, и нанесли агромаднейшие тарифы. Круглый год теперича один тариф, к ярмарке другой. Вот и пошел товар мимо Нижнего; все к Ярославлю баржа за баржой так и преть. И все мимо нашего городу. Вот казна те и того, и взяла себе. Тариф теперича снесуть, и товар

опять через наш город пойдет... Так то... А они теперича и мижують, да поздно...

Таково мнение ломовика, старого человека с густой шапкой серых волос и добродушными умными глазами. Он смотрит с точки зрения своего промысла: пойдет опять товар на Нижний, и опять начнется выгрузка и возка товара с пристаней,— ломовикам на руку. Повидимому — с этой точки зрения склонно смотреть на это дело все Кунавино [1]. Вот выстроились, в ожидании парома, обозы с кладью, вот, у досчатых балаганов, извозчики греются чайком из самоваров, кипящих на морозе. Снежок летит косо, с ветром, над обледеневшими песками, падает на горячую медь и тает, посыпает пироги с начинкой, порошит бороды и шапки,— и под шум ветра, под тихий треск льдин идут разговоры. Русский человек оптимист и достаточно хоть тени надежды,— он уже верит, что все будет устроено именно так, чтобы ему, вот тут в Кунавине стало лучше. И он верит, все верит, и все надеется. Насаждал национальные финансы Вышнеградский [2], русский человек ждал всего от Вышнеградского. И „листки“ с „ведомостями“ укрепляли его в этих надеждах. Вышнеградский ушел и вот листки пишут, что „национальные“ и „истинно русские“ финансы надо поправлять и чуть не создавать сначала. И он опять верит в Витте [3]. А там найдется новый творец — и опять начнет сначала. Старая история — с блестящими сметами, с остатками на бумаге и с громкими фейерверками в духе дешевого политиканства мелкой якобы патриотической прессы,— сколько еще времени она будет оказывать свою волшебную силу!..

[1] Кунавино — часть Н.-Новгорода на берегу Оки, где находятся вокзал и ярмарка.

[2] И. А. Вышнеградский, министр финансов при Александре III.

[3] С. Ю. Витте, сменивший в 1892 г. Вышнеградского на посту министра финансов.

А хороша Волга, даже и умирающая на зиму, вся темная, в белых, снегом покрытых берегах, вся отяжелевшая, как будто торжественно готовящаяся к собственной смерти... Вот пристал пароход, пошла волна — и льдины заберегов заколебались и затрещали... Гулко стучат копыта лошадей на пароме, валит народ в тулупах и сибирках, грустно звенит свисток и эхо его умирает между горами...

7 ноября

Сегодня получил письмо Александра Ив. Писарева[1]. Моя книга „Голодный год" выпущена в продажу. Я и доволен и недоволен. Доволен потому, что она чуть не погибла, висела на волоске,— и все таки вышла, и все таки хоть что-нибудь в ней сказано из того, что у нас погибает в цензуре[2]. Но мне грустно видеть, как она неполна и бледна. Да, к удивительным приемам приходится прибегать нам, чтобы сказать хоть что-нибудь. Если земский начальник вор — этого сказать нельзя, хотябы были ясные доказательства. Железнов[3] — был настоящий червонный валет. Бестужев[3] — глуп, нахален,

[1] А. И. Иванчин-Писарев, журналист, деятель эпохи „хождения в народ", член редакции „Русск. Богатства", заведывавший хозяйственной частью журнала.

[2] Главные затруднения к выходу книги были созданы цензором Позняком, вновь назначенным в Гл. Управление по делам печати. В результате подан. им докладной записки Цензурный Комитет принял решение не пропускать книгу „В голодный год"; она была пропущена только благодаря вмешательству члена совета м-ра вн. дел А. И. Деспот-Зеновича (бывш. участника эпохи реформ). Подробности этого инцидента В. Г. впоследствии изложил в своих очерках „Земли! Земли!", в гл. IV. „История одной книги".

[3] Земские начальники в Лукояновском уезде, где В. Г. вел в 1892 г. практическую работу по оказанию помощи голодающим.

легкомыслен, кроме того, взяточник, охальник с бабами, буян и грабитель. Все это я могу доказать сотнями фактов. Но это — слишком резко, и потому я вынужден писать только о легкомыслии — и то трепещу, что книга погибнет. Пушкин — взяточник и организовал систематическое закрепощение населения, пользуясь своей властью сначала земского начальника, а теперь предводителя. Он ворует церковные деньги, покрывая одну растрату (продов. денег)— другими злоупотреблениями. А я вынужден (опять имея доказательства)— писать о его „жесткости" и нерадении, как будто все дело только в этом. И т. д., и т. д. Я едва провел указание на то, что слышал на сходах „глухой ропот", тогда как в действительности в народе кипит уже пламенная ненависть против этих „господ", ненависть, не находящая пока исхода, и тем более опасная, что законного исхода ей нет. Еще на днях я получил анонимное письмо из Лукояновского уезда, где сообщается о грабеже предводителем Пушкиным церковных денег. Факт этот известен мне и из других источников, но будь у меня в руках документальные доказательства,— я все таки не могу этого обнародовать. „Факты слишком резки",— вот что слышишь от редакций. И никто не боится, что факты именно слишком резки в действительности, что целые массы раздражаются ими и накопляют чувства вражды и ожесточения. Лишь бы эти резкие факты не появились в газетах, чтобы о них не узнали именно те, кому все это должно-бы служить предостережением...

Недавно в Одессе разыгрался следующий эпизод. „Одесский Листок" пригласил сотрудника „Московского

Листка“ В. Дорошевича[1] к себе в роли фельетониста. Это человек с несомненным талантом, но истинный „сын своей матери“, уличной прессы. Хлесткий, подчас остроумный, совершенно лишенный „предрассудков“... Гордость этих господ состоит в том, что они могут „разделать“ кого угодно и за что угодно. Здесь не спрашивают ни убеждений, ни совести, ни защиты тех или других интересов. Прикрыв свой тыл от цензуры отменным улично-демагогическим патриотизмом (Пастухов[2] награжден медалью за литературную деятельность!) — эти господа не заботятся ни о чем более. „Разделывать“ — это их ремесло, и они прежде спрашивают, кого нужно оплевать, а уже после подыскивают резоны. Дорошевич только приехал в Одессу, как ему тотчас-же представился случай: городской голова Маразли праздновал свой юбилей. Маразли очень популярен и, говорят, действительно порядочный человек. Оплевать именно уважаемого человека — это эффектно, это дает розничную продажу. К тому же Маразли городской голова, а с городскими головами провинциальных городов эти господа привыкли не церемониться (все таки — самоуправление). И Дорошевич разделал Маразли так, что гул пошел по Одессе.

Это первый акт. Герой московской уличной прессы,— начавшей карьеру с заведомого шантажа и дослужившейся посредством консервативной демагогии до высочайших

[1] В. М. Дорошевич, известный впоследствии фельетонист, автор книги „Сахалин“. Резкая характеристика его личности, данная В. Г. Короленко в настоящей заметке, относится к началу литературной карьеры Дорошевича, когда он сотрудничал исключительно в органах уличной „мелкой прессы“ („Московск. Листок“, „Петерб. Газета“ и др.) и проявлял полное безразличие в отношении общественных и литературных взглядов. В тексте настоящей записи в трех местах Ред. Комиссией опущены некоторые резкие выражения.

[2] Н. И. Пастухов, редактор-издатель „Московского Листка“.

благодарностей и орденов,— ступил на новую, несовсем правда девственную уже — провинциальную ниву. Явление неизбежное и лекарство против него одно: развитие вкусов и гражданского чувства в читателе. Общественным деятелям придется привыкать к самой бесшабашной насмешке, если в ней нет клеветы, а обществу придется учиться различать серьезные обвинения от зубоскальства.

Но в Одессе есть „власть" в лице Зеленого [1]. Это — полусумасшедший моряк, ругающийся, как пьяный матрос, самодур и грубиян. Он воюет с евреями и гимназистами, которые порой забывают снимать шапки, не зная его в лицо, и оскорбляет всех, кто имеет к нему дело, направо и налево. Одесса полна самых порой возмутительных рассказов об его выходках,— и это все терпится благодаря некоторой легенде. Говорят, будто Зеленый „лично известен" и будто про него спрашивают: „а что мой Зеленый все так же ругается?" Вследствие этого, Одесса считает, что пошлые грубости этого бурбона как бы узаконены.

Этот-то господин вызвал Дорошевича вместе с редактором Навроцким вскоре после появления фельетона в „Од. Листке" (26 сент. 93, № 248). Явились. Дорошевич, повидимому, больной, хромой — явился с палкой. Это прежде всего вызвало громы администратора, сознающего вероятно инстинктивно опасность от близости палки при его официальных приемах.

— Зачем палка? Палка зачем?

— Я болен.

Городовые кидаются, происходит возмутительная сцена: у больного вырывают насильно палку.

— Болен, а пишешь такие фельетоны, мерзавец. Вон в 24 часа!

[1] Зеленый — одесский градоначальник.

Я передаю эту сцену еще в значительно смягченном виде. Как бы то ни было — воля одесского самодержца тотчас-же приведена в исполнение и Дорошевич выслан, а в Ведомостях Одесского Градоначальства явилась заметка, в которой ко всеобщему сведению опубликовано, что его пр-во „изволили сделать (буквально) редактору и сотруднику „Од. Листка" строгое внушение".

Интересно опять в каком виде является этот факт, достойный турецкого баши-бузука, — на арене нашей гласности.

Вот выдержка из газеты: [1]

„Вестник Европы" касается инцидента с сотрудником „Одесского Листка", которому вместе с редактором, как мы уже сообщали в одном из последних номеров, был сделан выговор местным градоначальником за напечатанную в газете с разрешения местной цензуры статью. Журнал находит, что помимо вопроса о праве администрации делать внушения редакторам и сотрудникам повременных изданий, сообщение возбуждает еще немало других недоумений.

Что мог сделать в данном случае одесский градоначальник?

„Запретить или приостановить издание газеты губернатор или градоначальник не в праве; но ведь он не в праве и делать внушения — а между тем их делает; ergo — ничто не гарантирует редактора и от запрещения газеты. Кроме того, губернатору и градоначальнику принадлежит, если не de jure, то de facto, обширная власть над личностью обывателей; от внушения, если оно окажется недостаточным, недалеко быть может и до других мер, более энергичных. Сегодня приглашенный для выслушания внушения редактор, завтра может быть приглашен для выслушания приказа о выезде из города... Положение нашей провинциальной печати и без того уже крайне тяжело; неужели необходимо усложнять его дамокловым мечем административной высылки".

И на том спасибо. „Вестник Европы" сумел выработать себе какой-то особенный тон, которым говорит порой очень по нашему „смелые" вещи. Это несомненная заслуга и я воображаю, как удивляются теперь одесситы: писать

[1] Из какой газеты взята эта вырезка — не указано.

так о „лично известном“! А между тем, — как сгладился, как смягчился, как даже извратился этот изумительный в культурном все таки обществе факт! Можно подумать, что Зеленый сделал свое „внушение“ в тоне оффициальной заметки „Губ. Ведомостей“. И никто — ни обиженные, ни посторонние, — не смеют рассказать о грубом оскорблении редактора и сотрудника, об извозчичьей брани, о зверском насилии над больным человеком, об этом „буйстве“ в официальной приемной, учиненном над больным!

Особенная ирония российских судеб в данном случае заключается в том, что тот-же Дорошевич сам постоянно прославляет „в принципе“ (если тут приложимо это слово) подобные начальственные приемы. Он работает и у нас, в „Нижегородской Почте“ (ярмарочный уличный листок) и с восторгом не раз приветствовал такие же произвольные меры Баранова и других начальников-соколов. Он не ждал, разумеется, что в иных случаях демагогический патриотизм не защитит от начальственного натиска и сотрудников уличной прессы!

Уже в 94 году мне передавали, что Дорошевич живет в Одессе, во всяком случае, продолжает работать в „Одесском Листке“ и... в своих фельетонах порой расточает лесть по адресу Зеленого [1].

8 ноября

В „Гражданине“ некто г. Южный рассуждает о постановке у нас „Вильгельма Телля“. По его мнению, решительно незачем было ставить на нашей образцовой сцене „Вильгельма Телля“.

„Но не потому, отнюдь не потому, что это — опасная пьеса, что в ней через каждые десять строк повторяется слово „свобода“ и что вся она представляет собою как бы памятник народного восстания.

[1] Последний абзац приписан автором впоследствии.

Нет, в этом отношении „Вильгельм Телль“ для нас вовсе не страшен, и можно только удивляться тому, что когда-то у нас находили нужным воспрещать представление ее в театре. В этом имеют нужду разве тираны и узурпаторы, которые добились власти нечистыми путям и не пользуются ею, а лишь злоупотребляют. Затем, что касается в частности русского народа, то, право, эти громкие ламентации о свободе, которыми переполнена пьеса, не только не внушают страха, но прямо могут вызвать улыбку. Потому что та свобода, о которой только мечтают герои Шиллеровской пьесы, у нас была всегда, с тех пор как есть имя „Русь“[1]. („Гражд.“ 6 ноября, № 306).

Это рассуждение очень характерно, и кажется первые пустили его в ход славянофилы. Речь, конечно, идет не о той свободе, о какой мечтали герои Шиллеровской пьесы,— потому что они желали и добились свободы внешней. Но есть свобода гораздо лучшая, а именно свобода внутренняя, которою мы и были свободны всегда, даже и во времена рабства. О, это превосходная, самая лучшая из свобод, потому что ее никто отнять не может. Тебя продали, как вещь — а ты свободен. Тебя женили насильно на немилой — а ты свободен. У тебя отняли и продали детей — а ты все таки свободен. Наконец, тебя взяли, посадили в тюрьму, не об'ясняя причин, услали за 10 тысяч верст — а ты и в тюрьме, и на этапах, и в ссылке — внутренне свободен, да и только! Ну, может ли быть лучшая свобода, чем та, которою обладаем мы, русские люди „с тех пор, как существует Русь и до наших дней“. Не так давно Бугров[2] рассказывал мне лично, что его приказчика сняли во Владимирской губ. с баржи и посадили в кутузку за то, что на берегу стоял земский начальник, а приказчик (на барже!) не снял шапки! Это очень похоже на гесслеровскую палку, но что за

[1] Курсив В. Г.

[2] Бугров — крупный нижегородский хлеботорговец.

дело, и когда бугровский приказчик жаловался на незаконное лишение свободы, то жалоба осталась без всяких последствий. Чудак! Он не понимал, что самого факта „лишения свободы“ у нас в России никогда не бывает, ибо кто же бугровскому приказчику мешал быть внутренне свободным даже в кутузке ...

И такие рассуждения можно встретить не в одном „Гражданине“. Мы более свободны ... внутренне,— говорил мне один толстовец, мотивируя „непротивление“. „Моск. Ведомости“ написали в прошлом году, что я лично — был гораздо более свободен (внутренне) — в сибирской ссылке. Эта отличнейшая свобода тем то и хороша, что при ней можно свободно вернуться к крепостному праву, можно отлично ссылать писателей в ссылку (для освобождения их от либерального рабства) — и наше отечество все таки останется свободнейшим государством, фактически обладающим тем, о чем другие только мечтают... Меня немного смущает только один вопрос: почему нельзя быть внутренне свободным, не будучи формально рабом, и разве „внутренняя свобода“ так уж неизбежно требует для себя кутузки, ссылки и произвола... А что, если те-же швейцарцы, добившись внешней свободы, сохранили и внутреннюю (почему-бы этому и не быть?) — ведь тогда у них есть две свободы, а у нас только одна, и наши преимущества сводятся к нулю. А кажется, что это именно так. „Внутренняя свобода“ всегда при нас и значит ее не стоило добиваться, а если они все-таки добивались, то очевидно — добивались свободы внешней и пример их все-таки для нас остается зловреден.

В № 305 „Гражд.“ (от 5 ноября 93) напечетаны две статьи, доказывающие необходимость государственного сельского хозяйства. Министерство земледелия должно

устроить целую систему казенных хуторов, которые и будут школой для русского земледелия. При этом условии князь [1] готов допустить пользу министерства земледелия, которую отрицал еще недавно. И все это не то. У нас издавна существует казенное лесное хозяйство. Худо - ли, хорошо - ли, оно все таки ведется казной,— что отнюдь не помешало истреблению частных и крестьянских лесов. Никто не хочет понять, что роль государства, главным образом,— все таки устранять препятствия и принимать общие меры, которые в широких масштабах должны содействовать здоровым усилиям всего народа. А эти здоровые усилия все таки зависят не от одного министерства земледелия, и без оздоровления всего строя,— ничего выйти не может.

Одна из фигур несколько загадочных, но во всяком случае очень интересных,— это фигура С. И. Мальцева.

„Когда - то это был владелец целого княжества, вчинатель множества производств, теперь развившихся и жатву дающих, но впервые насаженных и привитых к неумелым русским рукам им. Сотни тысяч десятин, леса, заводы, своя железная дорога, свои пароходы, и сам в то же время первый работник и мастер во всем, за что бы он ни брался. В то время, теперь далекое уже время, когда завод, или фабрика казались чудищем стоглавым, стозевным и лаяй, этот человек дошел до высокой мысли и выполнил ее,— создать этот завод и эту фабрику не в городе, а там, на родной земле, не отрывая мужика от его коренной кормилицы, не делая его городским отщепенцем".

Это последнее, разумеется, вздор: вовсе не Мальцеву принадлежит эта идея—фабрики в деревне, и я мог бы из архивов указать примеры деревенских фабрик в прошлом столетии (хотя бы стекл. фабрику Городчанинова на Унже). Но, во всяком случае, старец интересный. Мнения о нем — самые различные. В. И. Немирович - Данченко написал в 80-х годах целый ряд восторженных статей о мальцевском

[1] Мещерский, издатель „Гражданина".

районе, под заглавием „Америка в России“, где рисовал чуть не утопию национального русского мужицкого хозяйства и райского благосостояния. Вскоре же после этого Америка в России громогласно рухнула, и газеты наполнились разоблачениями далеко не радужного свойства. Около этого же времени мне пришлось ехать по Волге с жандармским майором из мальцевского района. Он переводился куда-то в Пермскую губернию, в глушь, и почитал себя счастливым, что вырвался из немировичевской Америки: „То и дело бунты, помилуйте. Покоя ни минуты. Наконец, догадались, стали выписывать целые партии хлеба и попробовали кормить этих бунтовщиков“...

— И что же?

— Конечно, действует лучше. А все таки. Нет, это, я вам скажу, такой угол...

Итак, остается до сих пор неясным,— кто такой этот Мальцев: благодетель или ловкий человек, пронюхавший, что вывеска „национальная“ над фабрикой или заводом — весьма ловко переряживает европейскую эксплоатацию в русское благодеяние. Теперь этот старец проявился в Петербурге в самом отличном месте,— в гостиной князя Мещерского, и... хвалит министра Витте. Сначала прелюдирует кто-то другой (А-д) и кажется сам князь [1].

„Министров редко хвалят“ [2]. Нет, хвалят, пока они министрами, так хвалят, как Мещерский хвалил Вышнеградского — взасос и почти до исступления... А теперь,— вот этот-же старец говорит в газете кн. Мещерского, что до сих пор он не надеялся достигнуть чего-либо полезного для отечества. Все министры мешали... Ох,

[1] Далее в дневнике вклеена обширная вырезка из „Гражданина“, подписанная „А-д“. Опускаем ее.

[2] Слова А-да из ранее упомянутой статьи.

уж эти министры. Витте — новый,— о, этот орел! Но, Боже мой, как подумаешь, что ведь всякого-то величали орлом в свое время...

10 ноября

Ардатовские картинки. В Ардатове[1] еще недавно царствовали Звенигородские,— целое гнездо, захватившее в свои руки все отрасли управления. Как то в горячее время, когда я занимался обличительной войной с дворянскими хитителями[2], ко мне подошел на хорах дворянской залы господин среднего роста, нервный и подвижной, и выразил желание познакомиться.

— Ходаков, из Ардатова. Читал... Превосходно, но вот, ежели бы вы заглянули к нам. Хотите я вам документ представлю. Звенигородский — председатель управы покупает у Звенигородского — предводителя дворянства бревна,— срубить в собственном г-на предводителя лесу, доставка на земский счет. Третий Звенигородский берет подряд — по доставке. Четвертый Звенигородской — смотритель больницы — принимает. Красиво?

— А цены?

— А цены-с? Доставка одна стоит столько, сколько готовое и привезенное уже бревно-с по справочным ценам. Я доказал...

Впоследствии в „В. В-ке“[3] было напечатано заключение ревизионной комиссии о родственной деятельности „гнезда“, и мы имели удовольствие видеть „опровержение“, присланное г. Звенигородским, предводителем дворянства. Г. предводитель Звенигородский, в тоне величайшего

[1] Ардатов, уездный город Нижегород. губ.

[2] С заправилами нижегородского Александровского дворянского банка. Статьи В. Г. печатались в „Волжском Вестнике“ (в 1891 г.).

[3] Волжский Вестник.

беспристрастия, защищал г. Звенигородского, председателя управы...

Как то Н. М.[1] ездил в Ардатовский уезд для уловления какого-то жучка. Захватил с собой и г-на председателя. Г. председатель был очень рад. „Ты видишь сама,— необходимость...“— говорил он супруге, желчной особе, дочери „великого Каткова“. Поехали. Председатель еще далеко до места напился пьян, а на месте, где жук воевал с хлебами,— председатель лег костьми под древом, закрыв лицо носовым платком. Геолог занялся уловлением, исследованием, собиранием и наконец — обучением мужиков правилам войны с опасным врагом. Сон председателя был беспокойный. Он ворочался, стонал и кряхтел. Когда геолог, в один из своих роздыхов подошел к нему,— председатель сидел под древом и жалобно причитал:

— Домой хочу... поедем домой.

Кончили. Председатель встрепенулся, сели, поехали. В каком-то волостном правлении,— он неожиданно „занялся делами“. Явился какой-то шустрый суб'ект, что-то пошептался, прибегал, убегал, и, наконец, председатель с беспокойно-важным видом попрощался с геологом.

— Дела, знаете, нельзя. Ну, да я все-таки скорее вас в городе буду.

Проезжая часа через два по селу,— геолог видел в каком-то окне — огонь, движущиеся тени, слышал топот и звуки гармонии. Кто-то отплясывал, размахивая руками, женский голос присоединялся к общему гомону.

— Закрутил... председатель... — пояснил мужик. Изба принадлежала бедовой солдатке.

Приехав в город,— геолог подвергся натиску со стороны председательши.

— Где бросили мужа?

[1] Н. М. Сибирцев, земский геолог.

— Да он по делу...

— Знаю я его дела.

Еще дня через два, когда геологу опять потребовалось „содействие"— он узнал печальные вести: председатель, явившийся только накануне, сидел запертый в комнате, и строгая супруга решительно никого не допускала к нему. Когда геолог проходил мимо, после весьма неприветливого приема,— в окно выглянуло желтое, испитое, опухшее и несчастное лицо председателя...

— Страдаю... — сказал он.— Голубчик мой.

— Что такое?

— Умираю. Опохмелиться не дает. Растолкуйте ей хоть вы... Батюшка мой, что же вы, и вы меня покидаете. А я было на вас, как на каменную гору...

Геолог удалился от грустного зрелища...

Была уездная война. Звенигородский - предводитель свергнут. Звенигородский - председатель забаллотирован, введен институт земских начальников,— одним словом жизнь обновилась. На месте предводителя очутился князь Шахаев, на месте председателя управы — тоже князь Шахаев и притом — тот - же самый князь Шахаев. Теперь, если бы мы стали обличать председателя управы Шахаева, то беспристрастную защиту он вынужден был бы искать... у самого себя, предводителя.

Этому обновителю уездной жизни — 60 с хвостиком. Мне пришлось его видеть в губернском собрании. Это — старая развалина с манишкой, покрытой нюхательным табаком и слюнями. В собрании он вечно спит, расплывшись в кресле — и вечно жует корень жень - шень. Во внимание к его княжескому званию,— его почтительно одевают в шубу и треух швейцары и выводят под руки. И однако, даже сюда в губернский город его сопровождает

небольшой гарем юных сунамитянок из цыганок, которые ждут его в почтовой гостиннице, чтобы окружить заботами сего древнего Давида...

Итак князь Шахаев обновляет уезд.

Недавно в уезде был опять человек из губернии, на сей раз не геолог, а член губ. управы по страховой части. Он об'езжал уезды, производил ревизию страховых сумм в Арзамасе, где предводитель и тоже председатель управы М. И. Степанов,— по выражению местных жителей — до обеда пьет, а после обеда плачет... А между слез и выпивки — глядит, как у него под носом растрачивают г. Смагин, дворянин, и г. Кащеев — купец (первый особенно). Однако — это только к слову.

В Ардатове пришлось разбирать жалобы председателя на разные обиды. Князь Шахаев пришел в № к члену губ. управы.

— Во-первых, дайте мне портвейну, а во вторых, имею три претензии. Первая: зачем прислали Ф. И. Лазаревского?[1]

— Для исследования саранчи.

— Вот! А он смотрит поля, замечает еще каких-то жучков, все записывает.

— Так что же?

— Да ведь он вот пишет в губернскую управу про нас, и нам присылает копии.

— Очень любезно с его стороны.

— Да! Напишет, что опять неурожай — мужичишки опять ссуду запросят.

— Еще что?

— Зачем опять „отряд“ прислали?

— Для лечения тифа.

[1] Ф. И. Лазаревский, земский статистик.

— Опять это Л-ский написал.

— Да ведь люди у вас мрут.

— Мрут, мрут... Да ведь не от тифа мрут. Никакой эпидемии нет. Божия воля...

— Ну, да ведь отряд послан не непременно для тифа, успокойтесь. Отчего мрут, для того и посланы врачи. Вы должны быть благодарны.

— Да вы всегда так. А за этих господ тоже благодарить? На Россова я жаловался. Эй, вы, слышите,— обращается председатель к двум страховым агентам, которые сидят тут-же и смеются.—Георгий Робертович[1]— вам начальник, так? А видите, в каких я с ним отношениях... То-то...

— Итак. Вы жаловались на Россова.

— Жаловался, и нельзя не жаловаться. Дело Липкина с Пономаревым знаете?

Дело Липкина, кулака, с Пономаревым (рабочим на заводе) состоит в том, что последний выстроил забор и баню в промежутке в 5 сажень между домами обоих. Земля спорная, но, разумеется, до этого дела нет страховому агенту. Так как баня, строение опасное в пожарном отношении, вторглась на 5-ти саженный промежуток незаконно, то страховой агент возбудил иск о снесении бани. Забор из жердей никакой опасности не представляет, и потому агент не упомянул в его иске о заборе. Между тем Липкину мелькнула идея: если председатель велит агенту требовать и снесения забора, то спор о земле решится при сем случае сам собою. Агента позвали к Липкину, и председатель, сидя за столом, уставленном закусками и бутылками, тут-же отдал приказ агенту: непременно

[1] Г. Р. Килевейн, нижегород. обществ. деятель, в то время член губ. зем. управы, заведывавший страхов. отделом.

возбудить дело об опасности в пожарном отношении также и городьбы. Агент ослушался (нигилист!).

Тогда председатель Шахаев возбудил это дело сам. Дело поступило в с'езд земских начальников, в котором председательствовать явился... предводитель князь Шахаев. Кто-то из земских начальников возбудил вопрос о незаконности такого совмещения лиц: истца с председателем и потребовал отвода.

— Нет, каковы подлецы! — негодовал, рассказывая об этом, князь.— Так ведь и не допустили. Я, разумеется настаиваю: то я председатель управы, а тут — предводитель. Не слушают, говорят: если угодно, оставайтесь, тогда мы все уйдем. Хорошо. Когда так, я схожу с председательского места и говорю: в таком случае,— я в качестве доверенного от земства.

— Позвольте уполномочие.

— Какое уполномочие? Но ведь я председатель управы.

— Пожалуйте уполномочие от всей управы.

— Но ведь управа — это я!

— Есть еще члены, статья такая-то...

— А! статья такая-то, хорошо. Вижу, в публике сидит член, Семен Семеныч.

— Семен Семеныч, говорю: ты меня уполномочиваешь? — Так точно! Ну, и я тебя уполномочиваю. Занесите в протокол.

Занесли, и недавний председатель с'езда явился в нем горячим защитником интересов кабатчика.

— Все таки отказали. Отказали по каким-то статьям... Тоже, я вам скажу — и земские начальники...

Стук-стук. Лакей докладывает, что члена управы просит какой-то господин. Выходит. В коридоре Яков Ив. Ходаков, ныне земский начальник. Либерален — и потому, помилуйте... если бы не нужда, ни за что не

пошел бы в этот „институт“. Яков Ив. весел, удачно обделал дела, узнал, что почтенный Г. Р. здесь и решил провести вечерок.

— Очень рад.

— Кто у вас?

— Князь.

— С этим подлецом не кланяюсь. Пойдем ко мне.

— Как же я оставлю своего гостя, согласитесь.

— А, плюньте. Не хотите? Ну, хорошо, идем хоть к вам, черт с ним.

Входят. Враги сначала смотрят друг на друга, потом Яков Ив. подходит первый и, не глядя, протягивает руку.

— Если бы не в квартире почтенного Г. Р. ни за что не подал бы руки.

— И я тоже,— отвечает князь, подавая свою через плечо.

— Вообразите,— взволнованно говорит Яков Ив.,— этот господин... да-с, этот вот господин написал на меня губернатору телеграмму в 12 р. 65 коп.

— Написал, и написал,— говорит князь.— Имею право. А вы на меня не можете...

— Да-с, приезжаю в с'езд,— говорят так и так. На 12 р. 65 коп.! — Не может быть.— Верно! — А, когда так, плюю я, тьфу, на вашу телеграмму, вот как, вот как вашу телеграмму (плюет и ожесточенно растирает ногой).

Старый князь смотрит с чувством удовлетворения.

— А все таки написал... На 12 р. 65 коп. И могу, а вы не можете. Я высочайше утвержден.

— Позвольте, господа,— вмешивается член управы.— Неужто нельзя миролюбиво...

— Ну, извините. Вы правы. А все таки,— нет, подумайте! Какой нибудь старый...

Яков Ив. взглядывает на князя и оканчивает смелее:

— ... хрыч, который, вот видите, уже засыпает, пишет на тебя телеграмму в 12 р. 65 к....

— Послушайте...

— Да вы думаете, он слышит? Спит.

Член Управы смотрит и видит с удивлением, что князь уже спит, производя жабрами что-то в роде жевательных движений... Яков Иванович смотрит на него с ненавистью.

— Старая рраз-звалина!

— Яков Иванович, а кто его выбирал?

Яков Иванович ударяет себя в грудь.

— Я! Я-с. Свергнул Карамзина,— возвел Звенигородских. Свергнул Звенигородских,— возвел этого хрыча. Думал все к лучшему, и все из кулька в рогожку... У-у!..

Князь издает храп беспечный, точно у младенца.

— У-у!.. Не могу видеть равнодушно. Эй! Васька! Васька-а!..

Входит лакей.

— Убери!

— Невозможно!

— Это отчего еще? Убери, тебе говорят.

— Невозможно, Яков Иванович. Им теперича требуется два часа спокою... Мы довольно знаем. А как ежели их поворошить,— они драться зачнут. Поверьте-с, мы это знаем.

— Ну-ну, не разговаривай. Бери слева. Неси в мой №.

Оба осторожно подходят, берут старого князя под-руки и Яков Иванович, сохраняя на лице выражение вражды и отвращения, с напряжением помогает тащить его. Князь начинает сердитее водить жабрами и в лице является выражение свирепости, хотя глаза закрыты. Руки инстинктивно ловят в воздухе, как будто стараясь схватить кого-то за волосы... Васька старается отвести свою голову с густыми курчавыми волосами, Яков

Иванович, на лице которого проступает сверх других чувств, еще крайнее негодование,— тоже следует его примеру, неловко ворочая шеей...

Князя, наконец, уносят.

(Сделать из этого очерк под заглавием „Обновленный уезд“) [1].

13 ноября 93 г.

МОИ ДЕТИ.

Вопросы „высшего порядка“ все продолжают задевать моих детей. Дня три назад Наташа мне сказала среди разговора о Леле:

— А Надя какая глупая. Говорит: которые о своих детках плачут, то они прилетают. Это неправда?

— Да, это неправда, деточка...

— А когда я умру,— я тоже все буду слышать?..

— Все мы умрем когда-нибудь, но это еще не скоро, и что с нами будет, хорошо никто не знает.

— Нет, а когда я умру...

Я прекращаю разговор.

Сегодня Соня с какой-то особенной любовью предлагает посмотреть, какой у нее есть бог отличный. Она развертывает,— это издание Сытина, Христос в хлебном поле, Густава Доре...

— Вот,—указывает Соня,—бог. Отличный. Прочитай, папа.

Я читаю и рассказываю своими словами текст о субботе.

— Какой умный! Самый умный из всех. Нет, бог умнее.

— Но ведь и Христа тоже считают богом, деточка.

— Нет, тот бог, который его сделал, тот еще умнее.

Наташа в виде вопроса:

— И божии племянники... они тоже боги?

[1] Очерка под таким заглавием или на такую тему в рукописях В. Г. не имеется.

— Какие божии племянники?
— Те, которые с ним... рвали колосья.
— Ученики, что-ли?
— Ну, ученики, ученики.
— Они не боги, что-ты. Это такие-же люди.
— Они тоже боги! Тоже землю делают...

Вот из каких понятий понемногу слагается в их головках идея божества!

В „Новом Времени“ (7 ноября 93) № 6356 пишут:

Нерадостное впечатление производит напечатанный у нас в выдержках отчет о преподавании древних языков в петербугских гимназиях, помещенный в последней книжке „Журнала Министерства Народного Просвещения“. По поводу этого отчета „Русские Ведомости“ делают следующее замечание:

„Ревизия в петербургских гимназиях касалась только преподавания древних языков; желательно было бы, чтобы подобное расследование было предпринято и по другим предметам учебного курса и притом не в одном Петербурге“.

Мы слышали, что такое расследование действительно имеется в виду произвести в течение предстоящего года. Оно укажет, что в наших гимназиях далеко не все обстоит благополучно и что системы, считавшиеся непогрешимыми 20 лет, теперь дали не только сладкие, но и много горьких плодов.

Уж сколько раз носились слухи да и дейстоительно производились эти „расследования“. Несколько лет назад были спрошены педагоги,— и даже они (спрашивают, значит можно говорить!) нарисовали мрачную картину состояния гимназий! Само правительство повидимому не раз уже манифестировало свои сомнения в правильности ныне действующей системы. Но... таково уже состояние нашего государственного организма, что у нас не хватает жизнеспособности даже на небольшие перемены.

Помню, мне рассказывали, что среди студентов, запертых во время университетских беспорядков года 4 назад, издавался юмористический листок. Там, в отделе телеграмм было напечатано: Важная новость из области среднего образования. В комиссии по вопросу о классической системе при министерстве нар. просвещения (а в это время была как раз такая комиссия) принято важное решение: в классических гимназиях уроки греческого языка будут заменены уроками латинского и — наоборот!

Автор телеграммы оказался пророком. Все осталось по старому. Сократили какие-то часы, но требования оставили старые — и все опять затянуло рутиной. Учителя жалуются на лицемерные заявления министерства, подрываемые секретными циркулярами. Округи регламентировали все. В окружном центре сведены все проволоки педагогического дела, там дергают веревочки и нажимают пуговки, и учителя только проводят центральные токи, как мертвые автоматы. Вместо ясных взглядов и обновляющих систем окружные мудрецы сидят сиднем над вычислениями. Учителя должны заносить в журналы все: прилежание, усердие, поведение,— все взвешено и выражено цифрами. Учитель записывает чуть не каждое движение своего класса, он заносит не только отметки за знание, но даже — сколько раз ученик просится до ветру. И вот окружной статистик с великим напряжением высчитывает все и вдруг... стук-стук-стук... запрос в гимназию из округа: у такого-то учителя на $2^1/_2{}^0/_0$ цифра выходов из класса превышает среднюю по округу... Об'яснить причину. И учитель ломает голову, и учитель начинает сокращать выходы, трусит, раздражается, кричит, не пускает... В нашей гимназии у одного такого учителя с мальчиком случился всех напугавший припадок, напомнивший холеру! А в это время летит уже другой запрос:

у такого-то средняя отметка поднялась вдруг на целую $^1/_2$. Чем об'ясняется это быстрое повышение? И опять — бедный учитель прибегает в класс взволнованный, начинает ставить двойки и единицы, мучительно напрягая ум, чтобы подвести свою цифру к средней... Цифра, средне-пропорциональные, отклонения, повышения — и под этой математической системой глохнет всякая жизнь, теряются из виду живые дети, стираются индивидуальности учителей,— все подводится под мертвую абстрактную среднюю.

И вдруг — какой-нибудь либеральный циркуляр. Отчего так много двоек? Иные учителя ставят двойки половине класса. Больше 5 двоек не должно быть...

А между тем дело просто. Окружная статистика, как всякие мелочные пустяки, когда нет настоящего дела,— разрослась до того, что покрывает прошлое, настоящее и будущее. Ученики кончили гимназию, поехали держать экзамены, получают на экзаменах отметки. И опять все цифры плывут в округа и там опять какой-нибудь мученик педагогической статистики, для которого вся педагогия уже давно приняла формы этих единиц и двоек с дробями, и который специализировался на скрупулезном уловлении в сотых дробях разных сторон педагогического дела,— такой мученик уже щелкает костяшками, считает, делит, множит и подсчитывает. N-ская гимназия. Средняя отметка в гимназии 3,334, на экзаменах в высшие [учебные] заведения ее воспитанники получили 3,225, разница 0,109; по предметам разница колеблется так-то, высшая... нисшая... И опять по истечении более или менее долгого промежутка стук-стук-стук... Заработала машина от центра к периферии: N-ская гимназия, Директору. Замечено... Директор кидается на учителей, идет разборка: отчего учитель такой-то в четвертом классе такого-то выпуска ставил отметки слишком щедро... Бог знает,—

может быть, в это время учитель был влюблен, ухаживал, женился, может быть, у него родился ребенок... и вот неумолимая окружная статистика уже уловила его „психическое настроение". Мертвящий ужас охватывает все винты педагогической машины. В классах паника, учителя не ставят больше двойки. Отчего? Да кому приятно через три-четыре недели, месяца, может быть года — получить замечание, что его четверки на $\frac{1}{2.345.921}$ превысили какую-нибудь экзаменационную среднюю... Лучше пусть экзаменационная средняя превысит его отметку на $\frac{2}{00.054}$, это не беда. И учитель придирается, кипит, раздражается, когда ученик отвечает хорошо, приходит в восторг, подловив его на каком-нибудь „исключении"... Дело доходит до того, что один учитель арифметики (известнейший из наших мучителей-мучеников) думал, думал и наконец придумал для своих дорогих питомиц такую задачку, которую не сумела сделать ни одна из целого класса! Ни одна! Все разошлись из класса с единицами, все принесли домой слезы и горе. Плачут дети, плачут матери, торжествует один учитель! Нет, уж теперь не будет превышения средней экзаменационной. И задача придумана очень ловко: на то правило, которое приходилось, по тому типу, по которому задачи делались в классе. Он только ввернул такое ничтожное условьице, которое с известного места захватывает ум бедной девочки и незаметно сводит ее с торной дорожки в чащу непроходимых ошибок... Да так незаметно, да так иезуитски-ловко, что пожалуй и он сам, еслибы это не *он* придумал,— мог бы попасться.

Он забыл одно,— хватил через край и перевалил слишком далеко от средней. Пугаясь превышения, он вбухался в принижение без меры. Он забыл, что учитель, у которого весь класс, после целого года занятий не пошел дальше 1,

перед которой уравнялись все способности, все таланты и бесталанности,— что такой учитель сам не заслуживает больше единицы. Совет спохватился, уничтожил этот экзамен (кажется, требовалось все таки сношение с округом) и „средняя отметка" поднялась до более сообразного размера.

Вероятно, пример мною приведенный,— далеко не единичен. По крайней мере недавно уже сам округ предложил учителям — не ставить в классе более определенного процента двоек за один раз. И я видел, как негодовали по этому поводу учителя, и не одни заматерелые мучители, далеко нет! Даже молодые и сравнительно очень порядочные люди! И это совершенно понятно: их выгоняли из убежища, где они считали себя более или менее безопасными от подхлестываний из центра. Их гонят за „превышения" отметок — они удаляются от предела на безопасное расстояние в сторону понижения. Их гонят и отсюда! Но куда же им идти? Я, помню, видел раз дрессировку мопса, которого нужно было учить ходить по круглому шесту. Каждый раз происходила вначале одна и та же история: мопс отскакивает влево от опасного моста; его подхлестывают. Тогда ловким прыжком он перескакивает направо и жмется, пугливо озираясь, у самого барьера, как можно дальше. И только последовательным подхлестыванием то с одной, то с другой стороны,— его наконец вгоняют на шест. И бедный, с тупым напряжением в глазах, идет, идет, пока может...

Конечно, можно таким-же образом, подхлестывая педагогический персонал, достигнуть чуть не идеальной самой прямолинейной, самой средней... системы отметок. Но и только! А разве системой отметок, хотя бы и идеальной покрываются все задачи народного образования?..

Увы! Нет. Этим достигается только общее отупение. Не надо забывать, что и в педагогии необходима та искра

божия, которая называется талантом. В общей экономии, разумеется, необходимы и средние, туповатые, но усердные полезности, а таланты всегда будут только в меньшинстве. Но в общей экономии также необходимы, еще более необходимы и таланты. Без них все мертвеет, высыхает и глохнет, живое дело превращается в мертвечину. А талант всегда индивидуален, этого нельзя забывать. Между тем, система, подводящая все к одной средней цифре — всего губительнее для всякого индивидуально проявляющегося таланта. Она их губит неукоснительно: она — или гонит их, так как они не ко двору в этой системе педагогических автоматов,— или же стирает в них всякие признаки индивидуальности и с годами обращает в такую-же машину. Это-ли нужно в нашей системе воспитания?

В нашей гимназии недавно произошла перемена. На место Миротворцева назначен Самойлович. Первая мера нового директора, которой он наметил свое дальнейшее направление: в каждом классе он завел по... унтер-офицеру из гимназистов!

17 ноября

СТРЕЛОК

Звонок. Входит какой-то господин, еще молодой в гороховом летнем пальто, светло-гороховой вязаной шапке, в длинных смазных сапогах, со снегом на каблуках и подошвах.

— Могу видеть Владимира Григорьевича Короленко?

— Я Короленко, Владимир Галактионович.

— Так, извините! Читаешь В. Г. Короленко, думал Владимир Григорьевич. Могу отнять 10 минут?

— Сделайте одолжение.

Снимает свое летнее пальто и светло гороховую шапку, вытирает ноги и вносит вместе с собой в мой

кабинет запах смазных сапогов и какой-то еще затхлости. Мы садимся друг против друга.

— Студент Минаев.

— Минаев?— переспрашиваю я, не дослышавши.

— Минаев... Слышали обо мне?

Короткий тревожный взгляд исподлобья.

— Нет, не слыхал.

— Хочу попросить об одном деле. Видите-ли... Позвольте закурить?

— Сделайте одолжение. Только я сам не курю и потому папирос не держу.

— У меня есть.

Идет в переднюю, достает из кармана сверток с табаком и скручивает неловкими короткими пальцами папиросу... Начинает говорить глухо, тихо, точно конспирирует и при этом как будто слегка задыхается.

— Исключен из Московского университета. Теперь еду в Петербург просить лично министра народного просвещения... Дорогой на пароходе у меня вытащили деньги... Денег, положим, было немного, но все таки мог бы доехать... Позвольте стакан воды.

Приносят воду. Пьет, ставит стакан на стол и говорит:

— Угнетает меня ужасно, что имею такой какой-то забитый вид... Положительно, можно принять за „стрелка“ по профессии.

— Это что за „стрелок“?

— Вы разве не знаете?

Я знаю, но мне интересно, откуда он приобрел это слово из тюремно-жульнического жаргона, которое употребляет так просто, без всяких пояснений, и потому я говорю, что слышу в первый раз.

— Термин такой, в пересыльной слыхал, в Москве.

— Что же это значит?

Мнется.

— Человек, который, знаете, придет к тому, к другому, выпрашивает...

— По какому-нибудь случаю,— говорю я (а про себя думаю: в роде пропажи денег на пароходе).

— Да. И так проводит всю жизнь.

— Скажите,— спрашиваю я,— вы здесь в Нижнем давно?

— Со 2-го октября. Кидаюсь туда-сюда. Обращался к присяжным поверенным, просил как бывший студент бывших студентов. Ничего не сделали. Говорят, что никто меня не знает... Тяжело.

Говорит все глуше и тише, но мне начинает казаться, что он стал спокойнее.

— Потом вспомнил, что здесь есть мой бывший учитель, Кролюницкий, по Саратову. Я искал образования, 17 лет поступил в Саратовскую гимназию, пришел пешком.

— Ну, что же Кролюницкий?

— Принял хорошо, отнесся ко мне порядочно... Мы, могу сказать, в отличных отношениях... Но сбора в мою пользу сделать не мог. Представил причины... Основательные.

Опять переводит дух и курит.

— Посоветовал обратиться к Аненскому[1]. Был. Могу сказать: только у него, да вот у вас не испытывал этого... тяжелого чувства... Анненский принял хорошо, но сказал, что для того, чтобы сделать что-нибудь, желает получить хоть какую-нибудь рекомендацию от Кролюницкого, единственного человека, который меня знает. Резонно.

— И что-же?

— Я написал Кролюницкому, так как в это время заболел и выходить не мог. Заложил пальто, выходил

[1] Ник. Фед. Анненский, известн. статистик, обществ. деятель и журналист (позднее член редакции „Русск. Богатства") близкий друг В. Г.

в летнем, простудился. Просил Кролюницкого навестить меня. Не пришел почему-то. Может быть, не получил письма... А я, разумеется, к Анненскому после того не ходил. Единственная надежда на вас... Сделайте сбор...

— Постойте,—говорю я.— Я, как и Анненский — люди не богатые, личных средств у нас не так много, чтобы давать каждому, кто попросит, тем более, что таких просьб не мало. И я, разумеется, отвечу вам то-же, что и Анненский; чтобы делать сбор, надо знать, чем он вызван.

— Я вот вам сказал.

— Да, но я не все понимаю. Прежде всего: вы студент Московского университета. У вас много товарищей, которые вас знают. Вам надо обратиться к губернатору с просьбой о билете...

— Получил, до Москвы.

— Тем лучше! Поезжайте и обратитесь к товарищам.

— Они народ бедный, притом не имею права жить в Москве.

— Ну, это не резон. Со 2-го октября вы живете здесь и давно могли бы известить товарищей о своем положении в чужом городе. Как ни трудно студентам, но все таки на их помощь вам прямее всего рассчитывать, а то согласитесь: ведь здесь-же никто ничего не знает о вас.

Потупляется.

— Тяжело говорить... Видите-ли... Нужно коснуться одной печальной истории. Какая-то умная башка вздумала пустить слух... будто я, знаете-ли,— как это случается, одним словом, будто я шпион.

— А!

— Да! Я по этому поводу много перенес, был одно время в психиатрической лечебнице.

— Какие-же у ваших товарищей были основания?

— Пил я... знаете-ли сами,— молодежь... Ну, пил в то время, тем более, что жил в Аржановке,— знаете вероятно, на Смоленском рынке.

— Знаю.

— Ну, поневоле приходилось ассимилироваться со средой! Вот и пил, а товарищи видят, что пью, знают — средств у меня никаких, а постоянно пьян. Ну, и пустили. Сначала я решил не обращать никакого внимания, долго так было. Но после того, близкие товарищи говорят: так нельзя.— А что же мне делать? — Ты должен выразить свое негодование... Иначе мы тоже от тебя отступимся...— Как-же? — Бить по мордам направо и налево. Ну, хорошо. Я и стал бить по мордам. Сделал несколько скандалов. Сижу раз... в Газетном переулке,— театр Омона. Впереди два студента. Вдруг слышу: моя фамилия и слово „шпион". Подхожу. Это вы сейчас сказали?— Я... Бац по морде. Вышел шум, однако, после этого протягивает мне руку: „Я вас уважаю". Вот, судите! „Уважаю!", а когда после мне пришлось обратиться к нему же с вопросом о фамилии студента, пустившего по рукам записку о том-же... не хватило мужества назвать... „Знаю, говорит, но не скажу, потому что вы его поколотите!"

— А за что-же вас исключили?

— Тяжело говорить, но если нужно... Вышло недоразумение с одним студентом. Об этом студенты заявили ректору. Преследовали меня. Всюду так и носится за тобой слово „шпион"; дошло до того, что, бывало, увидишь на улице студенческую форму,— переходишь на другую сторону. Ну, а тут,— недоразумение. Ректор поставил на официальную почву, пошло дело в совет. Конечно, если-бы я сдержался при совете,— могло бы кончиться ничем положительно. Но меня задело то, что постановкой

этого недоразумения, так сказать, на официальную почву пятнается честь студента...

— Что?

— Честь студента пятнается... Ну, я выругался... Исключен.

— За то, что выругались или по поводу „недоразумения"?..

— Отчасти по поводу недоразумения тоже. Тяжело и стыдно, но, если вам нужно, я расскажу, в чем оно состояло.

— Не трудитесь... Говорите то, что хотите...

Мой собеседник производит на меня странное, смешанное, тяжелое впечатление. Человек глубоко несчастный — несомненно, был в психиатрической лечебнице,— разумеется, отчасти от пьянства, но наверное также и от этого ужасного слова, которое его всюду преследовало... Был-ли он шпионом? Кто его знает. Студенты считают шпионом, начальство изгоняет из университета, полиция высылает из Москвы. А между тем, быть может, то же университетское начальство выслушивало его доносы, или та-же полиция давала ему жалование. Несомненно, что уже со времен Брызгалова[1] начальство университета вкоренило язву шпионства в студенческую среду,— с этого началось ее „оздоровление",— и во всяком случае — начальства наших заведений в лучшем случае не смеют отказать в приеме рекомендованным шпионам. С другой стороны,— возможна и ошибка товарищей,— такие ошибки и подозрения являются тем чаще, чем меньше для этого причин в самой среде. Самыми подозрительными я видел всегда людей, которым совершенно нечего было бояться и нечего скрывать. Как бы то ни

[1] Брызгалов — инспектор Московского университета в 80-х годах.

было,— от всей фигуры сидевшей теперь против меня несло чем-то тяжелым, отвратительным и жалким. Был-ли он шпион или нет,— несомненно только, что он ходил в какой-то сфере, где пьянство, шпионство и какие-то гнусные недоразумения перепутались так тесно, что уже не различишь, что было и чего не было. Одно только несомненно, что я видел перед собой настоящего „стрелка“ из студентов.

Ему не следовало произносить этого слова. Увлеченный ролью загнанного, но искреннего человека, раскрывающего наболевшую душу,— ролью, которая для него тем легче, что душа у него действительно наболела и что в ней все еще шевелятся остатки стыда,— он неосторожно сказал все таки настоящее слово. Теперь я смотрю, как постепенно он успокоился и „стрелок“ наивный в своем хладнокровии,— выглядывает на меня из-за этой душевной путаницы. Он обошел всех адвокатов. Лезин послал его к NN. Тот вышел, посмотрел и отвернулся.

— Ничего не могу.

Другие давали по 3, по 5 рублей, Елпатьевский[1] три рубля и пальто. Теперь ему хочется, чтобы я сделал сбор — рублей 40... Впрочем можно 35. С 25 рублями он решится уехать...

Он начинает уже давать мне советы, как это сделать. Он расположился у меня, свертывает папиросу за папиросой согнутыми пальцами, мусолит, склеивает губами, продолжая говорить и, повидимому, окончательно уверился, что по мне он „стреляет“ наверняка. А все таки — знает-ли он сам, что он уже форменный стрелок? Когда с ним случилось „недоразумение“, наверно необыкновенно позорное,—

[1] Сергей Яковлевич Елпатьевский — врач и писатель, близкий знакомый В. Г.

если уже он, рассказавший о шпионстве,— умолчал все таки об этом эпизоде,— то даже это „недоразумение" не помешало ему чувствовать на себе обязанность защищать „запятнанную честь студента"! И теперь, шаг за шагом он уходит уже давно в дебри попрошайничества, и все таки наверное искренне оскорбится, когда-бы ему сказали, что он уже „форменный стрелок". Я прекращаю его развязность.

— Послушайте! Сделать сбор в вашу пользу я вам не обещаю, для этого нужно больше сведений чем то, что вы сообщили. Вы вероятно согласитесь, что обстоятельство, что вас считали шпионом, может быть и несправедливо, и что с вами вышло недоразумение, о котором вам стыдно рассказать,— не причина, чтобы раскрыть в вашу пользу чужие кошельки. Вам, вы говорите, негде теперь ночевать,— вот вам рубль...

Я раскрыл кошелек; тусклый глаз „стрелка" мгновенно скользнул по нем и конечно, заметил, что у меня, кроме вынутого рубля, осталось еще несколько бумажек разных цветов...

— Послушайте, Владимир Галактионович,— заговорил он деловым тоном.— Вы можете сделать для меня больше. У меня заложено пальто,— хожу в летнем и то взято взаймы у прислужника на постоялом дворе.

— За сколько заложено пальто?

— За 4 рубля.

— Вот вам 4 р. 50 к.

Он берет деньги и в тусклых глазах начинает ходить что-то туманное, но довольно все таки понятное.

— Собственно, за пальто придется четыре двадцать или четыре тридцать...

— Хорошо! Давайте сюда эти деньги, вот вам пять рублей.

— Благодарю вас. Теперь скажите: хотите вы для меня что-нибудь сделать?

— Боюсь, что едва-ли вы представите какие-нибудь новые основания для сбора в вашу пользу. А лично я не могу давать большие суммы.

— Я бы уехал с 15 руб.

— Вы могли-бы набрать эти 15 р. давно. Вам давали и по 3 и по 5,— как вы сами говорили.

— Да, но я здесь живу давно, номер стоит 40 копеек, обед 50, кухмистерских в вашем городе нет. А знаете систематически ходить из дома в дом не хватает силы... нервной знаете-ли, силы не хватает.

— Больше сказать вам ничего не могу.

— Согласитесь,— начинает стрелок, слегка как будто обижаясь и с очевидной попыткой поставить отношения на нормальную почву,— со всяким может случиться и вы могли-бы оказаться в таком же бедственном положении.

— Бывал, и даже в худших. Но если уж вы говорите об этом,— должен сказать, что я выходил из таких положений не так.

— А как же?

— Вы казак и говорите,— имеете пай на Дону.

— Да,— я пай, положим, продал...

— Я стал-бы работать, заработал бы денег и с ними поехал бы в Петербург.

— Но я так и сделал. Я продал пай и поехал... Но я говорю вам... у меня на пароходе вытащили деньги.

Мы смотрим друг другу в глаза. Я не говорю ничего, а стрелок внезапно приходит к заключению, что пора уходить.

Он надевает в передней свое гороховое летнее пальто, слегка покашливая... И, глядя на него,— я не жалею, что он „подстрелил“ меня на пять рублей. Думаю, что

пальто он все таки выкупит. Если даже он когда нибудь и действительно доносил... Все таки, ему очень холодно. Лучше он, конечно, не станет и зла на свете будет столько же, а страдания от холода все таки несколько меньше...

21 ноября

Сегодня в „Волгаре" помещена длинная специальная телеграмма от 20-го из С.-П-бурга:

Петербург. 20 ноября. Высочайше повелено: конечный срок для выселения евреев в черту еврейской оседлости отсрочивается до 1-го июня 1894 года. Не следует прибегать до того времени к принудительной высылке лиц, которые заявят ходатайство об отсрочке выселения или не выедут в первоначальные сроки. Губернаторам предоставляется ходатайствовать об оставлении в местах временного пребывания на новые сроки, но не далее 1-го июня 1895 года таких не опороченных по суду отдельных лиц или целых семейств еврейского вероисповедания, коих имущественное положение или правовые отношения к христианам не могут ранее быть упорядочены. В случаях исключительных губернаторам предоставляется ходатайствовать об оставлении евреев в местах их временного поселения до особого распоряжения. Центральной власти не прибегать к принудительной высылке в черту оседлости бессемейных одиноких лиц 70 и более лет, не возлагая обязанности их призрения на местные общества. По губерниям Лифляндской и Курляндской евреев, поселившихся ранее 3 апреля 1880 года, неопороченных по суду, имеющих собственность или определенные занятия и заработки, избавляющие их от необходимости обращаться к благотворительности, оставить с семействами в местах их пребывания до особого распоряжения центральной власти. Евреев, поселившихся после 3 апреля 1880 года, выселить в места приписки в течении двух лет и окончательно к 1 июня 1895 года, для избежания массового выселения в несколько сроков, выселяя в каждый не свыше 25%, причем ближайший или более отдаленный срок должен быть назначен губернаторами, соответственно имущественному и семейному положению выселяемых и другим местным условиям. В случаях уважительных губернаторы ходатайствуют о распространении льгот, исчисленных в первом пункте, на лиц второй

категории, неопороченных по суду, когда они по своей законом дозволенной деятельности признаются особо полезными для местной торговли или промышленности. Распоряжение относительно лиц бессемейных, достигших 70 лет, распространить на губернии Лифляндскую и Курляндскую.

Итак,— некоторый отбой в еврейском вопросе, веяние „отсрочек" и льгот... И опять эта чисто-русская непоследовательность и бессилие мысли в важнейших вопросах, вместо какого-нибудь разумного решения. Теперь уже признается, что деятельность некоторых высылавшихся была „особо-полезна" для населения, и предоставляется полиции „усматривать" и классифицировать. И „вопрос" идет опять в затяжку. Когда такое право, как право ж и т ь и „заниматься законом дозволенными промыслами" делается своего рода наградой за особые добродетели, а полиция является решительницей в вопросах об этих добродетелях,— то совершенно понятно,— что между полицией и данной средой начинаются самые оживленные отношения. То, на что жаловались наши „националы"— обход закона — начнется опять на законном основании, и евреи опять начнут, во имя необходимости жить — просачиваться сквозь полицейское сито. Законы этой „диффузии" легко понять всякому, кто знает ту и другую среду. Нетрудно предвидеть, что наиболее добродетельными окажутся именно наиболее юркие, наиболее изощрившиеся в известных приемах убеждения полицейских властей. И опять бедная еврейская масса, чисто ремесленная и трудовая — окажется при наиболее трудных условиях, а худшие элементы еврейства станут мелькать всюду. И когда придет новое „гонение", то опять окажется, что законы нарушены,— и полиция станет доблестно вымещать на „жидах" свое собственное взяточничество.

Да, не отсрочивать, а только уничтожать нужно в корне несправедливые законы.

23 ноября

В „В[олжском] В[естни]ке“ напечатаны воспоминания о Добролюбове г-жи Островской, его бывшей ученицы (17 ноября, № 296). Наружность и внешние манеры Добролюбова обрисованы в этой статье с яркостью и мелочной подробностью, на которые способны женщины. Впрочем, ничего особенно нового эти воспоминания не дают. В следующем № (297) „вспоминает“ о Добролюбове „Сверчок“, т. е. Лаврский, человек 60-х годов и, говорят, человек очень хороший. Это очень вероятно, но я совершенно не выношу его писаний. Это какая-то смесь народничества, толстовства и еще каких-то специфических веяний, в общем порождающая лишь туман и миазмы. У Чехова в одном рассказе говорится: в каждом городе есть свой человек 60-х годов, от которого разит затхлым погребом. Характеристика злая и несправедливая,— но нужно сказать, что действительно „в каждом городе“ есть люди, себя пристегивающие к 60-м годам, а от них разит плесенью всех периодов русской истории. Дело доходит до того, что некто г. Дурново из „Моск. Вед.“, некогда либеральный адвокат, частию червонный валет и целиком — своекорыстнейший и грязный ренегат,— на днях (числа 21—22) — изругав в „Моск. Вед.“ все стремления 60-х годов,— засим меланхолично прибавляет: „много-ли осталось н а с, истых шестидесятников, бестрепетных и неподкупных“! „Сверчок“, „Деревенский Житель“, „Старый Воробей“ (псевдонимы Лаврского, много работавшего в местной прессе и в „Неделе“) — разумеется, далеко не похож на этого господина, но, как человек 60-х годов, он тоже фигура странная. Человек 60-х годов — и толстовец с наивнейшим преклонением перед теорией непротивления. Человек 60-х годов — и наивный враг „отвлеченной науки“, к которой причисляет даже — геологические исследования

оврагов (я помню его горячие обличения по поводу экспедиции для исследования причин образования оврагов. Мужику,— писал он,— есть нечего, а баре занимаются баловством.— И это писалось в то самое время, когда овраги с'едают ту-же мужицкую землю, точно язва!). Наконец — н а р о д н и к, то и дело уязвляющий „интеллигенцию“ (что не мешает ему-же и прославлять ее самым слащавым образом) — и в то-же время учивший молодежь, приехавшую к нему в голодный год,— шарить в мужицких печах, разыскивая скрытый хлеб. Мне рассказывали в Петербурге, что одна бедняга курсистка, выполнявшая этот народнический обыск — испытала на себе, как это нравится народу: баба плюнула ей в лицо!

Теперь этот человек 60-х годов вспоминает о Добролюбове. Он встретился с ним в Нижнем, в конце июля или начале августа 1861 года.

„Он встретил меня очень приветливо, и я могу засвидетельствовать, что общеизвестный его портрет, приложенный при собрании его сочинений, дает о лице Добролюбова совершенно неверное представление. Живая, подвижная физиономия, что-то ласковое и любящее в светлых глазах, мягкая улыбка,— все это делало Добролюбова чрезвычайно привлекательным, несмотря на некрасивый облик его лица. Добролюбов расспрашивал меня немного о казанском университете и студенчестве, но эту часть разговора я совсем не помню. Помню только, что он скоро перешел к литературным интересам и тотчас-же оживился, коснувшись этой темы. Он высказывал свое удивление, что его не понимают даже в „либеральном“ лагере прессы. Речь шла о его статье: „Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами“.—„Говорят: как можно нападать на такую светлую личность, как Пирогов? Да ведь Пироговых-то именно и не следует щадить, если они сбиваются с истинного пути. Кому много дано, с того много и спросится. Уж если Пирогов защищает розгу, так чего-же ждать от других. Нет, он заслуживал того, чтобы к нему отнестись беспощадно“.— Не ручаюсь за точность переданных выражений, но мысль была именно эта самая; она и проведена им в статье: „От дождя да в воду“, появившейся в августовской книжке „Современника“ за 1861 г.

„Чего не могли понять „либералы“ 60-х годов,— неожиданно заключает „Сверчок“,— то еще меньше, кажется, понимается и в наше время. Вопреки завету той эпохи поэта —„Не сотворим себе кумира!“— натворили себе кумиров такое множество, что скоро ни о чем нельзя будет говорить: того нельзя трогать, этого нельзя касаться, о том-то неудобно говорить в порицательном смысле,— и все это не по цензурным условиям, а вот именно в силу тех-же мотивов, какие выставлялись против Добролюбова за его „неполитичное“ отношение к „светлой личности“ Пирогова. В сущности, это также нелепо, как если бы астрономы стали замалчивать существование пятен на солнце, а между тем „прямолинейные“ господа до сих пор этого не понимают“.

Опять понесло как из погреба — полным отсутствием живого чутья и формалистикой этого сближения. Добролюбов боролся с розгами. Пирогов напечатал правила, „как надо сечь“. Понятно, что Добролюбов обрушился на Пирогова. Пирогов был жив, генерал, популярный ученый в полной силе, Добролюбов был только публицист, и все живые сердца стали все-таки на сторону публициста, потому что Пирогов в тот раз погрешил по отношению к жизненному вопросу. Теперь из разных лагерей раздаются нападки на того-же Добролюбова. Он мертв, память его и его идеи — в опале и вдобавок эти идеи и до сих пор прогрессивны. Вот у господ, свободно заявляющих, что после Белинского у нас уже не было критики, и развязно третирующих Добролюбова,— спрашивают: где-же их новые идеи, во имя которых они посягают на это дорогое имя? И г.г. Сверчкам от которых разит, как из погреба,— кажется, что эта развязность борьбы с гонимыми покойниками должна быть приравнена к той смелости, с какой эти покойники боролись с живыми авторитетами своего времени!.. Теперь, когда розга, с которой воевал Добролюбов, опять вторгается не в одни школы,— когда вся темнота темного царства опять надвигается на нашу жизнь,— эти храбрецы не находят ничего

лучшего, как „мужественно ополчаться“ против теней Добролюбовых и Чернышевских.

К сонму этих людей „нового слова“ прибавился г. П. Перцев[1] в „В. В-ке“[2]. Сделав экскурсию в С.-П-бург, где он пытал свои силы в критике (в „Р. Бог.“),— он увы! вынужден вернуться в Казань. Несмотря на всю ревность, с какой он старался попасть в тон Мих[айловского][3] и Протопопова[4],—этот „несобранный“ господин, как его характеризовал Гарин[5],— оказался совершенно неподходящим. И вот теперь он берет критический жезл в Казани и примыкает к „новаторам“. В „Русск. Бог.“ он еще недавно иронизировал над взглядами Мережковского[6]. Здесь он об'являет того-же Мережковского вместе с Андреевским[7] и Меньшиковым[8] (из „Недели“) глубокими критиками, сказавшими уже „новое слово“. В чем-же оно? В идеализме! В чем же идеализм? В том, что художник не должен только списывать с натуры, но еще и воссоздавать. Первого якобы требует „реализм“! Кроме того, что есть, художник должен давать и то, что должно быть, кроме действительности,— еще идеал! Все это глупость, в этом виде, и вдобавок ни слова нового. Глупость —

[1] П. П. Перцев, журналист, критик.

[2] „Волжск. Вестник“.

[3] Ник. Конст. Михайловский (1842—1904), знаменитый публицист, социолог и критик, редактор „Русск. Богатства“.

[4] Мих. Ал-евич Протопопов, критик.

[5] Ник. Георгиев. Гарин-Михайловский (1852—1906), известн. беллетрист.

[6] Дмитрий Серг. Мережковский (род. 1863), известн. писатель — поэт, беллетрист, критик.

[7] Серг. Аркад. Андреевский, юрист и критик (род. 1847).

[8] Мих. Осип. Меньшиков, публицист, сотрудник „Недели“, впоследствии один из столпов „Нов. Времени“.

в спутанности понятий — из которых некоторые — понятия хорошие и весьма старые. Требование того,— что д о л ж н о б ы т ь — породило у нас целую литературу „положительных типов“ в 60-х и частью 70-х годах, а при таком своеобразном понимании требований и д е а л а (что должно быть) — весь Гоголь пойдет на смарку!

При сем Тургенев разбивается критическим молотом г. Перцева на 2 части: в мужских своих типах — он реалист (точно списывает, не воссоздавая ?), в женских — идеалист!

Все эти глупости,— сплошь адресованные не по тому адресу, куда надлежало (ибо такую глупую „правду жизни“ в литературе проповедывал разве один Чуйко [1], ныне тоже примкнувший к новому слову г. Волынского [2]!) — напечатаны в № 295 „Волжского Вестника“, который я и откладываю на всякий случай в собрание литературных курьезов, как материал. Куда-то еще дальше пойдет это младенчески нахальное невежество и развязность...

28 ноября 1893

В сегодняшнем № „Волгаря“ напечатана телеграмма.

П е т е р б у р г. 27 ноября. Журналу „Русская Мысль“ об'явлено второе предостережение, за статью „Социология на экономической основе“, в которой изложены крайне вредные учения социализма, при чем автор, прикрываясь незначительными возражениями и оговорками, очевидно имеет целью пропагандировать их вслух.

Прекрасная иллюстрация к вопросу о том, караются - ли у нас „взгляды“— или только личные нападки, как доказывал Гардену [3] министр Витте. Нужно прибавить, что

[1] Влад. Виктор. Чуйко (1839 — 1899), литерат. и худож. критик.

[2] Аким Львов. Волынский (Флексер), род. 1863, критик и историк искусства.

[3] Максимилиан Гарден (псевд. Apostat), известн. немец. журналист, редакт. журнала „Die Zukunft“.

оценка статьи Гольцева[1] здесь основана на чистом недоразумении: Гольцев действительно полемизирует с Лориа[2] и опровергает мнение об исключительном влиянии экономических факторов на социальные явления. Самый же социализм тут, собственно, вовсе не на первом плане.

О. Иоанн Кронштадтский[3] выпустил недавно книгу: „Моя жизнь о Христе", которая недавно вышла уже 4 изданием. Сам он говорит о ней, что ее содержание „есть не иное что, как благодатное озарение души, которого я удостоился от всепрощающего духа Божия в минуты глубокого к себе внимания и самоиспытания, особенно во время молитвы. Когда мог, я записывал благодатные мысли и чувства и из этих записей многих годов — составилась теперь книга".

Хорошая рекомендация, нельзя однако сказать, чтобы о. Иоанн обладал авторской скромностью. Разумеется, очень интересно прочитать произведение, внушенное „благодатным озарением",— нужно однако сказать, что озарение не внушило ничего, кроме жиденьких и банальных поучений,— в роде следующих: „Мы образ божий, а Бог есть любовь. Будем же жить в любви, поревнуем об ней всеми силами. А земное все, все снеди, одежды, деньги, сочтем за сор и не станем из-за сору прогневлять Господа, угрызая друг друга, враждуя друг на друга"... И т. д.,

[1] Викт. Ал-дров. Гольцев (1850 — 1906), известн. публицист, редактор „Русск. Мысли".

[2] Лориа, итальянский экономист.

[3] Иоанн Ильич Сергиев, свящ. Андреевского собора в Кронштадте, пользовавшийся огромной популярностью и славой „чудотворца".

и т. д. Все сие сказано в других книгах, даже не претендующих на „благодатное озарение“ — и сильнее, и лучше.

На днях еще „стрелок“. В мое отсутствие два раза приходил „окончивший технолог Черненков“, и во второй раз упал с лестницы. Тотчас после обеда — звонок, входит высокий господин лет 35, в летнем пальто и с женским платком, но в виде пледа на плечах.

— Извините, что побеспокоил (шаркает ногой и запахивает плед, видимо позирует развязно, „по-студенчески“).— Окончивший технолог, два года жил за Печерой и в Мезени. Слыхали, может быть,— Сибиряков, вознамерился внести свет в страну мрака... Но не удалось, знаете-ли...

— Чем могу служить?..

— Возвращаюсь из Мезени в Петербург. Захворал... перенес 7 месячный период, ассимилироваться с климатом — никакой возможности. Средств передвижения — никаких... Вот изволите видеть... Подавал на высочайшее имя... получил пособие, но теперь — на мели-с. Вот-с бумаги.

Вынимает из кармана бумагу: „Всемилостивейший государь... Обращаюсь к вашей гуманной особе“... Внизу удостоверение священника и надписи карандашом: „дано 30 р., дано 20 р.“. Бумага, повидимому, имеет в виду показать, что давать следует не копейками...

— Да-с, вот изволите видеть... Теперь вынужден обратиться к вам... Доктор Радзевич послал к Елпатьевскому и к вам... (почему д. Р-вич считает нужным направлять к нам „стрелков“ — не понимаю, но это уже не первый раз). Бедствие мое доходит до такой степени, что поверите, кроме слюней — ничего во рту не было...

— Кроме слюней,— ничего во рту,— повторяет он опять, повидимому в рассчете на особую силу этой фразы.

— Позвольте,— говорю я: — что у вас, кроме слюней, была во рту водка,— это для меня совершенно очевидно по запаху...

Моргает глазами...

— Совершенно верно... Не имею привычки скрывать: действительно я недавно выпил. Это справедливо вы заметили: выпил... Но... однако...

— Одним словом, я не люблю, чтобы меня дурачили. Спрячьте ваши бумаги и возьмите вот 15 коп. Больше ничего не могу для вас сделать.

— Благодарствуйте... Бедствия мои, могу сказать (я в это время направляю его деликатно к дверям)... превосходят всякое описание... Вопиющая правда, милостивый государь, должна же кажется сама за себя говорить.

— До свидания — и не упадите опять с лестницы [1]...

3 декабря

Министр внутр. дел об'явил редактору газеты „Новое Время" строгое внушение за дерзкое осуждение морского ценза.

Интересно, что повидимому входит в обычай эта импровизированная и законом непредусмотренная репрессия —„выговоры" и „внушения" делаются редакторам,— как мальчишкам. Правда, это легче, чем воспрещение розничной продажи, но зато и унизительнее, потому что министр не имеет на это никакого права... (о внушении — сегодня телеграмма в „Волгаре").

[1] Здесь между страницами дневника вклеена позднее заметка, вырезанная из газеты „Волгарь" (от 8 апр. 1894 г.). В заметке приводится содержание просительного письма, обходившего в то время французскую печать: письмо это было послано президенту франц. республики одним нижегородским „стрелком", просившим у „друзей-французов" денег на предмет женитьбы и подписавшимся: „честный и благородный русский офицер".

Сегодня выехал в Петербург С. Д. Протопопов. По этому поводу — копия письма моего Д. З.[1]

4 декабря

Много говорилось и писалось о франко-русских торжествах. Либеральная часть печати относится к ним холодно. Особенно много говорили о „представительстве" нашей прессы, которое самовольно взяли на себя г. г. Суворин[2], Комаров[3], Татищев[4], Авсеенко[5] и де-Роберти[6]. Суворин горячо защищался против „Вестника Европы", но зато Гайдебуров[7] в одном из № „Недели" рассказал, какую в сущности жалкую роль играли русские писатели во время этих торжеств. Теперь в „Моск. Ведомостях" (3 дек. № 333) напечатано:

[1] Ал-др Ив. Деспот-Зенович, бывш. сибирский губернатор, член совета министра вн. дел. Письмо В. Г. к нему от 3 дек. 1893 г. (см. „Письма" кн. IV) написано было в связи с протестом С. Д. Протопопова (в то время-нижегород. судеб. следователя) против безнаказанности бывш. предводит. дворянства и председат. уездн. земск. управы Андреева. Последний совершил целый ряд хищений и растрат, покрытых в свое время заправилами Александровского Дворянского Банка. Протест Протопопова выразился в форме подачи частной жалобы в Сенат.

[2] Алексей Серг. Суворин (1834 — 1912), известный журналист, издатель „Нов. Времени".

[3] Виссар. Виссар. Комаров, издатель дешевой ретроградной газеты „Свет".

[4] Серг. Спиридонов. Татищев, публицист, сотрудник „Рус. Вестн.", „Нов. Врем." и друг.

[5] Вас. Гр. Авсеенко (род. 1842), беллетрист и критик, сотрудник „Рус. Вестника" и „Петерб. Ведом.".

[6] Евг. Велентинов. Де-Роберти (род. 1843), философ-позитивист, сотрудник „Петерб. Ведом.".

[7] Пав. Ал-дров. Гайдебуров (1843 — 1893), публицист, издатель „Недели".

„Во всех французских газетах помещена заметка о состоявшемся в Париже годичном собрании „Синдиката иностранной печати“ (Syndicat de la Presse étrangère) и о составе его комитета, выбранного на 1894 год. В этом комитете фигурирует в числе „делегатов“ некий г. Павлов в качестве представителя „Московских Ведомостей“ (Pavloff — Gazette de Moscou).

Во избежание каких-либо недоразумений, считаем нужным заявить, что редакция „Московских Ведомостей“ не знает никакого Павлова, который мог бы считаться ее представителем или корреспондентом в Париже“.

Итак, еще один „представитель“! „Московские Ведомости“, положим от него отказываются. Они его „не уполномочили“. Ну, а вся пресса, по мнению этих господ франко-руссов, отказаться не может! Итак, г. Павлов — будет себе представителем от всей прессы.

12 декабря

Вот уже 5-й день у меня сильно больна Наташа. С. Як. [Елпатьевский] определяет дифтерит, хотя и в легкой форме, осложнивший инфлюэнцию; сегодня и вчера — много лучше. Кажется, опасность миновала.—Первый раз сажусь сегодня за свой стол. Будет мне памятен этот год!

12 декабря [1]

Характерно для современного настроения. В палате депутатов в Париже анархист Вальян произвел взрыв. Принимаются на спех экстренные меры, голоса, призывающие к хладнокровному обсуждению предложенного закона,— заглушаются, палата вотирует закон подавляющим большинством.

[1] Дата повторяется в подлиннике.

Покушением все возмущены глубоко. Однако,— все таки западно-европейское общество не легко поддается панике,— уже через несколько дней мы узнаем, что международные меры против анархизма, предложенные Испанией,— отвергнуты прежде всего Англией и Францией. Нашим консервативным органам это непонятно, но совершенно ясно, что общество не желает отдавать себя во власть произвола из-за возможности еще нескольких бессмысленных покушений. Слишком много чести для г. г. анархистов. К сожалению, у нас, при нашей твердой власти,— достаточно одного тайного станка, чтобы отдать половину России во власть усиленной охраны. На западе, при всех министерских кризисах,— правительства менее нервны, потому что боятся общественного мнения. Довольно репрессий уже принятых. Первые отголоски взрыва затихли, и общество требует хладнокровия. Наконец,— нужно же понять, что порядок не колеблется до оснований — от первых покушений незначительной, хотя и дерзкой партии.

Вторая черта,— стремление свалить вину на социалистов. Черта обычная. Один очень умный социалист, полемизируя с анархическими теориями „индивидуального действия освобожденной личности“ — называет эту теорию ультра-буржуазной. Это — тоже сколок от laisser faire, ожидание гармонической игры индивидуальных стремлений, только в иной области. Социализм — есть известная дисциплина и основная его черта — признание эволюции и закономерного перехода от сущего настоящего к будущему. Это, конечно, современный социализм, как законченная программа. Теперь можно сказать определенно, что социализм есть в политическом смысле — р а б о ч и й п а р л а м е н т а р и з м, в Лассалевском смысле. Анархисты же — это партизаны и мародеры социальной борьбы, не признающие никакой партии, никакой организации. В наше

Смутное время — наряду с пробивавшимся сознанием русского единства и идеи общего отечества, которое надо было освобождать,— действовали так называемые „шиши", случайные шайки из всякого сброда, выбитого из колеи, озлобленного, несчастного и дикого. Они грабили, совершали всякие зверства,— чаще и охотнее над поляками, но порой и над нейтральными жителями или даже союзниками. Против них нередко посылались отряды и с одной и с другой стороны, и, конечно,— их образ действий обобщался очень охотно на всю „московскую партию". Но, конечно, шиши были только продуктом брожения, вызванного аномалиями Смутного времени и — освободительное движение совершалось своей великой чредой.

Анархисты — это „шиши" нынешней социальной борьбы, недисциплинированные мародеры, возводящие это отсутствие дисциплины в принцип, дающие волю худшим инстинктам, во имя яко-бы свободы, стоящей и на знамени других освободительных партий. И все виноваты в их появлении, а не одна передовая партия. Собственность есть кража,— говорит социалист и якобы анархист Прудон. В будущем — не будет властей, потому что люди не будут нарушать ничьих прав... И так я буду воровать,— говорит современный анархист — и теперь-же не хочу знать никакой партии и соподчиненности действий. И вот,— эти вещи ставятся в прямую зависимость. Собственность — есть кража,— т. е. нужно устранить институт собственности. Есть-ли тут похвала краже? Нет. Чтобы заклеймить ненавистное соц[иальное] учреждение, Прудон называет его кражей. „Откажитесь от принципа собственности, потому что это — кража".—„Крадьте, потому что в этом принцип собственности",— говорит современный анархист. Но ведь по этой логике нужно признать, что собственность хороша, чтобы освятить ее кражу!

Упражнением социального чувства, т. е. привычкой к солидарному, братскому действию — вы выработаете в будущем гармонический человеческий тип, которому уже не нужно будет внешнего стимула и принуждения... Это философский анархизм... Разнуздайте все антисоциальные чувства,—чтобы немедленно получить „гармонию" интересов,— таков современный антипод этой теории.

Однако, я хотел отметить другую сторону общественного настроения, вызванного покушениями анархистов. Чувствуемая многими необходимость широких и высоких обобщений, охватывающих вопросы нравственности и жизни в широком смысле,—приобретает тревожную остроту. Если верить газетам,— Золя отрекается от позитивизма. Вот его отзыв об анархизме:

Золя и анархисты. В тот самый вечер, когда произошел взрыв в Бурбонском дворце, несколько французских литераторов, принадлежащих в политическом отношении к самым крайним направлениям, собрались на свой обычный банкет, прозванный ими le banquet de la Plume. На этот банкет приглашаются иногда и некоторые светила современной французской литературы и публицистики, особенно Коппе, Шолль, Зола и Миньяр. На банкете, о котором идет речь, присутствовал именно Зола. Разговор, понятно, коснулся преступления Вальяна и анархистского движения. Одному из присутствовавших журналистов пришла в голову идея попросить каждого из обедавших литераторов записать в его альбом что-нибудь по поводу события дня. Зола пишет:

Aux époques troublées, la folie souffle et la guillotine pourra encore moins qu'un idéal nouveau [1].

Редакции „Journal des Débats" эта „мысль" показалась нуждающеюся в некоторых раз'яснениях, и она тотчас отрядила к Эмилю Зола одного из своих сотрудников. Зола не заставил себя просить и сказал:

„Видите-ли, есть два сорта анархистов: убежденные анархисты и „les fumistes", если можно так выразиться. О последних и говорить не стоит. Между ними есть такие, которые сегодня вопят: „Да здравствует анархия", а лет через двадцать будут сторонниками самых

[1] В смутные времена носится веяние безумия и гильотина сделает меньше, чем мог-бы сделать новый идеал.

суровых репрессивных мер. Убежденные — другое дело: они в самом деле полагают, что творят благое дело, совершая свои ужасающие подвиги. К какому оружию следует прибегнуть обществу против несчастных, подкапывающихся под самые его основы? Я, конечно, не отрицаю, что кровавое пресечение уже необходимо и неизбежно, что без него обойтись нельзя, но не думаю, чтобы оно имело целебные последствия. Ведь между анархистами есть фанатики, которые, всходя на эшафот, воображают себя мучениками. Недавно меня посетили два анархиста из пригородных местностей. Они явились ко мне с просьбою воспроизвести в газете, которую они намеревались выпустить ко дню призыва новобранцев, главу „Погрома", в которой описывается у меня перевязочный пункт после битвы. Я, понятно, отказал. Ради чего — сказал я им — вы намереваетесь показывать рекрутам в еще более черных красках военную жизнь, от которой вы их избавить не можете. Найдите средство уничтожить войну и, следовательно, постоянные армии и я буду ваш... И так, всеми средствами анархисты силятся распространять свою пропаганду, увеличивать число своих сторонников. Казнь одного из них, вместо того, чтобы запугать их, служит лишь предлогом к новым манифестациям. Пропаганда дела не состоит исключительно в покушениях, в бомбе, револьвере или кинжале, но и в наказании виновного, будь это Пини, которого отправили на каторгу, или Равашоль, который погиб на гильотине. Для большей части этих людей жизнь была полна неприятностей и горечи. Спору нет: они недостаточно боролись, но ведь энергия не особенно распространенная добродетель. Быть может некоторые из них носились с мыслью о самоубийстве, но не желали умереть, не отмстив прежде обществу, на которое они сваливают ответственность за свои невзгоды. Вы поймете, конечно, что я вовсе не стараюсь извинить виновников подобных покушений. Я стараюсь разведать, рядом каких падений они могли дойти до такого душевного расстройства. Я выразил вам свое мнение о репресивных мерах, к предупредительным мерам я отношусь совсем иначе. Я сторонник запрещения анархистских листков и закона о взрывчатых веществах, что-же касается свободы слова, то посягать на нее трудно и, главное, очень опасно, потому что это может открыть доступ произволу; при всем том, из двух зол должно уметь избирать меньшее. Сказать по правде, все средства к задержанию наступающей волны анархистских учений я считаю недостаточными. Что-же делать? Я, который так долго ратовал за позитивизм, да! после тридцатилетней борьбы я поколеблен в своих

убеждениях: только религия, только вера могла бы помешать распространению таких учений, но ведь ныне она почти исчезла! Кто даст нам новые идеалы?[1]

Только вера! Но старая вера доказала свое бессилие уже тем, что она отступила, что она подорвана, что она не выдержала борьбы с истинами, которые кажутся такими безотрадными и тяжелыми, потому что нашей старой вере не под силу поднять их, она, как слабый баллон — не летит с ними. Она требует от человечества: кинь этот балласт приобретенных тобою знаний, — и я унесу тебя в высь. Но это невозможно. То, что я узнал, — не в моей власти не знать более, — и я жду такой веры, которая может захватить меня, вместе с моим знанием, для которой самые эти знания будут уже не балластом, а одной из движущих сил...

Когда она придет, — такая новая вера, какова она будет, я не знаю. Знаю только, что нужно идти к ней, т. е. вперед, а не назад, неся на себе свое бремя...

22 декабря

Наташа совсем здорова, зато внизу опасно болен Боря[2]. Вот уже третий день почти без сознания. Вчера к вечеру было лучше, сегодня опять плох. Чувствую на себе силу поговорки: беда не ходит одна. Какая-то сгущенная атмосфера несчастий и угроз...

23 декабря

Боря умер неожиданно на четвертый день после заболевания.

[1] Курсив принадлежит В. Г.

[2] Боря, 13-тилетний племянник В. Г., сын М. Г. Лошкаревой.

После Бори захворали Маруся [1] и Вера [1]. Надю [1] и наших девочек развели по другим квартирам. Бориса хоронили в именины мамаши [2]. Бедная! Ей этот удар всех тяжелее.

Под новый год умер Гайдебуров [3].

[1] Дочери М. Г. Лошкаревой.

[2] В сочельник, 24 декабря.

[3] В записной книжке 1893 года на листке 31 дек. В. Г. написал: „Конец этого ужасного года!!"

1894 год[1]

Январь

Газеты комментируют на все лады речь нового министра юстиции Н. В. Муравьева[2]. Каков будет новый министр,— посмотрим, но что в речи отразилось странное и двусмысленное положение самого „закона“ в России — это несомненно. Лучший анализ этой речи дала газета „Русская Жизнь“ (№ 7, 9 января) в передовой статье[3].

28 января

Несколько дней назад С. Д. Протопопов подал в отставку. Оказывается, что новый министр юстиции просит его о том-же, о чем просил и старый, т. е., чтобы он взял обратно свою жалобу на воровство и хищения Андреева[4]. Очевидно, и теперь „раскрытие хищений посредством доведения об них до сведения высшего правительства“ — несогласно с видами последнего...

[1] Записи 1894 года заключаются в тетради, на переплете которой рукою В. Г. написано: „Год 1894 (и нач. 1895)“.

[2] Ник. Валер. Муравьев занимал пост министра юстиции с января 1894 по январь 1905 г.

[3] Далее в Дневнике вклеена обширная вырезка из упомянутой передовой статьи „Русской Жизни“. Опускаем ее.

[4] См. выше, стр. 227, запись от 3 декабря 1893 г. и примечание к ней.

2 февраля

КАК ДЕЛАЮТ РЕВОЛЮЦИЮ

„В итальянской газете „Sentiell di Brescia“ напечатана очень любопытная статья под заглавием: „Как делают революцию“. В ней рассказывается, между прочим, каким образом происходит в Сицилии конфискация имуществ неисправных плательщиков податей. Как в Скафи (провинции Палермо) были у некоторых семейств конфискованы недвижимые имущества за неуплату податей в размере 4, 6 и 9 лир! В провинции Сондрио конфискованы были в последнее время у местных кростьян принадлежащие им поля и леса, вследствие неуплаты ими податей в размере двух лир. В одном случае такая конфискация состоялась вследствие недоимки в 66 сантимов. В одном только декабре месяце в Сондрио было 363 случая аукционных продаж. В течение последних пяти месяцев 2.000 семейств в Сицилии были насильно удалены из принадлежащих им домов. Дело не ограничивается одними только отдельными лицами. Деятельность сборщиков податей простирается в данном случае на целые общины. Так, в Фонтанетто все общественные здания были проданы с публичного торга, а именно: ратуша за 28, детская школа за 18, сиротский дом за 87, бойня за 8 лир. От налогов не избавлены ни богатые, ни бедные. В особенности, они ложатся тяжелым бременем на чиновников, подати которых вычитываются при выдаче им жалованья“.

Эта заметка, взятая мною из „Волгаря“, обходит все провинциальные и столичные газеты. Если-бы италианцы читали наши газеты,— такое широкое распространение известия одной из их либеральных газет могло-бы несомненно способствовать значительному просветлению их взглядов на вопрос о том, как власти делают революцию. Жаль, что они наших газет не читают, но еще более жаль, что мы не можем писать о том, как делают революцию у нас. В письмах из уездов нашей губернии я получаю то и дело сообщения о немилосердном взыскании недоимок. В этом отношении например в Лукояновском уезде сходятся все партии: и „губернаторский“ исправник

Альбицкий и отставной корнет, а ныне земский начальник Ахматов. Этот щенок посадил раз в кутузку столько народу, что нельзя было сидеть, и люди почти задыхались. А вчера я читал письмо из Сарапульского уезда: там сборщики раз'езжают отрядами, точно неприятельское войско, и раззоряют население, еще не оправившееся от неурожайных годов — в лоск. На одном из заводов — бунт, вызваны войска, говорят, убит или сильно побит земский начальник. Сообщая об этом, автор письма, корреспондент газеты, прибавляет: „о моем корреспондировании — теперь особенно важно сохранить полную тайну. Надеюсь на Вас, не выдайте". Еще-бы! Ведь это очень опасно: вдруг корреспондент расскажет, как в Вятской губ. делают революцию! Недавно министр финансов Витте был заподозрен в рассылке циркуляра о „невыколачивании податей". Князь Мещерский тотчас-же сообщил, что это произвело чрезвычайно ободряющее впечатление на его дворника, который полагал, что теперь пошло мужику облегчение. Разумеется, министру пришлось оправдываться в возбуждении столь превратных надежд в дворнике кн. Мещерского и... последовало официальное заявление о том, что в издании такого циркуляра министр неповинен.

На днях казнен анархист Вальян, бросивший бомбу в палате депутатов. Он держал себя все время суда и перед казнью с достоинством. Нельзя сказать того-же о буржуазном большинстве палаты. Законы о печати и о мерах борьбы с анархией — предложены и приняты в момент возбуждения и испуга. По всей Франции пошли обыски, вскрытие писем, и министры читали выдержки из частной перехваченной переписки—с трибуны.

У Карно[1] не хватило гуманности и такта — помиловать Вальяна. Правительство боится, чтобы его не заподозрили в слабости и страхе,— не замечая, что такая боязнь сама по себе есть уже слабость перед чужим мнением. Действующий бомбами и убийством даже нейтральных — анархизм есть возмутительная нелепость. Но нужно-же признать, что он есть плод массы гораздо более возмутительных социальных нелепостей, закономерное устранение которых и есть задача всякого разумнаго правительства, задача, от которой оно не должно отклоняться ни воплями консервативных ретроградов, ни безумными крайностями людей, доведенных до отчаяния и сбитых с толку. Но французы, как и мы,— мечутся и кидаются, вместо того, чтобы идти твердо к намеченной цели,— и вот в чем сила покушений. Вальян,— которого сначала выставляли развратным маниаком,— теперь оказывается твердым и убежденным мучеником; его голова скатилась, но его легенда производит свое действие. Бомба Вальяна нанесла только несколько царапин... Но если-бы даже она имела более разрушительное действие,— нужно было сохранить хладнокровие, нужно было показать, что депутаты и вообще правящие — смотрят на себя, как на солдат, стоящих на посту, но не отступающих. Если порядок прочен,— он не дрогнет. Вальяну не удалось конечно своей бомбой водворить анархию. Но она все таки произвела огромное действие. Правительство дрогнуло и отступило назад в сторону реакции, а ведь это придает силу покушению. Вальяны — не ничто, не изолированные явления именно постольку, поскольку их боятся. Крайности реакции, в которые им удается вогнать трусливые правительства,— в свою очередь вызывают в обществе противоположные

[1] Карно, президент французской республики с 1887 г. В июне 1894 г. Карно был убит анархистом, итальянцем Казерио.

крайности. Все это происходит насчет умеренных и спокойных партий и насчет спокойного развития общества. Выигрывают и рекрутируются крайние лагери... Вальян на галерах,— конечно, причинил-бы Франции гораздо меньше затруднений, чем тот-же Вальян — в могиле, с ореолом мученичества за свою идею... странную идею бомб и взрывов!..

3 февраля 94

СВЯТОЙ КОНЦА XIX ВЕКА

Странную, но чрезвычайно характерную для нашего времени фигуру представляет кронштадтский святой и чудотворец о. Иоанн Сергиев, иначе называемый Иоанном Кронштадтским. Кто это? Заведомый шарлатан, или, наоборот, действительный подвижник, святой и чудотворец,— таков вопрос, на который получаются противуположные ответы, при чем мнения являются удивительно смешанными и порой вы получаете неожиданный ответ от людей, образ мыслей которых заставлял вас ожидать от них мнения как раз противуположного. Так, говорят, высшее духовенство с одной стороны,— смотрит на чудотворца весьма косо, считая его интриганом, и только необыкновенная популярность спасает чудотворца-протоиерея от „запрещения". С другой — рассказывают, что Иоанн Кронштадтский был призван даже к постели умирающего Щедрина!..

Я знал, или вернее встречал о. Иоанна в Кронштадте, когда мне приходилось жить в этом городе в 1872 и затем 1876 году [1]. Он крестил девочку моего двоюродного брата и бывал в некоторых знакомых домах. Тогда это был

[1] В 1872 г., будучи студентом Петербург. Технологич. Института, В. Г. наезжал в Кронштадт, куда переселилась его семья (мать и сестры); в 1876—77 г. В. Г. жил в Кронштадте под надзором полиции.

простой человек, с худощавым лицом, мягким выражением глаз и русыми волосами. Держал он себя без всякого ханжества, позволял себе сыграть в преферанс и охотно принимал приглашение „выпить и закусить чем бог послал". Но уже и тогда ходило много рассказов о его доброте к бедным, о том, что он всегда раздавал свое жалование „посадским", и что жена выхлопотала, наконец, чтобы жалование выдавали на руки ей... Потом, уже вернувшись из ссылки в Европ. Россию[1], я застал здесь всё возраставшую славу кронштадтского протоиерея. Говорили о чудесных исцелениях, о необыкновенной его святости и вообще личность Иоанна Кронштадтского обросла тем мистическим преклонением толпы, которое придает такую огромную гипнотическую силу. Газеты трубили (по характерному совпадению) одновременно о чудесах еврея Фельдмана,— гипнотизера, в значительной доле прибавлявшего, кажется, шарлатанство к действительной „медиумической" силе,— и о чудесах кронштадтского чудотворца. К сожалению, вместе с тем, к прежнему представлению о простой фигуре доброго священника стало примешиваться совершенно невольно что-то неприятное, отвращающее, нездоровое. В газетах проскальзывали, между дифирамбами,— коротенькие заметки о каких-то исступленных бабах, устраивавших в Кронштадте чуть не радения в честь чудотворца, и вообще движение подняло муть и грязь темного изуверства и невежества. Кажется, понемногу, добрый и слабый человек становился сам жертвой возникшего около него течения и, поверив в свою сверх'естественную миссию,— поплыл за уносившей его струей. В 80-х годах в той-же мелкой прессе, которая трубила о чудесах о. Иоанна, сообщалось также

[1] В декабре 1884 г.

о скандальном разбирательстве у мирового судьи: какая-то полковница, прежде державшая, так сказать, на откупу доходного святого, как-то оплошала, и святой перешел в другие руки. Полковница не помирилась с этой потерей и стала буйственно отнимать его в публичных местах и загонять в свое стойло. Раз, накинувшись на него при публике, она сорвала с него шляпу и ударила ею непокорного...

Вообще, быть святым в наш век очень трудно. Теперь „Р[усская] Жизнь" опять сообщает пикантный случай с тем-же святым, и опять известие исходит из камеры мирового судьи 22 участка гор. Петербурга, к которому поступил следующий протокол заведующего полицейскою командой на балтийском вокзале:[1]

24 февраля 94 г.

В газетах — оживленная полемика. Против „Гражданина" и „Моск. Ведомостей" — ополчилось даже „Новое Время". 22-го февраля Суворин напечатал статью „Каркающие viri obscuri"[2], в которой нападает на дворянско-сословные тенденции „Моск. Вед." и Мещерского. Это — знамение времени. Так именно и должен действовать роковой процесс, приводящий к неожиданным результатам: недавнее единение и кажущаяся сила — вскрываются

[1] В этом месте дневника — обширная вырезка из протокола о скандале на Балтийском вокзале, где произошла драка между поджидавшим Иоанна Кронштадтского художником П., желавшим увезти его к своему больному отцу, и сопровождавшей И. Кронштадтского купчихой Зайцевской. Ниже В. Г. приписал: „Бедный святой конца XIX века! Карета, кучер, выгоняющий „верующего" кнутом, точно собаку, и в довершение всего какая-то фурия „купчиха Зайцевская", держащая „святого" в повиновении и отпускающая его святость (по повышенной таксе?) к тем, кто сумеет ее упросить...

[2] Темные люди.

в противоречиях. Разночинец Суворин, тов. прокурора, член судебной палаты, учитель, даже священник, не говоря о купце и сельском разночинстве,— все это теперь уже насильно гонится в оппозицию слепой сословной политикой, опирающейся на падающее материально и нравственно дворянское сословие.

Любопытно однако положение, которое старается при этом занять газета Суворина, этот вечный флюгер, по которому всего удобнее судить о направлении ветра. „Все было хорошо в прошлом",— говорят одни. „Все будет хорошо в будущем",— ободряют другие. „Все превосходно в настоящем",— уверяет Суворин и, закрывая глаза на уничтожение выборного начала, земства, на стеснение образования, на скованную по рукам и ногам общественную инициативу даже в вопросах элементарной культуры, на армию земских начальников, разрушающих по лицу обширной России самое понятие о законности,— г. Суворин продолжает утешать нас, что наше правительство — не сословное, что самодержавие — гарантия против сословной исключительности и с точки зрения этой блестящей „современности"— громит наше прошлое...

28 февраля

Небольшой цензурный курьез: в „Волгаре" было напечатано, что я, в качестве заведующего библиотекой всесословного клуба,— значительно ее упорядочил и улучшил. Между тем, сначала вследствие своего путешествия, потом за болезнями в семье,— я совсем не занимался библиотекой. Поэтому я попросил Коробкина, автора заметки,— сделать поправку: каталог для библиотеки составлен моим братом[1] и Ульяновым[2]. К удивлению

[1] Иллар. Г. Короленко.

[2] А. И. Ульянов, нижегородский педагог и сотрудник местных газет.

редакции,— во всем № (на 28 число) оказалась вычеркнутой цензором — одна только эта поправка! Из каких соображений,— понять никто не может.

Вчера и сегодня отослал корректуру для 2-го издания „Голодного года". Первое выпущено в начале ноября 1893,— в феврале 94 уже разошлось,— впрочем издано было только 1000 экз.

1 марта 94 г.

Вчера происходило экстренное заседание думы. Губернатор привез из Петербурга „милостивую" резолюцию министра финансов на просьбу города о кредите в 950 тысяч. Обществ. работы, холера, в которую город платил по ордерам губернатора (более 200 тыс.), воровство Губина [1] — все это совершенно расстроило финансы Нижнего. А тут неотложные расходы: нужен водопровод, нужны бойни, подходит всероссийская выставка! Понятно, что кредит необходим. Вдобавок и теперь уже город занял 200 тыс. из собственного банка [2]...

3 марта

В Одессе, в городском театре, 15-го февраля в первый раз была дана одноактная опера „В грозу", сочинение В. И. Ребикова. Сюжет для либретто, написанный С. П. Плаксиным, взят из легенды В. Короленко „Лес шумит". (Из „Р[усской] Жизни", № 57, 1 марта 1894).

Я читал либретто этой оперы,— верх пошлости. Мой рассказ пристегнут только чисто внешним образом. Действие перенесено в одну из северо-вост. губерний,

[1] Губин, нижегородский городской голова.

[2] Далее 2 1/2 страницы Дневника, заключающие подробности относительно финансовых дел нижегородского городского самуправления, автором впоследствии перечеркнуты.

лица разумеется названы иначе и превращены в великороссов. Мой Опанас,— бандурист, гайдамацкий сирота,— превращен в опереточного злодея, Оксана — в Алену-институтку, мой дикий лес,— в рощу для прогулок. Кончается эта белиберда покаянием Романа:

„Бог и добрые люди,
Я убил! вы одни мои судьи!"

На что Оксана отвечает по непонятной логике:

„Не один! Слышишь лес как шумит!"

Прочитав все это в Одессе [1], куда ко мне явился автор, г. Ребиков (либретто написано цензором-поэтом Плаксиным),— я пожелал ему всяческого успеха,— но решительно отклонил от себя всякое участие в какой-либо доле сего успеха...

Теперь пишут, что успех был. Очевидно, для успеха оперы вовсе не необходимо присутствие в ней какого-либо смысла. Впрочем,— музыка может быть и недурна.

8 марта 94

На днях (27 февр.) „Русская Жизнь" и др. газеты сообщили о том, что лодзинские фабриканты вошли с ходатайством о законодательном сокращении рабочего дня,— мотивируя это ходатайство между прочим тем, что от этого производительность труда не становится меньше, а качество улучшается. Что в правительстве это не встретит деятельного сочувствия — это несомненно. Интересно, как отнесутся к этому „патриоты". Ведь Лодзь — так близко к границе, да и город польский... К тому же у нас, как известно, „нет рабочего вопроса".

[1] Осенью 1893 г., на обратном пути из Румынии.

10 марта 1894

ПАСПОРТНЫЕ КУРЬЕЗЫ

Интересное и всем известное следствие нашей паспортной системы отмечает в „Одесском Листке“ Фигаро.

Паспортный устав,— пишет автор,— к ряду сословий, признанных законом, прибавил еще одно — ни в каком законе не упоминаемое, тем не менее процветающее рядом с другими и до крайности умножившееся в последние десятилетия!.. Это сословие совершеннолетних детей, сословие лиц всяческого состояния, которые сами по себе круглый нуль в общественном смысле, но „паспортуются“ по отцу, потому что —„по отцу и сыну честь“...

Я знаю „сына надворного советника“ лет тридцати-пяти, я слышал о „сыне коллежского регистратора“. „Сын причетника“—очень обыденное из них, „сын оставного рядового из евреев“—звание оффициально записанное в документах, „сын ветеринара“ лет под сорок пять и давно имеющий собственных сыновей, „обер-офицерский сын“, „сын придворного служителя“...

В будущем, замечает автор, такой порядок вещей грозит дальнейшими осложнениями:

„сын“ до седых волос, разумеется, может иметь и своих сыновей и тогда нам неизбежно пришлось-бы познакомиться еще с новым типом —„сын-сына надворного советника“ или „внука канцелярского служителя“ и „правнука ветеринара“?!

Надо сознаться, что такой казус весьма возможен.

(Из Волжского Вестника, 6 марта № 58).

К этому следует еще прибавить „купеческих братьев“ и „купеческих племянников“. В Керчи воздвигнута широкая гранитная лестница, ведущая по уступам горы Митридата. Полагая, что это какой нибудь реставрированный остаток старины,—я подошел к доске, вделанной в гранит и прочитал, что лестница сия сооружена иждивением „купеческого брата“ такого-то. „Дочь сына коллежского советника“ — тоже явление обычное.

Недавно сообщалось о пересмотре паспортного устава и газеты возлагали (как всегда) большие надежды на эту работу. Теперь сообщают, что комиссия остановилась на некоторых пустых льготах, „дабы не лишать крестьянские общества средства к понуждению неисправных плательщиков,— невыдачею паспортов". И это понятно: нельзя ничего трогать в этом „беспорядке, приведенном в порядок",— по меткому выражению Никитенка [1],— не трогая главного.

Необходимо прежде всего новое освобождение крестьян,— и только тогда возможны будут дальнейшие разумные реформы остальных сторон русского быта. Иначе — все будет непоследовательно, все будет упираться в эту огромную стену.

А на это нет пока никаких данных. Даже, кажется, самая мысль недостаточно ясна для общества. У нас все кажется как-то так, что экономические реформы — нужны народу, политические — только „высшим классам". Тогда как экономичсские отправления самого народа опутаны сетью крепостных пережитков. Мужик все еще не свободен, он все еще „крепок" устаревшим формам жизни, он все еще связан в каждом своем движении. А с ним связаны и мы. Не говоря уже о свободе совести и веры,— в которой нуждается уже до 15 миллионов русского народа, исповедующего „раскольнические" и „сектантские" вероучения,— но и самая свобода лица в его передвижениях, в выборе занятий, в защите своего права, в первоначальном обучении, в выборе своего чтения, в открытии своей библиотеки, — все это вопросы чисто политические и непосредственно, настоятельно близкие всему народу...

[1] А. В. Никитенко (1804—1877), писатель, цензор, автор известных мемуаров „Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был".

18 марта 94

МОИ ДЕТИ

Дуня уехала в Москву, тетя — в театр. Мы пьем вечером чай, я читаю газету и, когда отрываюсь от чтения,— слышу продолжение ранее начатого разговора.

— Леля слышит нас,— говорит Наташа.

— Нет, не слышит,—отвечает на этот раз Соня.

— Нет, слышит... Ангелы всегда слышат... И слышит, что мы говорим: Леля слышит.

Обращаются ко мне. Я говорю, что это неизвестно. Люди, много людей говорят, что слышит и видит, но оттуда никто не возвращался и потому никто не может рассказать, как там.

— И царь не может рассказать? (Наташа).

— Конечно,— говорит Соня,— и царь. Он тоже не возвращался.

— А мы умрем, тогда узнаем, слишит или не слышит.

Соня смеется.

— Конечно, тогда узнаем: слышим ли мы или мы не слышим.

В Наташе пробуждается скептицизм:

— Как же видит? Глазов у нее нету, ведь у души нету глазов...

— Она, может, не видит и не слышит нас,— задумчиво говорит Соня, сидящая с головкой, опертой на руку.— Не видит и не слышит, а чувствует нас.

Это об'яснение нравится всем.

— Чувствует,— говорит Наташа.— И она с нами.

По внезапному наитию она взглядывает в окно, где на небе рисуется месяц,— и говорит:

— Как вот месяц. Я не иду,— что тут месяц, я пойду,— что тут месяц. Он не идет за нами, а будто все идет

за нами. И в одном окне месяц, и в другом окне месяц. И в последнюю комнату пойти,— и там месяц.

(Еще недавно она спрашивала, заспоривши с Соней,— один ли месяц виден из разных окон, или это все в каждом окне разные месяцы).

Разговор продолжается.

— А Соня говорила недавно: у бога такой есть инструмент, что захочет, то и сделает. И что мы попросим, все сделает.

— Нет, я не говорила, что мы попросим. Что сам захочет.

— А еще я думала прежде (Соня), у бога такой есть сундучек, где там тучи запираются.

Обе смеются...

— А тучи из океана.

— Тучи из океана,— повторяет Наташа.

— И из рек.

— И из прудов...

— Да, и из прудов...

— А я прежде думала,— смеется Наташа,— что на небе есть комодики хорошие.

— Да, она все говорила: на небе комодики...

Обе смеются.

—Там и так хорошо, без комодиков... заключает Наташа.

„Бывший бухгалтер контроля Орловско-Грязской и Ливенской дорог Натансон [1], переведенный контролером Николаевской дор., уволен от занимаемой им должности."

Эта заметка в „Орл[овском] Вестнике" (№ 148, 28 мая 94)— служит единственным отголоском в печати целой драмы. В половине апреля в Петербурге, Москве и

[1] Марк Андр. Натансон, известный революционер, отбывавший одновременно с В. Г. ссылку в Якутск. обл. См. о нем „История Моего Современника", т. IV, гл. XXX и XXXIII.

провинции произведено множество арестов. Взяты Натансон с женой, Тютчев [1] с женой, П. Ф. Николаев [2] (в Рузе) и масса других лиц. Говорят, будто случайность повела к открытию трех параллельно и независимо существовавших организаций, взята будто-бы тайная типография и открыт подкоп (?) в Смоленске... Кое-кто по этим делем уже выпущены (Керножицкая, отправившаяся в Кострому), Королев — видный железнодор. служащий, Струве,— экономист, писатель, человек, говорят, совсем кабинетный [3]. Очевидно, на дело смотрят серьезно и оно отразилось уже экстренной мерой в высших правительственных сферах. Во всех газетах напечатана следующая телеграмма, которую я беру из „Волгаря“ (№ 120):

От „Северн. Телеграфн. Агентства“.

Петербург, 27 мая. Опубликован именной Высочайший указ: „Признав необходимым высшее наблюдение за безопасностью Императорских резиденций, равно главный надзор за безопасностью пути во время Высочайших путешествий, возложить на особо призванное к сему доверием Нашим лицо, повелеваем генерал-ад'ютанту Черевину вступить в исполнение возложенных обязанностей и впредь именоваться: дежурным при Нас генералом с оставлением в звании генерал-ад'ютанта; действительному статскому советнику Федосееву — быть управляющим канцелярией дежурного при Нас генерала“.

25 мая (94) отправились в Петербург наши ходатайства об утверждении меня и С. Д. Протопопова редакторами-издателями газеты. Горинов [4], Протопопов и я —

[1] Ник. Серг. Тютчев, известн. революционер.

[2] Петр Федор. Николаев (1845—1912), революционер, писатель, отбывал ссылку по делу каракозовцев.

[3] П. Б. Струве (род. 1870), сначала один из пропагандистов марксизма в России, затем издатель зарубежного либерального органа „Освобождение“, примкнувший в 1905 году к кадетской партии.

[4] Вл. Адриан. Горинов, нижегородский земск. деятель, близкий знакомый В. Г.

купили у Милова „Нижегородский Листок справок и об'явлений"— условно, если будут утверждены редакторами указанные нами лица. Н. М. Баранов[1] сам вызвался „оказать содействие". Посмотрим. Теперь и губернатор и Протопопов — в Петербурге[2].

11 июня 94[3]

На днях (3 июня) в лечебнице для хронических нервнобольных профессора Кожевникова умер Н. М. Астырев[4]. Заподозренный в составлении прокламаций к голодающему населению, он арестован, потом административно посажен в „Кресты"— одиночно-рабочую тюрьму на Выборгской стороне, откуда вышел, совершенно разбитый нервно. Он в последиие дни не мог поднять руки, чтобы поздороваться, а между тем голова оставалась свежа, и еще недавно помещен его разсказ в „Русск. Ведомостях". Нравственное состояние его было ужасно. Вместе с ним был арестован некто Жевайкин, приказчик книжного магазина. Если Астырев был заподозрен в составлении, то Жевайкин был в свою очередь заподозрен-же в соучастии с Астыревым, книги которого были на комиссии в том магазине. Во время ареста Жевайкина жена с детьми оставалась без средств, вдобавок двое детей умерли от дифтерита. Я видел эту бедную женщину. Она как-то сразу на глазах хирела и старилась. Жевайкин был отпущен,

[1] Ник. Мих. Баранов, нижегород. губернатор.

[2] О планах и колебаниях В. Г. в связи с намерением приобрести газету см. письма его к жене от 14 и 16 мая 1894 г.

[3] Под этой датой в записной книжке записано: „С. Д. Протопопов в Петербурге получил письменный отказ на просьбу об утверждении редактором меня или его".

[4] Ник. Мих. Астырев (1857 — 1894), писатель и статистик, автор известной книги „В волостных писарях".

потом опять взят — в „Кресты". В это время Марья Ив. уехала в Тюмень с партией статистиков для работы по переселенческому делу. На днях пришла телеграмма: „Известите родных. Марья Ив. умерла".

И все это — из-за прокламации, которая кончалась уверением, по адресу голодающих, что где-то в городах есть „мужицкие доброхоты". Где, кто, какие — всё это предоставлялось „голодающим" доискиваться самим...

7 августа [1]

Кончил читать роман: Petrucelli de la Gattina „Memoires de Judas".— Прекрасное изображение состояния политических партий в Иудее, современной Христу,— и совершенная пошлость по отношению к Христу и ученикам. Всемирное учение и личность, принадлежащую всему миру,— автор пытается измерить маленьким масштабом политической мудрости того времени.

24 августа

Прочитал: „La Iérusalem delivrée" Torquato Tasso во французском переводе Philipon de la Madelaine. Апофеоз крестовых походов и рыцарства. Сильное подражание Гомеру. Ахиллес Илиады — здесь разделен между 2-мя лицами: Танкред и Рено (Renaud). Христианский бог — требует крови неверных. Рено, как волк бродит кругом храма, где скрылись женщины, старцы и дети. „Кровь неверных омывает пятна, так долго профанировавшие святое место". Грабеж, насилие и убийство после взятия Иерусалима рисуются без всяких прикрас, как нечто, отнюдь не чуждое благочестию.

Поэма все таки удивительная.

[1] Эта и следующая (от 24 авг.) записи взяты из записной книжки 1894 года. Описание рукописи см. в статье От Редакц. Комиссии (4).

24 июня мы выехали из Нижнего (на парох. „Олег Вещий“) в Лукояновский уезд, в имение С. Д. Протопопова [1] (до Вязовых,— оттуда по новой железной дороге).

1 сентября вернулись в Нижний тем же путем.

Сентябрь 1894

В июне мы получили решительный и окончательный отказ в наших газетных предприятиях. С. Д. Протопопов получил ответ — официальный — без об'яснения причин и оффициозный — что главная помеха — Короленко, а так как очевидно, что в данной комбинации — Короленко является единственным фактическим журналистом, „направление которого, вдобавок, не одобряется правительством“, то и Протопопов и Горинов, которых мы выставляли в качестве кандидатов в редакторы,— тоже не утверждены — и наша комбинация рушилась.

Кому и чему мы этим обязаны,— сказать очень трудно. В этих делах немаловажную роль играет отзыв губернатора. Когда мы решили „дерзать“ в нашей затее, я отправился к Баранову, который уже несколько времени перед

[1] „Маресевский хутор“ в нескольких верстах от заштатного города Починки. В письме В. Г. к И. Ф. Волошенко от 31 авг. 1894 г., он так описывает свою деревенскую обстановку: „... Мы теперь накануне выезда из тихо разваливающейся барской усадьбы, где провели лето. Огромный трехэтажный дом. Внизу управляющий с женой, люди очень милые в середине — мы, верх стоит пустой. Стекла в окнах на верху выбиты, старые рамы ветер отпирает то и дело, хлопают двери — и я отшельник в одной из этих комнат устроил свой приют“. Живя в деревне, В. Г. работал над очерками американского путешествия (написал вчерне „Драка в доме“), отделал для „Руск. Ведомостей“ статью о Гациском („Из истории областной печати“) и эскиз „Божий городок“. Здесь-же он читал и исправлял взятые с собою чужие рукописи.

тем все приглашал меня зайти к себе. Сообщив о своем намерении, я прибавил, что отнюдь не считаю себя в праве рассчитывать на его содействие этому моему личному делу и сообщаю ему только к сведению, так как ему придется давать отзыв.

— Почему же это?

— Да просто не вижу оснований к такой просьбе с моей и к такой помощи с его стороны.

— Это меня очень оскорбляет. Основания есть...

И затем очень любезно его пр-во привел разные лестные для меня основания общего характера. „Если талантливый человек берется за это дело,— край может только выиграть“ и т. д. Наконец... если люди, подобные мне, прилагают свои силы здесь и притом в подцензурной газете, то это лучше, чем — если бы они оказались вынужденными печататься за-границей...

Я поклонился и — вздохнул в глубине души. Итак — содействие будет, но каково будет это содействие. В конце концов оказалось, что канцелярия губернатора освободила себя от письменного отзыва, ибо его пр-во взял на себя труд передать лично наши бумаги и — конфиденциально, на словах, свой отзыв.

Впрочем, тотчас-же вслед за обещанием содействия его пр-во удержал меня на одну минуту и стал беседовать о том, что в „Русской Жизни“, что ни день, являются корреспонденции с нападками „на нас“. Было действительно несколько корреспонденций о переселенцах,— совершенно, впрочем, правдивых, писанных и подписанных Н. Р. (Ник. В. Романов). Правитель дел, Н. И. Харлампович, предложил мне довольно бесцеремонный вопрос: знаю-ли я корреспондента. Это показало мне довольно ясно, чего ждут от меня за „содействие“ и за услуги. Я почувствовал, как кровь прилила мне к лицу и, чтобы

покончить раз навсегда с подобными вопросами и поставить дело ребром, ответил:

— Я, конечно, знаю корреспондента, однако, если он не подписал своей фамилии, то не затем наверное, чтобы я раскрывал его аноним. Я всегда готов указать свои собственные корреспонденции и чтобы их не приписывали розыскиваемому корреспонденту — скажу, что мною написаны в „Русской Жизни“ три заметки, в том числе одна от редакции „о расходовании городских сумм“ [1]. Скрывать этого не имею оснований, тем более, что в ней его пр-во легко заметит отголоски наших многочисленных разговоров на ту же тему в голодный год.

Оба насторожились. Заметка (№ от 27 марта 1894) была довольно язвительная, подчеркивала очень резко одно из противуречий Баранова и била по чувствительному месту, касаясь холерных расходов 1892 года (516 тысяч!).

— Вот все,— сказал я,— что же касается до чужих корреспонденций, то, разумеется, я никоим образом не могу сообщать имена авторов.

— Да это, конечно, и не нужно, зачем вам, Ник. Ив. имена,— подхватил Н. М. Баранов, и мы расстались.

Многие предсказывали уже по этому нашу неудачу. „Это очень неполитично“. Может быть и так, но я считаю это совершенно целесообразным. Я не хотел играть в жмурки ни с Барановым, ни с Управлением по делам печати. Последнее должно было знать, что я буду действующим лицом в газете, первый — что газета, в пределах цензуры — сохранит свою самостоятельность и что на „услуги“ ее ни в какой мере расчитывать нельзя. Я хотел показать, что я, автор неприятных часто разоблачений,— останусь таковым и впредь. Цензура может

[1] „Расходование городских сумм“ — „Руск. Жизнь“, 1894 г. № 82.

обуздывать газету и вычеркивать многое,— но не в их власти и не входит в мои намерения — союз с ними и „содействие“ в личной политике его пр-ва.

Сказать наверное, что отказ зависел от Баранова — нельзя. Около этого же времени первая книга моих „Очерков и рассказов“ попала в index librorum prohibitorum [1] и из'ята из публичных библиотек — после семи лет беспрепятственного распространения (разошлось около 17 тысяч, в шести изданиях). Значит, наше ходатайство попало в какую-то неблагоприятную для меня полосу. Но все-же есть немало странного и в обращении Н. М. Баранова. После его приезда из Петербурга,— я пошел к нему с В. А. Гориновым, так как он выразил желание видеть нас обоих (через Г. Р. Килевейна). Тут он сообщил мне, что „оба ведомства согласились признать меня редактором“, хотя это и стоило ему большого труда. Потом, провожая меня, в корридоре прибавил к этому, что он очень удивился, заметив, что цензура менее благоприятно отнеслась к этому, чем „жандармы“, хотел сказать еще что-то, но не сказал. Вообще я вышел под впечатлением довольно плохим. А в это время С. Д. Протопопов уже получил отказ. Оставалось только получить его на бумаге (это нужно было для расторжения договора с Миловым, прежним издателем газеты). Характерно, что Феоктистов [2], довольно грубо об'являя С. Д. об отказе, прибавил:

— Министр не хочет. Эти газеты все плодятся, все плодятся, а министр этого не хочет.

С. Д. заметил, что газета не новая, а только переходит в другие руки.

— Все равно, министр не хочет.

[1] Указатель запрещенных книг.

[2] Феоктистов, нач. Главн. Управл. по делам печати.

Этим дело кончилось. Сущность эпизода состоит в том, что полуграмотному Жукову, не кончившему прогимназии, и Милову, не имеющему никакого образовательного ценза — можно издавать газеты. Один пишет глупейшие статьи об „утопии недвижимости в банках". Другой об'являет, что „под знаменем рекламы и об'явления" выступит на литературном поприще. Оба весьма откровенно торгуют и не скрывают, что „взгляды" и то или другое „направление" в общественно-литературной деятельности — для них ничто. И это-то дает шансы нынешним монополистам печатного слова в провинции!

Специфическое последствие нашей неудачи. Жуков, очевидно, пережил весьма неприятные минуты в ожидании конкуренции — и не может простить мне этого своего страха. В № „Вечернего Листка" он разразился наглой и глупой статьей, из которой видно одно,— что „неудача г. Короленко" его очень радует. В другом № этот же публицист, еще недавно потрясавший мои руки и просивший статей,— намекает на то, что я желал „торговать" газетой!! И т. д., и т. д.

„Листок", который мы покупали, остался у Милова. Этот господин занимался откровенным шантажем. Сначала ругал разные заведения на ярмарке, потом, когда ему заказали об'явления,—рекламировал их самым беззастенчивым образом. На замечание одного из сотрудников по этому поводу, он ответил:

— Мои убеждения не позволяют мне сообщать неблагоприятные сведения о людях, которые доставляют доход газете.

Потом газету купили у него пароходчики: Волков, Лельков (биржевой маклер), Полляк и Торсуев. Эта компания заключила с Миловым письменное условие, по которому он должен был оставаться редактором в течение

года за 1200 рублей. Это была обычная попытка фиктивного редакторства. Написанное условие состояло в том, что Милов,— как он это предлагал и мне,— обязывался не вмешиваться ни во что, давая имя редактора, до утверждения другого. Я, разумеется, на это не согласился. Волков согласился и Милов его надул. Он наотрез отказался передать редакцию Шмидту [1], статистику, приглашенному Волковым, и вообще теперь всюду заявляет, что он остается редактором в течение года. Он прибавляет к этому, что Баранов обещал ему помешать утверждению других редакторов, так как все эти попытки кажутся ему очень подозрительны.

Таким образом, откровенный шантажист водворился весьма крепко и выбить его из позиции очень трудно. И все это делается, пожалуй, во имя обуздания безнравственности прессы. Гг. Миловы — благонадежны!

Характерная мелочь. Я ехал на извозчике с дочкой на пристань, уже после отказа, о котором нам было заявлено официально. На улице мне попался Милов, только что вышедший от В. А. Горинова. Он остановил меня, и я сошел с извозчика. Вид у почтенного издателя был несколько растерянный и смущенный. Утром он был у губернатора, и тот решительно заявил ему, что „не может быть, чтобы Короленку и Протопопову отказали". Он еще вчера получил запрос об нас и без его отзыва не могло решиться дело. „Что-же они шутят со мной, как с мальчишкой! Присылают запросы, а сами решают дело. Не может быть, пустяки!"

Накануне Милов долго рассматривал у меня со всех сторон официальный ответ главного управления. Кажется,

[1] О. Е. Шмидт, позднее заведующий статистическим бюро нижегородского земства.

этот руководитель общественного мнения, с „убеждениями“, которые заставляют хвалить людей, дающих доход газете,— готов был допустить, что мы, из каких-то видов подделали подписи Феоктистова и Адакаевского [1]. Я засмеялся и оставил его в жертву его недоумениям.

Теперь Н. М. Баранов опять при случае выражает крайнее сожаление, что наше предприятие не удалось.

Да, трудно пробить эту стену торгашей, монополизировавших с высшего благословения печатное слово.

Услуга за услугу. Жуков, фрондировавший и либеральничавший, когда еще была вероятность конкурренции,— тотчас-же прогнал либеральных сотрудников и затянул другие песни. Теперь он пресмыкается перед всякой силой, помещает „дорогие черты“ весьма глупого городского головы, которого ругал недавно, и подслуживается к Баранову.

Личная политика последнего почему-то изменилась в эту ярмарку. Холеру замалчивали, он прямо об'явил, что посадит „в тюрьму“ первого доктора, который об'явит о холере, и первые 18 больных были помещены в общую больницу! Холеру называли gastro-enteritis sicca и старик Венский [2] (герой романов Боборыкина из нижегородской жизни) — дошел до такого позора, что только карандашем приписывал к этому импровизированному названию „холера“. Все это во-первых послужило к сильному распространению болезни, так как никаких мер принято не было. Затем молва преувеличила действительную опасность, и между тем, как даже в 1892 году ярмарка прошла хорошо,— теперь началась паника и многие

[1] Адакаевский, секретарь Главн. Управл. по делам печати.

[2] А. В. Венский — главный врач губернской земской больницы.

разбежались задолго до конца ярмарки. Холерные сдавались при смерти в Казани, Симбирске и ближайших пристанях. В Работках видели больных холерой, которые тянулись из барака к реке, мучимые жаждой, между тем как два сторожа были заняты похоронами умерших. Живя на даче в Лукяновском уезде,— я узнал такую историю. Сын богатого крестьянина Ермолаева, из села Байкова приехал на ярмарку на время. Утром в 11 часов он попрощался с родственниками и знакомыми, которых просил проводить его в 3 часа. В назначенное время зять приходит в гостиницу. № заперт.

— Ермолаев уехал?

— Уехал.

— Не может быть. Он ждал меня.

Прислуга мнется.

— Уехал в барак.

Тот в барак. Ермолаев уже умер.

Телеграмма отцу, старик приезжает через сутки. Сын уже похоронен. Старик выхлопотал у губернатора и архиерея разрешение перенести тело из холерной могилы на монастырское кладбище. Ему дают № (кажется 81). Разыскивает могилу, деревянный крест с №, под которым лежит вчера еще живой и полный сил молодой человек. Откапывают: незнакомое лицо. Раскопали соседнюю могилу — тоже. Старик заплакал и бросил свои попытки.

Такова была эта торопливость, это прятание головы в песок на манер страуса,— совершенно противуположные уже раз испытанной системе гласности, давшей отличные результаты в первый год.

И местная пресса не ограничилась вынужденным молчанием. „Старый друг“ [1] трунил над холерой, которую

[1] „Старый друг“— псевдоним хроникера „Волгаря“ Н. И. Коробкина.

будто-бы выдумали немцы на бирже в Вене. Еще сегодня последний № „Русских Ведомостей“ дает официальные цифры холерных. Оказывается, что в Нижегор. губ. с 15 по 28 августа заболело 535, умерло 347 челов. („Русские Ведомости“ № 248, ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний по сведениям, поступившим в медиц. департам. мин. внутр. дел по 3 сент. 1894 года, из Правит. Вестника). Даже по этим сведениям, несомненно уже уменьшенным и прорвавшимся вопреки угрозам и запрещению называть холеру — холерой,— даже и по ним Нижегор. губерния занимает 3-е место в России по цифре заболеваний! А между тем в тот-же день (8 сентября), в № 215 „Волгаря“ в статье Ярмарочные „итоги“ какой-то Эс пишет:

„Нынешняя ярмарка прежде всего должна быть отмечена трусом который нагнали на нее... с венской биржи! В Вене заговорили, что в Нижнем на ярмарке „мрет народ“. Ярмарочные купцы поверили и стали собираться домой. В августе 10 — 12 числа, когда должен быть самый большой с'езд на ярмарку, пароходы и жел. дорога не успевали перевозить пассажиров, бегущих из ярмарки. Пароходы были переполнены, а поезда приходилось отправлять чуть не в двойном составе. Были дни, когда уходили отсюда по два курьерских поезда, один за другим“.

И вместо того, чтобы указать настоящую причину паники — отсутствие всяких мер и отсутствие гласности,— газета продолжает твердить глупость о венской бирже. И это в то время, когда уже официально признаны сотни смертей в 13 дней! Вот уж поистине лакейское усердие. Да,— рабами нас делает цензура,— но эта пресса добровольно лакействует. Как не вспомнить этот бессмертный афоризм Берне. Да, лакей во сто крат хуже невольного раба. Раб молчит,— лакей добровольно усердствует, когда этого даже и не требуют.

8 сентября

Вчера прочитал в последнем номере „Нового Времени“ (от 5 или 6 сентября) заявление: редакция „Русской Жизни“, в полном составе выходит из газеты, „считая недостойным“ работать с А. А. Пороховщиковым [1].

11 сентября [2]

Вчера и сегодня был у меня Григорий Ник. Потанин [3]. Производит впечатление человека тихого и грустного. Немудрено: недавно умерла у него жена, истинный друг и сотрудник, разделявшая с ним все труды, а затем — Н. М. Ядринцев [4], тоже давний друг. Потанин не сомневается, что Ядринцев отравился,— неизвестно только вольно или невольно.

14 сентября

Был в театре. Открытие сезона. Встретил немало знакомых. Приветы и поклоны, среди которых заметил, однако, несколько как будто робких и уклончивых. Какая

[1] А. А. Пороховщиков, редакт.-изд. „Русской Жизни“; автор брошюры „Самодержавие на св. Руси накануне XX века“. См. по поводу этой брошюры Дневник, т. III, запись от 16 сент. 1895 г.

[2] Эта запись, как и две ранее отмеченные (от 7 и 24 августа), сделана в карманной записной книжке 1894 года.

[3] Г. Н. Потанин (1835—1920), известн. русский путешественник и исследователь Азии; уроженец Сибири; в 1865 г. привлекался по делу о „сибирском сепаратизме“ и был приговорен к каторге. Жена его, А. В. Потанина, умерла в сентябре 1893 г. в Китае во время экспедиции для изучения восточной окраины Тибета, после чего П. отказался от дальнейшего продолжения экспедиции и возвратился в Петербург.

[4] Н. М. Ядринцев (1842—1894), изв. сибирский обществ. деятель, публицист и путешественник-археолог. Вместе с Потаниным привлекался по делу о „сибирском сепаратизме“.

разница, — подумал я про себя, — с тем временем, когда „наша газета“ еще не рухнула. Тогда отовсюду я видел поклоны и пожелания. Русский человек,— человек очень странный. И теперь они, конечно, ничего против меня не имеют,— но только видят, что я — в опале; знают пожалуй и причины и пожалуй и даже наверное сочувствуют. А все таки — частию осторожность, частию — разочарование. Я не так силен, как они, может быть, думали.

Оказалось, что есть и еще причина; об'яснил мне ее простодушный Макс. Петрович Дмитриев[1]. Ему говорил А. П. Мельников[2], а Мельникову говорила О. А. Александрова-Гациская[3], что будто меня и Анненского предполагают выслать из Нижнего. Говорят, в течении 7 месяцев ген. Баранов должен „очистить“ город к будущему приезду Высоких Особ! В конскрипторские списки внесено, будто, 200 имен. Что-ж, пожалуй, станется, что в том числе есть и наши. Случай весьма подходящий... Правда, я получил право жить в Петербурге и повсеместно, о чем извещен, в виде особой любезности, не полицейской повесткой, а собственоручным письмом его пр-ва. Но это было другое время... И вот я хожу в театр, под взглядами многих людей, знающих, что я „обреченный“. Ну, что-ж, не привыкать!

Н. И. Коробкин сообщил еще другую новость (новость, впрочем, только для меня). В газете „Новости“ (29 мая 1894, № 146) в хронике сообщалось о заседании в Петербурге Общества покровит. животным (27 мая под председ. Жуковского). Особенное оживление вызвал вопрос о взыскании 12 тыс., растраченных 10 лет назад секретарем

[1] М. П. Дмитриев — нижегородск. фотограф.

[2] А. П. Мельников — чиновник особых поручений при губернаторе, сын писателя Мельникова-Печерского.

[3] Вдова А. С. Гацискаго.

Общества Ник. Евгр. Ермиловым. Господин этот в разное время, получил из госуд. банка 12 тыс. рублей (принадлежащих Обществу),— по подложным документам. Деньги разумеется растратил, был судим, лишен прав и сослан на 10 лет в Архангельскую губернию. „Наказание,— говорится в печатном отчете,— отбыл, но где теперь находится, неизвестно". Посему, предлагалось обратить взыскание к Госуд. банку, так как надлежащих полномочий Ермилов на получение денег не имел, если не считать отношения, которое к тому же оказалось подложным.

Заметка для нас нижегородцев весьма пикантная. Этот Ермилов состоит „по особым поручениям" у губернатора, орудовал в голодный год, действовал в холеру и наконец—попал в распорядит. комитет по выставке. Вот где оказалось неизвестное местопребывание этого господина. В качестве чиновника, он одно время цензуровал даже нижегородские газеты, нравственность которых таким образом находилась в весьма благонадежных руках.

Понятно, что после этого трудно было оставлять Ермилова в распорядит. комитете, и его тихо удалили. Как будто раньше все это было тайной. Интереснее всего этого, однако, то обстоятельство, что теперь Ермилов приглашен и фактически редактирует „Нижегор. Листок", тот самый, для редакции которого оказались недостаточно благонадежными — я, Протопопов и Горинов. Вот каковы пути провинциальной прессы [1].

О том же Ермилове: Г. рассказывает, что долго не мог вспомнить, где прежде видел этого человека. Потом вспомнил. В Твери к нему явился некто, отрекомендовавшийся профессором черной и белой магии и просивший

[1] А. Н. Ульянову говорил новый издатель „Листка" Волков, что Ермилова он взял в „секретари редакции" (это синоним фактического редактора) по особой рекомендации Н. М. Баранова! (Примечание автора).

позволения дать представление в училище. Его добродушно пригласили, он попросил двугривенный — и монета исчезла мгновенно, на глазах у хозяев. После этого он явил чудеса ловкости с картами. Его угостили ужином. Когда он собрался уходить, то попросил позволения оставить свой бумажник, в виду того, что в том месте, где он будет ночевать,— опасно иметь с собой деньги. Это показалось странным, но бумажник взяли. Утром, все еще спали, когда раздался сильный звонок,— и явился профессор черной и белой магии. Он был расстроен, будто за ним гнались, наскоро попросил бумажник и быстро ушел. Впоследствии Г. узнал, что почтенный профессор проживал по фальшивому паспорту, полиция пронюхала — и дальнейшие представления не состоялись...

Это благонадежное лицо наверное не попадет в список 200 лиц, от которых нужно „очистить" Нижний.

Из всего этого можно бы слелать не лишенный интереса очерк под заглавием: „Как в Нижнем отыскался благонадежный редактор".

М. Гр. Майков, автор „Истории одного брака" и стихотворения по поводу „чудесного спасения 17 окт.",— в эту ярмарку был посажен в тюрьму за дебош у Молоткова, сопряженный с обруганием его пр-ва. Его, говорят, провели из Главного дома до тюремного замка пешком, в сопровождении будочников! Теперь раскаявшийся молодой человек опять, говорят, попросился на службу [к] его пр-ву — и принят. Надо думать, что слуга будет преданный.

Около недели назад в „Новом Времени" появилось письмо за подписью 6 лиц, извещавшее о том, что редакция „Русской Жизни" в полном составе выходит из газеты, „считая недостойным работать с А. А. Пороховщиковым". Подписались С. Гусев, Песиц, Никифоров, Мечтатель, Дужан и др. А. А. Пороховщиков ответил на это письмом,

в том же „Новом Времени“, и в этом письме заявляет, что он всегда был редактором сам, г.г. Песиц и др. были сотрудниками, которые менялись и что он не выпустит из рук того-же знамени, которому служила „Русская Жизнь“.

15 сентября

Никогда,— говорит Маколей,— не бывало такого религиозного преследования, при котором не утверждали бы, основательно или неосновательно,— что из учения преследуемой стороны проистекает самым очевидным образом — какое-нибудь гнусное преступление. Мы могли бы сказать, что кесари не преследовали христиан, что они только наказывали людей, обвиненных справедливо или несправедливо в сожжении Рима и в совершении самых гнусных мерзостей на своих тайных сходбищах, и что в отказе бросать ладон на алтарь Юпитера заключалось не самое преступление, а только доказательство преступления. Мы могли бы сказать, что и резня Варфоломеевской ночи имела целью — истребить не секту, а политическую партию...“

„Восстание Уайтта давало столь же основательные поводы Марии жечь протестантов,— как заговоры против Елизаветы — вешать папистов и вырывать у них внутренности“. Маколей, Ист. Англ. констит., т. 1 стр. 119.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КАЗАНСКОЙ ЦЕНЗУРЕ

Цензура в Казани — особенно благоприятна. Разумеется — сравнительно. Там есть отдельный цензор, профессор кажется полицейского права, Осипов. Отдельный — значит не чиновник губернатора. Это огромная выгода. Цензор-чиновник смотрит на все статьи с точки зрения губернаторской канцелярии, которой нужно, чтобы все было благополучно. Отдельный цензор не всегда в такой мере входит в эти соображения, тем более, что служит по другому ведомству. Относительно университета, разумеется,— тут уж не пройдет ничего. А из остальных сфер местной жизни — кое-что проходит изредка. Цензор больше предается соображениям „общей политики“.

На этот счет — у почтенного казанского цензора есть свои специфические т. сказать пунктики, всегда основанные на каком-нибудь циркуляре. Циркуляров — бездна, упомнить, а тем более исполнить все невозможно. Из всей этой массы в памяти торчат какие-то верхушки и у цензора полосами то или другое слово попадает в немилость.

В первой половине 80-х годов „общая цензура" обращала внимание цензоров на то обстоятельство, что российская печать часто злоупотребляет словом народ. В этом усматривалась весьма тонко некая высшая опасность. Предлагается...

И вот, для безопасности, слово „народ" исчезает в обиходе казанской прессы. Исчезает не только русский, но и все иностранные народы, а вместо этого собирательного является число множественное: люди. Русские люди,— это еще сходит. Но вот передовые статьи, иностранная политика и даже речи парламентских ораторов Европы — окрашиваются этой особенностью казанского стиля. „Французские люди ясно выразили свою преданность республике". „Немецкие люди, так еще недавно раздробленные на мелкие народности..." (народность — можно, хотя и сомнительно)... И т. д. и т. д.

Затем лев — не мог называться царем зверей,— и носил титул короля зверей. В статьях, где говорилось о растительном царстве и царстве животных,— неизменно появлялся цензорский значок „L", что значило „заменить слово". Часто заменить оказывалось невозможным, тогда фактический редактор (А. А. Др.[1]) оставлял знаки без внимания. Осипов потребовал, чтобы его лист присылался перед выпуском газеты для сводки. Тогда Дробышевский исправил всюду: „животное королевство" и „растительное королевство". А фраза: „в собрании ц а р и л а тишина" получила

[1] Ал. Ал-евич Дробышевский.

новое выражение: „тишина королевствовала в собрании". Цензор — подумал,— и зачеркнул эти поправки. Глагол царить и животное царство — были отвоеваны для казанской прессы.

В голодный год казанский губернатор потребовал решительно, чтобы слово г о л о д было изгнано из употребления, так как в казанской губ. люди умирали от „недорода хлебов". Проф. Дохман отдал в „Казанские Вести" статью, под заглавием: „Физиологические последствия голода". Он был очень удивлен на следующий день, увидя свою статью, озаглавленную на новый лад: „Физиологические последствия недорода хлебов"!

Однажды добрый мой знакомый Ангел Ив. Богданович написал очень остроумное письмо из Нижнего о земском собрании, в котором шла речь об удалении публики. В этом собрании, некто г. Лик, до тех пор не произносивший ни единого слова,— проявил в первый раз способность речи. Он встал и сказал только:

— И я согласен (т. е. на удаление публики).

„Был грустен лик его печальный"— прибавил автор, играя словами (Лик и лик). № пришел из цензуры испещренный знаками „L". Требовалось всюду заменить нецензурную фамилию.

Редактор звонит в телефон. Динь, динь, динь.

— Николай Осипович[1] — зачем вы изгоняете фамилию Лика?

— Лики бывают у икон...

— Чем же прикажете заменить эту фамилию? Образиной что-ли?

У телефона глубокомысленное молчание.

— Итак,— г-н Образина...

[1] В действительности цензора звали Адольф Михайлович.

— Да неужели это его действительная фамилия?

— Что делать. Ведь фамилии в старину давались без цензуры.

— Ну,— оставьте так.

И печальный Лик появился в печати...

В другой раз прислана рецензия книжки. Некто Банкальский, философ-виноторговец,— примирял науку с религией в истории мироздания. Здесь было много добрых намерений и немало цитат из Дарвина и Катрфажа, не говоря о Гумбольдте... Это не мешало автору — кита считать величайшей из рыб и т. д. Рецензент очень зло смеялся над этой обывательской попыткой, а редакция боялась за статью: намерения у автора „мироздания" весьма „благие", а в провинции известно, что авторы с такими благими намерениями очень склонны писать доносы на рецензентов. Тут и безверие и неблагонадежность — и многое другое идет нередко в ход. Редакция не боялась за себя, но очень боялась, что цензор поопасается неприятностей. В виду этого, была употреблена невинная хитрость: к рецензии прибавили, собственно для цензора, примечание петитом, гласившее, что автор умер 2 года назад, и что книга издана наследниками. Этим разумеется хотели только внушить цензору, что покойник жаловаться не станет. После-же пропуска статьи предполагалось примечание разобрать.

Увы! — статья вернулась все таки с жестокими из'янами.

— Можно-ли так отзываться о мертвом,— сказал Осипов на другой день при встрече с редактором.

Ад. М. Осипов человек все-таки добродушный. Он не скрывает, что свирепствует лишь страха ради иудейска — и сам собирает курьезы из истории цензуры. Коллекция вероятно будет любопытная.

В голодный год статистик Зверев[1] об'езжал уезды в группе И. П. Кутлубицкого[2]. Эта поездка послужила впоследствии поводом для громкого „Лукояновского инцидента". Данные, собранные умелой рукой, были, однако, так мрачны, что ни Кутлубицкий, ни губернатор не думали их оглашать, и в Комиссии были доложены лишь наименее резкие факты. Тогда Зверев, как человек искренний и прямой,—увидя это замалчивание,— отдал свои данные А. М. Пл[отникову][3], который и составил из них ряд статей. Первая из них и появилась в „Волжском Вестнике", а остальные Осипов, на основании циркуляра, послал на просмотр Баранову.

Кутлубицкий и губернатор встревожились и последний тотчас-же послал в Казань Осипову письмо, в котором очень любезно благодарит за точное исполнение циркуляра, сожалеет, что первая статья была напечатана ранее и заявляет категорически, что все это сплошная злонамеренная и тенденциозная ложь.

Осипов тотчас-же прекратил дальнейшее печатание статей.

Между тем, обиженные и мягким докладом лукояновцы подняли фронду и сами напали на Кутлубицкого и на губернатора. Вмешался Мещерский, закипела война, и тогда оба увидели, что сделали промах. Их нерешительные нападки только раздразнили врага, но не устрашили его. Тогда Кутлубицкий вновь обратился к Звереву, составали дополнительный доклад — и вскоре в редакцию того-же

[1] Д. И. Зверев, один из нижегородских земских статистиков, впоследствии заведующий статистикой в Барнауле.

[2] И. П. Кутлубицкий, член губернского присутствия.

[3] Плотников не А. М., а Мих. Ал., нижегородский статистик, журналист. См. о нем заметку-некролог В. Г. Короленко, „Русск. Бог." 1903 г., № 11.

„Волжского Вестника“ официально прислан был печатный доклад Кутлубицкого в губ. продовольственную комиссию, и в официальном протоколе, скрепленном подписью ген. Баранова — Осипов прочитал все то, что так недавно называлось гнусною и злонамеренною ложью. Осипов положил все относящиеся сюда документы в свою коллекцию и, хлопая по ней рукой, говорил А. И. Писареву [1], в то время состоявшему секретарем редакции „Волжского Вестника“:

— Сохраню... Замечательный эпизод к истории казанской цензуры. За-а-мечатель-ный эпизод!

Наконец,— в лице того-же Осипова повторился известный анекдот о цензоре, который в какой-то трагедии заставил турок клясться именем Бога и Магомета лжепророка его! В „Казанские Вести“ попала статья о взятии Саратова пугачовцами. Мятежники кричали:

— Жив наш батюшка, Петр Федорович!

Цензор переделал. По его мнению, казаки должны были кричать (может быть тоже по циркуляру):

— Жив наш батюшка, самозванец!

Впрочем, редактор совершил тяжкое преступление: он не исполнил эту цензорскую поправку и самозванец остался Петром Федоровичем в устах его приверженцев. Будь цензор менее добродушен, из-за этого могла бы выйти большая неприятность.

Скажут, что едва ли могло что-нибудь выйти из-за такой нелепости. Суд мог выйти во всяком случае: редактора „Волжского Вестника“ судили за такое-же преступление. В то время, вместо добродушного Осипова, газету цензуровал профессор-же Нагуевский, человек заносчивый, надменный и ненавистник прессы. Эти высокомерные ненавистники прессы — народ весьма нелогичный. Они

[1] А. И. Иванчину-Писареву.

должны хорошо знать, почему печать в провинции находится в руках всякой дряни. А между тем при всякой попытке порядочного и независимого человека взять в свои руки газету,— они первые кричат караул. И после с презрительной гримасой говорят:

— Прес-са! Хороша, нечего сказать, пресса!

В 70-х годах, Гациский, Агафонов, Лаврский и Пономарев основали „Камско-Волжское Слово". Это были люди вполне порядочные и настоящие писатели. Вскоре цензура газеты была перенесена из Казани в Москву. Итак газета могла сообщать „новости" 2 недели спустя. Агафонов поехал ходатайствовать о снятии этого стеснения. Горячо и убедительно он излагал перед Лонгиновым все неудобства такого порядка. Лонгинов иронически слушал и наконец сказал:

— Неужели вы думаете, что для нас это новость...

Агафонову оставалось только поклониться. Газета порядочных людей закрылась. Теперь Феоктистов говорит Протопопову по поводу нашей попытки:

— Эти газеты всё плодятся, а министр не хочет.

В словах эти газеты звучит глубокое презрение. И действительно: невежество Жукова, шантаж Милова, пошлые и своекорыстные процессы Гисси и Ильяшенко[1], унизительные хитрости Зеленского, известного своими скандалами в Астраханском клубе и громкой историей о „приостановке" им самим своей собственной газеты, под видом административной репрессии (чтобы выжить законтрактованных сотрудников и не платить неустойки), все это факты, говорящие против этих газет. Но кто-же старается, чтобы газеты попадали и оставались только в таких руках, кто старательно ограждает эту продажную

[1] Гисси и Ильяшенко — издатели двух конкурирующих казанских газет: „Волжск. Вестника" и „Казанского Телеграфа".

и невежественную ораву от конкуренции независимого и разумного печатного слова?

Итак, г. Нагуевский, вступив в отправление своих обязанностей, тотчас-же счел необходимым наложить ряд стеснений. Он назначил определенные часы для присылки газеты, потребовал, чтобы ее доставляли всю сразу и т. д. Добродушного Осипова можно было всегда найти в им самим назначенном месте,— будь это в портерной или в трактире, или в Черно-островском ресторане. Нагуевский требовал газету к известному часу — и потом уходил. А известно, что такое газета, особенно подцензурная. Сверстанная,— она немыслима до цензуры, потому что выкидки перевертывают ее всю.

Затем, однажды этот господин выкинул „официальное" известие об удалении с должности казанского полицеймейстера Панфилова. Панфилов прославился возмутительным „освидетельствованием" девушки, по весьма неосновательному доносу отвергнутого любовника. За это-то его удалили от должности, а г. Нагуевский воспретил сообщение голого факта в газетной хронике,— факта, который и без того должен быть для всех очевиден. Не может-же город не узнать, что у него новый полицеймейстер.

Редактор Рейнгардт [1], считая это явным недоразумением (и притом, кажется, основываясь на том, что перепечатка взята из „Правит. Вестника") — тиснул все таки заметку, рассчитывая, вероятно, что Нагуевский не решится подымать дело по столь нелепому поводу. Ведь это значит выставлять себя на смех в такой же степени, как если-бы Осипов потащил редакцию в суд за своего „батюшку самозванца".

Но г. Нагуевский — человек другого закала. Суд состоялся. Г-на Нагуевского, разумеется, спросили, чем он

[1] Н. В. Рейнгардт, ред.-издатель „Волжск. Вестника", после Гисси.

руководствовался, запрещая известие, столь явно цензурное. Суду тоже казалось, что цензор обязан иметь какие-нибудь основания, и что нельзя судить редактора за неисполнение требования, явно ни с чем несообразного.

Г. Нагуевский вывел суд из этого заблуждения. Он доказал ссылкой на статью цензурного устава, что эти газеты отданы целиком на его милость и немилость, а он, г. Нагуевский, отнюдь не обязан считаться с здравым смыслом. Он может по своему внутреннему убеждению, без об'яснения причин запретить любую перепечатку, хотя-бы из „Правительственного Вестника", и никому в этом давать отчет не обязан.

Sic volo,— sit pro ratione voluntas [1].

К счастью, г. Нагуевский „царил" или „королевствовал" недолго, и теперь опять добродушный Осипов читает газеты по клочкам на Черном озере. И если „Волжский Вестник" окончательно испошлился под редакцией самодурного Рейнгардта, не умеющего различить своей „либеральной" газеты от столбцов „Гражданина", а „Казанский Телеграф" не внушает читателю доверия в руках заведомо беззастенчивого авериста Ильяшенка,—если таким образом казанская пресса теперь пала ниже даже среднего провинциального уровня,—то вина не Осипова, а самих редакций...

Итак, хоть на этот раз „внешние условия" не при чем и эти газеты пали по вине условий внутренних. Так, но — следует вспомнить преждевременную гибель газеты Агафонова и Гациского, которая без внешних условий могла бы доныне занимать свое место. Это во первых. А во вторых, — попробуйте дать Казани третью газету, более порядочную. Вам тотчас же ответят, что там есть уже 2 газеты, что этого слишком много и что...

— Эти газеты плодятся и плодятся, а министр не хочет!

[1] Так я хочу,— пусть моя воля служит вместо разумного основания.

19 сентября 94 [1]

Рассказывали мне, что губернатор не так давно приглашал А. И. Звездина, заместившего А. С. Гациского в качестве секретаря губ. стат. комитета. Он просил его — собрать по газетам сведения о деятельности покойного в холерное время и голодный год. Зачем это понадобилось,— неизвестно. Очень может быть, что с доброй целью,— исхлопотать какую нибудь помощь семье. Интересны, однако, результаты этих розысков. Звездин искал весьма усердно. Несомненно также, что А. С. Гациский работал очень много, отдал,— можно сказать без преувеличения,— несколько лет жизни этой работе. А так как известно также, что в это время у нас процветала широчайшая гласность,— то как-же не найти в газетах следов упорной и полезной деятельности видного в Нижнем человека. И однако не нашлось. Что делал Гациский — это было известно в то время многим,— но до „гласности" все это уже доходило под другими флагами и даже невсегда под флагом Н. М. Баранова. Когда А. И. Звездин доложил его пр-ву о печальном результате своих изысканий, прибавив к этому, что, может быть, в канцелярии губернатора или в его личных бумагах найдется больше материала, чем в газетах,— Н. М. Баранов отвернулся с признаками недовольства и не сказал ничего.

22 сентября 94

ХАРАКТЕРНАЯ ПОЛЕМИКА

„Новое Время" послало в этом году Амфитеатрова [2], в качестве специального корреспондента в Болгарию. Было

[1] В подлиннике описка в месяце: написано „19 октября".

[2] Александр Валентин. Амфитеатров, известный фельетонист и беллетрист.

уже давно пора. До сих пор русские газеты пробавлялись такой пошлой стряпней по части слав[янской] политики, что вчуже совестно. В одном из своих обозрений в „Русской Мысли“ я уже указывал на случай, когда некий Зегер стряпал статьи в „Гражданине“ и в „Моск. Вед.“. В одной газете он подписывался „Русский“, в другой „Серб“. При этом Русский ругал Серба и всех, кого тот хвалит. Серб ругал, наоборот, Русского и всех, кто был мил последнему,— и две ультра-патриотические газеты помещали эту стряпню, пока некто Генчич не разоблачил Зегера (в № 53 „Моск. Вед.“ за 1892 год, февраль 23). То-же „Новое Время“ помещало до очевидности лживые писания Львова, „Русск. Странника“, который описывал Каравелова[1], в виде грязного и безграмотного нигилиста, едва умеющего подписать свою фамилию, а затем, когда времена изменились и ругать пришлось уже других,— то-же „Новое Время“ рисовало того-же Каравелова личностью, высокое обаяние которой укрощало даже звероподобного председателя суда, кажется, Петрова,— который в то время рисовался приблизительно теми же чертами, как прежде Каравелов.

Теперь Суворин вздумал наконец послать, как сам писал,— непредубежденного человека. Г. Амфитеатров — человек, повидимому, неглупый и нелишенный фельетонного таланта, без убеждений, которые в „Нов. Вр.“ называются предрассудками, но умеющий сказать и правду, когда по времени это потребуется. Я не читал всех его писаний, но то, что я читал, было приличнее всего, что до сих пор писалось во всей „патриотической“ прессе.

Однако, это очень не понравилось „Моск. Вед.“ и „Гражданину“. „Моск. Вед.“ нашли, что посылка

[1] П. Каравелов, болгарский государственный деятель.

собственного корреспондента может повести к международным конфликтам, и что Зегеры гораздо безопаснее. Поднялась целая кампания.

Положение „Нового Вр.“ оказалось очень приличным и выгодным. Нелепость нападок была очевидна до того, что их стоило только отметить, и вся пресса, без различия оттенков и направлений, кажется, стояла в этом случае на стороне Суворина и его корреспондента.

Теперь „Моск. Вед.“ прибегли, наконец, к обычному орудию — доносу. Они напечатали, что Амфитеатров был знаком и почерпал свои сведения от редактора „Свободного Слова“, а известно, что редактор „Св. Слова“ есть никто иной, как беглый русский нигилист Баломез[1] и бывшая правая рука Лизогуба[2].

Амфитеатров ответил весьма резонно, что ему нет дела до того, каково прошлое редактора, к которому он обращался, как к настоящему редактору болгарской газеты. Отозвавшись затем с шаблонной иронией „нововременца“ о типе людей шестидесятых годов, писаревского вдобавок оттенка,— г. Амфитеатров с этим вопросом покончил.

Будь г. Амфитеатров „либерал“ с традициями 60-х годов, он бы на этом и остановился, предоставляя остальное презрению всякого порядочного человека. Но г. Амфитеатров принадлежит к числу людей, своеобразная сила которых по нынешнему времени состоит в том, что они „освободились от предрассудков“. Поэтому он на этом не кончил, а взялся сам за то же презренное оружие. Он написал что вот в тех-же „Моск. Ведомостях“ так уж воистину работают бывшие нигилисты. Один —

[1] Баломез (вернее Беломез), болгарский политич. деятель, русский эмигрант.

[2] Дмитр. Андр. Лизогуб, известный революционер, казненный в 1879 г.

Тихомиров [1], у которого под начальством были десятки господ, подобных злополучному редактору „Св. Слова". Ну, этот-де хоть принес публичное покаяние. А вот другой, Говоруха-Отрок [2],— тот даже и покаяния не приносил.

Каша от этого, разумеется, заварилась ужасная. Пошли об'яснения, Тихомиров и Отрок пишут письма и т. д. и т. д., и поневоле приходится отворачиваться уже от обеих сторон.

Правда, эти наглые доносчики из „Моск. Вед."— слишком уж наглы. Правда и то, что „либеральные газеты" спускают им слишком много, но несомненно и то, что „Новое Время" слишком далеко заходит по пути, на котором следовало оставить одних доносчиков. Торжество г. Амфитеатрова, шум и тревога в лагере противников — имеют характер чисто личный. Но за что же презирать „Моск. Вед.", если и их противники не гнушаются теми-же средствами. А самые средства — так грязны, что их популяризация и терпимость к ним не окупаются никакими личными поражениями сотрудников „Моск. Вед.".

Так рассуждают об этом все, кто заражен предрассудками „либеральных традиций" прессы...

29 сентября 94

Граф Л. Н. Толстой прислал в „Неделю" переведенное им с английского письмо Мадцини [3] о бессмертии, впервые недавно напечатанное в английском журнале Labor Prophet. Граф Толстой думает, что мысли,

[1] Лев Алекс. Тихомиров, публицист, известн. революционер 70-х годов, впоследствии примкнувший к лагерю крайних реакционеров.

[2] Говоруха-Отрок, псевдоним публициста и критика Юр. Ник. Николаева (1850 — 1897), бывш. революционера-народника, впоследствии изменившего свои убеждения и постепенно передвинувшегося в лагерь крайних правых.

[3] Джузеппе Мадцини (Мадзини), знаменитый итальянский революционер (1805 — 1872).

высказанные знаменитым итальянцем, будут не только интересны, но и полезны многим читателям. Маццини был глубоко верующим человеком, хотя и относившимся свободно к догматической стороне религии; его письмо в самом деле не может не обратить внимания людей страдавших. Вот оно: [1].

„Хотя мы виделись с вами только один раз, в нашем рукопожатии было что-то сердечное, чего я никогда не забыл. Теперь, когда вы в тяжелом горе, я вспомнил про это и чувствую желание пожать вашу руку и сказать вам, что я соболезную вашему горю. Будьте тверды, смерть священное дело, и так мы должны понимать ее. Печальтесь о том, кого вы потеряли, но пусть печаль ваша не будет сухой, голой, атеистичной, какой она бывает для тех, которые не могут видеть дальше этой земли. Это было бы унижением как для вашей, так и для его души. Я не знаю, во что вы верите. Я не верю ни в одну из существующих религий и потому не могу быть заподозрен в том, что слепо следую какому-либо преданию или влияниям воспитания. Но я в продолжение всей моей жизни думал настолько глубоко, насколько был способен, о законе нашей жизни. Я отыскивал его в истории человечества и в моем собственном сознании, и я пришел к ненарушимому убеждению, что смерти не существует; что жизнь не может быть иная, как вечная, что бесконечный прогресс есть закон жизни, что всякая способность, всякая мысль, всякое стремление, вложенное в меня, должно иметь свое практическое развитие, что мы обладаем идеями, мыслями, стремлениями, которые далеко превосходят возможности нашей земной жизни, что самый тот факт, что мы обладаем ими и не можем проследить их происхождения от наших чувств, служит доказательством того, что они проходят в нас из области, находящейся вне земли, и могут быть осуществлены только вне ее; что ничто не погибает здесь на земле, кроме форм, и что думать, что мы умираем, потому что умирает наша форма, все равно, что думать, что работник умер, потому что орудия его износились.

„С тех пор, как вера эта стала моей, вера, испытанная одинаково рассудком, сердцем, разумом и любовью, я потерял всех (осталась одна сестра), кто были дороги мне в моем отечестве. Я печалился и печалюсь еще и теперь, но не отчаиваюсь; я чувствую святость смерти.

[1] Печатаемое здесь частное письмо Мадзини к одному из его знакомых, потерявшему своего единственного сына,— представляет собою газетную вырезку, вклеенную в тетрадь дневника. Название газеты, из которой оно взято, не указано.

Я почувствовал новые обязанности любви, возникшие передо мною. Я почувствовал, что я не должен никогда забыть дорогих, утраченных мною; что я должен становиться вернее и любовнее по отношению других, более деятельным в исполнении моих обязанностей ради них и меня самого. Я почувствовал, что поступая так, я ускорю время нашей встречи и исполню то обязательство, которое содержится в верной искренней земной любви.

„Перед каждой могилой я старался становиться лучше. Я был верен тем, которые уходили, и поэтому все более и более печален, когда они оставляли меня один за другим. Но я был твердо уверен, что моя любовь не есть только ощущение, но высокое святое дело, что она есть почка цветка, обещание и обязательство того, что он расцветет где-то в другом месте, точно так же, как каждый цветок, имея корни в земле, распускается наверху

„Желал бы, чтобы то же чувство было и в вас. Я не могу быть уверенным пробудить его в вас, если его нет, хотя благородное предание могущественнейших душ, живших на земле, провозглашало его так же, как и я".

Письмо было написано к одному из его знакомых, потерявшему единственного сына [1].

3 октября 1894

Какой-то неведомый доброжелатель прислал извещение. По словам незнакомца, в Нижнем Новгороде учреждено в виду выставки охранное отделение при губернаторе, независимо от жандармского управления. Начальник этого отделения — г. Варищев (incognito,— прибавлю в скобках),

[1] В Дневнике 1913 года имеется выписка из письма В. Г. к человеку, также потерявшему сына. В письме этом он говорит: „... Я конечно тоже не знаю, что за гробом. Но для меня это тайна жизни, а не упрощенное представление о матер. разрушении и исчезновении. Смерть тесно связана с жизнью, и вопросы, которые с нею связаны в свою очередь,— мы должны решать по высшим (доступным нам) законам жизни. Значит, если что можно сделать для вашего умершего мальчика,— это должно быть сделано в а ш е ю ж и з н ь ю. Итак, постарайтесь найти и восстановить свои силы для жизни". (Из письма к Н. А. Добролюбову от 16 ноября 1913 г.).

бывший пристав петерб. полиции. Спросите кандидата прав Зверева. Варищев делал у него обыск в 1885 г., когда Зверев жил на Петербургской стороне, на Мытнинской набережной. Помощник г. Варищева — Рудницкий, служил сыщиком в Москве из агентов. Рутковский — маленького роста, в очках, черный, выдает себя то за типографщика, то за массажиста, говорит по польски... Засим приложен список лиц, находящихся под надзором и живущих в Нижнем [1].

Настоящая проскрипция! Теперь толкуют о том, что к выставке должен состояться высочайший приезд, тогда проскрипционные списки вступят в силу. Они и теперь вызывают уже тревогу и опасения. Я приводил уже слух, будто Анненский и я находимся в числе обреченных. Затем называли еще одного члена управы и одного адвоката из „неприятных". Это, вероятно, нелепость, но нелепость поселяющая раздражение, опасение, неуверенность в завтрашнем дне.

Самый список поднадзорных тоже наводит на размышления. Здесь есть и С., безвреднейший маниак, считающий себя изобретателем. Он сделал об'явление в газетах о том, что у него есть до 100 изобретений и что он вызывает капиталистов. Теперь к нему повадились ходить шпионы, в том числе и Рутковский,— обещают золотые горы, шарят в квартире, бедняга не хочет верить, что это не капиталисты, а сыщики. Этот полусумашедший болтун, существо безвреднейшее в мире,— сидел $2^1/_2$ года в одиночке на Выборгской стороне и вышел оттуда уже совершенным маниаком, окончательно неспособным к труду. Фигура

[1] Далее в Дневнике следует длинный список, в котором, среди прочих 65-ти имен, упоминаются: Братья Короленко, Лошкарев (зять В. Г.), Н. Ф. Анненский, А. М. Пешков (М. Горький), С. Я. Елпатьевский, А. А. Дробыш - Дробышевский и друг.

весьма комическая, особенно в антураже сыщиков,— если бы не то, что у него жена и трое детей. Это придает всей этой дурацкой буффонаде характер настоящей трагедии...

Д.— сын еврея портного, бывший студент, нехитрый парнишка, которого, к его несчастию, задела как-то крылом одна из пролетавших мимо студенческих историй. Исключенный из университета,— он принял православие, чуть ли даже не при восприемничестве губернатора, потом женился и теперь его то и дело вижу в театре в сообществе покровительственно относящихся к нему чиновников ярмарочного комитета и губ[ернаторской] канцелярии. Вероятно, бедняга считает себя обеленым. А тут — „политическая неблагонадежность“ все таки носится, как коршун над его головой.

Поддубенский — сошел с ума во время высылки в Сибирь, страдает манией преследования, ни с кем из бывших знакомых не встречается, подозревая „неблагонадежных“ в заговорах на его жизнь и т. д. Но — сам продолжает числиться „неблагонадежным“. Впрочем — человек добрый, смирный, безвредный — и вне „пункта“ о преследовании довольно здравомыслящий.

Интересен еще какой-то Мурин, служащий на винном заводе Долгова. Знающие его люди полагают, что он сам очень удивился бы, если-бы узнал, что им интересуются с политич. точки зрения. Впрочем, я его никогда не видал и ничего сказать не могу. Может быть, он и знает это давно.

Затем — какой-то Добреев, — с адресом „приют Бугрова“. Интересно,— служащий это или „ночлежник“ из золотой роты.

Анненский и братья Короленки... Ну, эти отпетые. Правда, вот уже 10 лет к ним смотрят в окна, шпионят, натравливают лавочников, извозчиков, дворников — и ничего уследить не могут. Но что же из этого, тем хуже,—

как говорил обо мне некогда пом. градоначальника Фурсов. Это доказывает только преступную ловкость. Мне было бы очень любопытно почитать донесения ген. Познанского, начальника жандармского управления. Он читает порой нелепейшие лекции по электричеству и еще более нелепые — о кустарных промыслах. Несколько раз его жесточайшим образом разносили рецензенты казанских газет, и бедный генерал приписывает эти рецензии мне. Разумеется, он не признает жестокие отзывы — справедливыми, да и какой автор признает справедливыми насмешки и порой ругательства по адресу своих произведений. Это очень натурально. А раз они несправедливы, то значит вызваны посторонними соображениями. Он — власть, жандармский генерал. Очевидно, рецензент мстит ему за то, что он стоит на страже. Ясно, что рецензент — человек опасный.

Итак,— я человек опасный. Генерал — порядочный болтун и до меня доходят стороной его отзывы. Я — человек очень много о себе думающий, закоренелый революционер, окружаю себя людьми, которые смотрят на каждое мое слово, как на изречение оракула. А слова мои — все самые опасные для общественного спокойствия. Анненский — представляется ему старым радикалом, пожалуй, нигилистом, грубоватым и откровенным. Об нем генерал сочинил басню, будто он с статистиками напивается на откосе и тогда они горланят революционные песни. Это, конечно, не так опасно, как писание исподтишка рецензий о лекциях жанд. генерала, однако все-таки служит основой для разных донесений в Петербург. Интересно, что все тут, начиная с рецензий и кончая песнями на откосе и нашими портретами — чистый вздор и сплошная фантазия. А между тем, на основании этих фантазий нас судят и нам мешают во всем.

Всех тяжелее судьба бедной М. П. П — ой. Лет 8 — 9 назад она явилась в Нижний, и мы назвали ее „веселой барышней“ [1]. Ее звонкий хохот тотчас же заразительно отражался на всех окружающих. Но он давно уже смолк. Семья ее разорилась. Мать умирала несколько лет в Арзамасе, в старом разрушающемся доме. Сестра больна, один брат — не получил никакого образования, другой, молодой врач — умер в холеру в Ташкенте. Вся тяжесть поддержания семьи легла на слабые плечи бедной девушки. С утра до ночи — по урокам, она совершенно усталая, разбитая, порой впадает в отчаяние. Несколько раз пыталась она пристроиться в учительницы, на место хоть сколько нибудь определенное и более спокойное, но всякий раз мешала „неблагонадежность“. Эти проницательные господа не могут в течении 8 лет разглядеть, что бедному созданию не до революций и заговоров, что ей хочется тихой работы, для себя, для семьи. А тут еще подлая назойливость полицейского, т. назыв. тайного надзора, при котором околодочные являются к квартирным хозяевам, шепчут, философствуют, лгут — и в результате, бедняге уже несколько раз отказывали в квартире. Русский обыватель так боится всякого соприкосновения с полицией...

6 октября 94

С недавних пор стали появляться тревожные бюллетени о здоровьи государя. Летом его увозили в Беловежскую пущу, теперь повезли в Крым, говорят, предстоит еще путешествие на остров Корфу. Бюллетени являются не ежедневно и в их прерывистой краткости слышится что-то тревожное. Бюллетень от 4-го окт. после молча-

[1] О „веселой барышне“ см. обширную запись под 3 марта 1888 г. Дневник т. I.

ния в течении недели, гласит, что: „болезнь почек не улучшилась, силы уменьшились. Врачи надеются, что климат южн. берега Крыма окажет благотворное влияние на августейшего больного".

Все это повидимому отзывается безнадежностию. По этому поводу невольно приходит в голову сопоставление, которое довелось мне слышать нескольное дней назад. Так, еще недавно экспансивные патриоты ликовали и прославляли „двух врачей": С. Ю. Витте излечил финансы, Захарьин, призванный из Москвы—сразу вылечил больного государя. И вот, мы теперь видим — результаты захарьинского лечения. Скоро, вероятно, увидим нефрит и в финансах.

В „Русской Жизни" (№ 261, 20 окт. 1894) помещаются от времени до времени отчеты о деятельности „III группы, XVII отд. Всерос. выставки", состоящей в ведении А. А. Пороховщикова и имеющей целью замену — деревянно-соломенной Руси, ежегодно погорающей — Русью глинобитной и огнестойкой. Г-ну А. А. Пороховщикову помогает в этом некто В. В. Гулевич. Оба издателя (Гулевич — „Смоленского Вестника"), у обоих „ редакция вышла из газеты в полном составе", после чего газеты прежде либеральные — начали линять и тускнеть, принимая „благонадежные оттенки". Оба совершили это coup d'état под давлением разных практических соображений. Пороховщиков исхлопотал себе какие-то пособия на предмет замены деревянно-соломенной Руси — Русью глинобитной и огнестойкой. В. В. Гулевич всё ходил около кустарей, стремясь их тоже облагодетельствовать при помощи субсидий. Теперь оба сошлись на „глинобитных предприятиях", которые уже окрасились патриотическими оттенками. Имеет

быть устроена III группа XVII отдела, в которую будет набрана „народная дружина“. Дружину обучат „глинобитию“ и пустят обновлять Русь.

Пахнет весь этот глинобитный патриотизм каким-то шарлатанством и этот запах усиливается еще оттого, что, при сем случае, А. А. Пороховщиков уже получил возможность как-то исхлопатывать медали, награды и звания поставщиков двора — за известное вознаграждение.

После смерти государя в народе стали сильно толковать о том, что вот Иоанн Кронштадтский „замаливает купцов“, а не замолил царя. В половине ноября „святой“ поместил в газетах нечто о последних днях Александра III. Это „нечто“, впрочем, ничего не прибавляет к характеристике покойного, зато немало говорит о чудесной силе возложения рук самого о. Иоанна и т. д. „Его Величество сказал мне: „Вас любит народ“.— Да, сказал я,— Ваше Величество,— Ваш народ любит меня. Тогда он изволил сказать: —„Да,—потому что он знает, кто вы и что вы“. („Точные Его слова“— прибавляет „святой“ в скобках)... За шумом событий — роль кронштадтского чудотворца как-то мало выделялась в газетах. Теперь святой сам сообщает о себе лестное мнение, которое забыли сообщить другие...

(Письмо о. Иоанна Кронштадтского приведено в „Волгаре“ № 276)[1].

[1] Вся эта приписка, стоящая в Дневнике ранее записи о смерти Александра III, занесена впоследствии, на оставшемся свободным внизу страницы месте. После нее в тетради вырезан один лист.

10-го октября я выехал из Нижнего, 13-го был в Петербурге, 26-го вернулся обратно в Нижний (22-го из Петербурга)[1].

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА III

17-го сентября появился первый бюллетень. После инфлюэнцы — развился нефрит. Государя послали сначала в Беловежскую пущу, потом — в Ливадию.

После некоторого промежутка — бюллетени стали выходить чаще, — сначала не ежедневно, потом по одному и наконец по 2 раза в сутки. Около 20-х чисел октября (17 — 18-го) последовало как будто некоторое облегчение. 20-го в „Правит. Вестнике" получены уже три бюллетеня. Первый, расклеенный на улицах раньше обыкновенного,— был помечен 9-ю часами утра, тогда как прежде бюллетени отмечались одинадцатью. Уже это обстоятельство обращало внимание. Затем одна за другой, рядом у думы, библиотеки и на углах значительных улиц — были наклеены следующие телеграммы:

Ливадия, 20-го октября, 9 час. утра.

Ночь Государь Император провел без сна. Дыхание сильно затруднено. Деятельность сердца быстро слабеет. Положение крайне опасно.

Профессор Лейден, профессор Захарьин, лейб-хирург Гирш, доктор Попов, почетный лейб-хирург Вельяминов.

Ливадия, 20-го октяря, 11 ч. 30 м. утра.

Деятельность сердца продолжает падать. Одышка увеличивается. Сознание полное.

[1] В. Г. ездил в Петербург по вызову Н. К. Михайловскаго для участия в общем редакционном собрании „Русск. Богатства", близким сотрудником которого он состоял. В журнале происходили в то время острые трения между новым редактором, Н. К. Михайловским, и прежним руководителем „Р. Бог.", С. Н. Кривенко, закончившиеся выходом последнего из состава редакции. Поездка В. Г. имела главной целью выяснить намерения С. Н. Кривенко по отношению к журналу. (См. письмо В. Г. к жене от 20 октября 1894 г.).

Телеграмма министра Императорского Двора.
Ливадия, 20-го октября.

В 10 часов утра Государь Император сподобился приобщиться Св. Христовых Тайн. Его Величество в полном сознании.

Граф Воронцов-Дашков.

Уже эти необычно-частые сообщения показали ясно, что положение безнадежно. Понятно, что это обстоятельство вызывало значительное оживление интереса, с которым публика относилась к бюллетеням. С утра, около листков, выстраивавшихся рядом, один за другим,— было заметно больше любопытных, чем накануне.

Последняя телеграмма от 20 окт. была вывешена около думы и публичной библиотеки часов в 6 вечера:

Государь Император Александр III в 2 ч. 15 м. пополудни сего 20 октября тихо в Бозе почил.

Министр Императорского Двора Граф Воронцов-Дашков.

Я жил в Палерояле, на Пушкинской,— и ближайшим пунктом, где можно было почерпать известия,— был для меня угол Невского и Владимирской. В начале 7-го — я проезжал с Бассейной и остановил на этом углу своего извозчика. На стене висели три листка, последний был о том, что государь причастился „в полном сознании". (Эта фраза повторялась и в предыдущих бюллетенях). Между тем, уже подходя к углу,— я слышал переходившую из уст в уста фразу —„умер", „скончался в 2 часа". Подойдя к бюллетеням, что,— сказать к стати,— было все таки нетрудно, так как толпа была совсем невелика,— я прочитал последний и обратился к ближайшему соседу.

— Как же, говорят, что умер. Здесь нет известия о смерти.

Мой сосед посмотрел на меня особенным, слегка недоумевающим и отчасти загадочным взглядом... и не ответил. Очевидно, он полагал, что с такими словами, как „царь"

и „умер“ следует обращаться осторожно,— и только переводил взгляд с меня на листы бюллетеней — не вполне ясно освещенные желтым светом ближайшего фонаря и отблеском дальнего электричества. Но в это время— проходивший мимо студент ответил на мой вопрос:

— Умер, в 2 ч. 15 минут. Телеграмма сейчас вывешена около думы.

Я сел опять на своего извозчика и сообщил ему известие. Он ничего не ответил и хлестнул лошадь. Мне кажется, что в его молчании была та же сдержанность, как и в молчании описанного выше соседа, как и во всей этой куче людей, толпившихся на углу, перед белыми листами, с короткими строчками. „Умер“! А как это неправда? Ведь вот на этих листах еще нет этого. Как-бы с этакими словами не быть в ответе.

Однако, оглянувшись, я заметил, что Невский шевелится быстрее и люднее обыкновенного. По панелям шуршали и стучали пешеходы, и колеса катились как будто торопливее, и даже в звонке конно-железнодорожного вагона мне почудилось особенное выражение. Оно и понятно: над Невским уже пронеслась фраза: „Царь умер“,— и я сам воспринимал все звуки людной улицы через эту призму: „Царь умер,— что-то будет“.

Через 15 минут я был на Кабинетской у Н. К. Михайловского. Он тотчас-же послал своего сына в типографию „Правит. Вестника“. Это у Чернышева моста, в переулке, ведущем от площади к рынку. Я был там накануне. Повидимому, принимались экстренные меры, чтобы шире распространять известия о болезни царя. Когда я накануне проходил по площади, то всюду,— на фонарях, на стенах, на решетках сквера висели листки с телеграммами. Гимназисты 6-й (кажется) гимназии выходили с уроков, и я видел, как мальчишки, шаля, срывали листки и уносили

с собой. Повидимому, против этого никто не имел ничего, потому что немало листков были приклеены только за край к решетке. Мальчишки разносили бюллетени по домам, и Петербург узнавал о близком событии.

Мальчик, посланный за телеграммой,— вернулся ни с чем. Телеграммы еще не были готовы и ему сказали приходить через час.

Мы поехали с Н. К. на Бассейную. Могло быть около $6^3/_4$ — 7 часов. На углу уже висела последняя телеграмма дня, кончавшаяся словами: „тихо в Бозе почил". Около нее, точно водоворот людского потока — завивалась толпа. Прохожие, проталкивались, читали и шли дальше. Здесь опять была та же молчаливая, серьезная сдержанность, как и прежде. Газеты писали о рыданиях и молитвах. Может быть это где-нибудь было,— но я не видал ни крестных знамений, ни плачущих. Только топот шагов, гул колес и вообще грохот уличной жизни, казалось еще увеличился.

Я хотел опять садиться на извозчика, когда заметил на панели (на Владимирской) кучку погуще, среди которой происходило движение и давка. Это оказался газетчик, продававший какие-то большие плакаты, в формате полулиста газеты. Это во всяком случае было интересно, и я протеснился к нему. Но в эту самую минуту, он прижал свой портфель под мышкой, протянул руки, как человек, кидающийся в воду,— и раздвинув кучку людей, его окружавших,— отбежал несколько шагов на улицу. В руках у него, когда я подошел опять, был изорванный лист, который он, вероятно для счета, сунул за пазуху. Я дал ему гривенник и получил, как и другие — лист, на котором вверху было написано крупными буквами:

„П Л А Ч Ь Р О С С И Я!"[1]

[1] В тетради дневника вложен самый лист.

Это оказалась наглая афера „Петербургской Газеты". За 10 коп. продавалась, в сущности, та самая телеграмма в одну строчку, которую публика могла прочитать даром на углу улицы. Остальное — представляло просто газетное красноречие в пошловатом псевдо-патриотическом стиле и притом, несомненно, заготовленное ранее смерти государя. Еще $^1/_2$ часа назад — самая телеграмма не была готова в „Правит. Вестнике" в достаточном количестве для раздачи публике. Между тем, плакат „Петерб. Газеты" заключал в себе две длинных статьи, напечатанных убористым шрифтом. Первая — нечто в роде акафиста, вторая — в роде фельетона, в 168 газетных строк! Очевидно, написать, набрать и напечатать все это в каких-нибудь $1^1/_2$ — 2 часа не было никакой возможности. Однако, публика ждала новых известий и в первые минуты брала этот плач „Петербургской Газеты" — с бою.

Вскоре после этого та-же „патриотическая" газета постигнута карой: перед похоронами царя поезд, в котором ехали из Ливадии один из вел. князей и Победоносцев [1] — налетел на другой, перекрестный, около Москвы. „Петерб. Газета" тотчас-же выпустила „прибавление" и разносчики, бегая по улицам, кричали: „крушение царского поезда, новость, новость, крушение царского поезда!". Торговали лучше, чем „плачем", — но зато была воспрещена розничная продажа, что после „плача" не угрожало [2].

Когда я вышел с развернутым листом из середины этой кучки, — ко мне подбежал какой-то прилично одетый молодой человек:

— Что, действительно умер? Ах ты боже мой!

[1] Конст. Петр. Победоносцев, (1827—1907), в то время обер-прокурор Синода, один из главных столпов реакции.

[2] Весь последний абзац, — позднейшая приписка В. Г. на полях дневника.

Он отвернул лист, прочитал телеграмму и отошел, повторяя, повидимому, взволнованным голосом: — Ах, батюшка,— боже ты мой! Это было самое экспансивное выражение чувства, которое я лично видел в эти дни. Думаю и даже уверен, что были кое-где и более сильные проявления,— однако несомненно также, что, в общем, Невский не только не представлял той картины волнения и рыданий, о которых повествовали привыкшие к лубочно-патриотической мазне газеты,— но, наоборот, держался удивительно спокойно для такой драматической минуты. В усилившемся движении было гораздо больше оживления и любопытства, чем каких-бы то ни было других ощущений.

— Слышал, брат,— царь помер,— сказал я, усаживаясь на извозчика. Я нарочно посмотрел ему в лицо и очень удивился: парень повернулся в пол-оборота и почему-то осклабился.

— Смотрите, — смеется,— сказал я, тоже невольно улыбаясь,— Михайловскому. Тому это тоже показалось совсем неожиданно. А в это время,— извозчик тихо прорезал толпу пешеходов, проходивших по панели через Владимирскую. Я оглянулся на эту толпу и опять первое лицо, встретившееся со мной глазами,— было освещенное светом фонарей лицо молодой дамы. Она тоже весело смеялась и зачем-то кивнула мне головой; может быть, я этим обязан был следам улыбки, оставшейся на моем лице от эпизода с извозчиком. Повидимому, дама, очень хорошенькая и весьма приличная,— полагала, что мы встретились не только взглядами, но и настроениями в эту минуту...

Часа $1^1/_2$ или 2 мы провели в толках о журнале у О. Н. Поповой [1]. Кончив эти дела несколько скорее, чем это было-бы в другой день,— мы собрались опять на Невский. Хозяйка была нездорова, но не усидела дома.

[1] Ольга Ник. Попова, в то время издательница „Русск. Богатства".

Напрасно мы убеждали ее, что ничего особенного она не увидит и что не стоит рисковать простудой. Она настаивала на своем.

— Не может быть! Слышите, какой гул на нашей улице.

Я прислушался. За двойными рамами довольно роскошной квартиры — действительно стоял гул, опять показавшийся мне каким-то несовсем обычным и как будто многозначительным. Однако, когда мы вышли из под'езда, оказалось, что Моховая улица имеет самый ординарный вид. Прокатилась с грохотом карета, продребезжали несколько ванек, по направлению к Невскому и от Невского — и ничего больше. Очевидно, мы опять сделались жертвой личного настроения, наполнявшего воздух отголосками фразы: „царь умер".

Мы доехали на угол Литейной и Невского и оттуда прошли пешком почти до Казанского собора. Невский — представлял уже обычное зрелище. Было часов 10. Около бюллетеней уже не было густых кучек;— только одинокие пешеходы, еще не видевшие известия собственными глазами, подбегали, прочитывали и удалялись. Аничков дворец стоял пустынный, темный и молчаливый. В нем светились лишь подвальные окна и вверху единственно освещенное окно погасло при нас. Ворота были заперты. Мы разыскивали глазами траурный штандарт, о котором говорили в публике, но на небе сгустились уже туманные облака. Погода начинала изменяться. Вместо морозной синевы — в вышине навис сырой сумрак и на крыше молчаливого и угрюмого здания не было видно ничего. Впрочем — и на следующий день — никакого штандарта не было.

Панели как будто пустели, по сравнению с предшествующими часами. Кое-где — портрет покойного государя и его наследника в окне — останавливал у этого окна кучку зрителей. Стоило кому-нибудь остановиться,—

и толпа завивалась около него. У пассажа я видел, как молодой человек энергично пробил себе дорогу в такой кучке — к витрине, на которую зевало десятка три досужих людей. В витрине оказались портреты артистов и звездочек оперы и оперетки, порой в довольно таки фривольных костюмах. Энергичный молодой человек пробился обратно и проходя я слышал его насмешливое замечание:

— Чудаки,— старое смотрят!

Старое или новое,— но это именно свойство всякой толпы, особенно в минуты легкого возбуждения,— именно легкого, когда настроение не охвачено одним могучим импульсом. О. Н. Попова согласилась с нами, что выехала она напрасно и уехала с угла Михайловской. Проходя обратно,— мы видели на лестнице пассажа господина, который читал что-то вслух. Оказалось, что это был тот-же „Плач России". Я видел такую-же картину еще раз, подальше, за пассажем, против Садовой. Но здесь,— пошловатые причитания и плохо прикрытая газетная афера оказалась не в состоянии сосредоточить внимание публики. И без того небольшая кучка слушателей заметно редела и наконец сам читатель, не окончив чтения,— сунул лист в карман и пошел своей дорогой. Газетчики стояли теперь уже свободно, никто к ним не теснился, и они напрасно протягивали листы.

— Купите, господа,— последние известия о смерти государя.

Но публика уже разгадала грубую проделку и проходила мимо.

Мы нарочно проходили по Невскому и прилегающим улицам еще 2 раза: в 11 ч. и в 2 часа ночи. Петербург стихал; погода решительно раскисала, туман и сырой дождик моросил сверху с темного неба, тускло мигали фонари, на углах стояли или прохаживались какие-то

проблематические фигуры, очевидно зачем-то поставленные в разных местах и чего-то напрасно ждавшие.

Говорили (и кажется достоверно), что в Петербурге сделаны были экстраординарные приготовления. Ждали каких-то волнений и покушений. Войскам розданы боевые патроны, офицеры за несколько дней получили приказы — оставлять каждый раз на квартирах адреса тех мест, куда они отлучаются вне службы. После этого плац-ад'ютанты об'езжали квартиры, розыскивали офицеров по адресам, и те, которых не находили,— попадали на гауптвахту.

В квартире, где мы провели этот вечер, была также М. В. Ватсон[1]. Около 12 часов за ней прибежала ее служанка.

— Зачем ты пришла? Разве я не могу вернуться одна.

— Ах, барыня! Говорили, на улицах будет бунт. Мы за вас боялись.

Говорили еще, будто за несколько дней — на фабриках рабочие демонстративно отказались идти на молебны о здравии государя. Были, будто бы аресты и волнения... Ждали еще более серьезных волнений при известии о смерти государя.

Но Петербург остался спокоен. Даже удивительно спокоен и солиден.

В 2 часа только городовые сходились с загадочными суб'ектами на углах, да газетчики все протягивали к нам, когда мы шли кучкой, возвращаясь по квартирам,— листы „Плача", который „Петерб. Газета" заготовила очевидно в слишком большом количестве...

[1] Мария Валент. Ватсон, писательница, переводчица.

Такова правдивая картина того, что видел я лично и что говорили мне многие другие. О рыданиях и т. п. я слышал также. В женской гимназии, где учится моя племянница,— одна классная дама об'явила еще о болезни царя с такими истерическими воплями, что с тех пор девочки встречали общим плачем всякое новое известие. С панихид и т. п. девочка возвращалась каждый раз с красными глазами. Дома она говорила об этих предметах совершенно трезво и хладнокровно,— но гимназия доводила ее до нервного расстройства. Это было положительно истерическое заражение. Тоже было в одной церкви, где старик священник сразу-же дал тон толпе. Седой и старый — он об'явил о смерти царя, заливаясь слезами — и паства тоже огласила церковь воплями.

Но я входил в другие церкви, чтобы самому увидеть что-нибудь подобное,— однако напрасно. В Казанском соборе,— много свечей горело за упокой у распятия, поставленного в память „чудесного избавления 17 октября[1]". Замечательно, однако, что свечи ставили больше всего культурные, видимо состоятельные женщины,—купчихи, чиновницы... В 20 минут (около $^1/_2$ часа), проведенных мною в этот раз в соборе,— я не видел ни одной „простонародной" фигуры, ставящей свою свечку.

22-го я ехал опять на извозчике на Бассейную.

— Что брат, жалеете царя?

— Жилеют, страсть жилеют,— ответил он, задумчиво вытягивая лошадь кнутом.—В харчевне этто был... И-и... все жилеют.

— А которого больше жалели: Александра II или нонешнего?

[1] 17 окт. 1888 г. поезд, в котором ехал Александр III со всей семьей, потерпел крушение у станции Борки. Из царской семьи никто не пострадал.

— Тот, как можно... Тот, видишь-ты, на волю отпустил. Как можно... А этот все таки маленько... во всех статьях стеснил...

Впрочем,— и этот был глуповат и мало имел, очевидно, собственных мыслей в голове. А интересно, что думает среди всех этих необыкновенно-пышных торжеств,— настоящий народ, русское крестьянство.

„Царь кормил в голодный год",— это, несомненно, один мотив. Но „царь дал волю господам над мужиками", и прошлое царствование в своих попечениях о народе — не нашло для него ничего, кроме восстановления телесного наказания, тормазов образования и опеку промотавшихся земских начальников. Как-то скомбинируется все это в благодушном представлении серого и темного русского народа и как нарисует он в своей памяти несложную и угрюмую фигуру покойного Александра III.

8 ноября 94

„Новый курс" все еще темен. Пока намечаются только некоторые черты. Первое, что кидается в глаза,— это необыкновенные овации умершему. Правда, тут много казенного, много делается из трусости (не отстать от других в выражении верноподданических чувств). Правда, трудно поверить в искренность чувства, заставляющего выражать соболезнования — напр. поляков, потом евреев, которых гнали в прошлое царствование, как никогда. Но и среди русского народа — стояло междуусобие. Дворяне — несомненно смущены и опечалены. Столько — едва ли даст дворянству (чистыми деньгами из банков) какое-нибудь другое царствование. Народ, правда, молчит и пока еще что-то не слышно о „добровольных" выражениях печали со стороны сходов и „мира". Зато были

венки от „благодарного земства". За что оно благодарно? За систематическое ничем не прикрытое недоверие и сокращение земского принципа. Недавно еще вышел устав врачебных заведений, в котором земская компетенция приведена к нулю. Говорят, в Госуд. Совете большинство признало устав „несвоевременным и нежелательным", и министр вн. дел готов был взять его обратно. Но Александр III написал: „и своевременно и желательно". Устав продовольственный проникнут тем-же презрительным недоверием к земству. И это, однако, не помешало появлению венков от „благодарного земства". Есть венки и масса депутаций также и от городских самоуправлений, — поставленных под ферулу администрации. Все это понятно, если принять в соображение, что в земстве теперь огромное преобладание дворянства, а в думах — купечества. И то, и другое сословия видели прямые подарки — и этого довольно. Петербургская пресса... Печать, правда, развивалась, — но это было, все таки, только в о п р е к и необыкновенному угнетению. Закрытие „Голоса", закрытие „Отеч. Записок", „Правды", „Моск. Телеграфа", „Светоча" и многих других газет и журналов, усиление административного давления на печатное слово, тормазы грамотности и народному просвещению, — вот за что приходится благодарить покойного императора деятелям русского просвещения. Правда, тон опять дают люди, которые в материальном смысле только выигрывают от подобного положения вещей. Такое давление — угнетает развитие печатного слова, но зато создает безмятежную монополию уже существующим органам. Стоит при этом „благонадежностию" взглядов оградить себя от административных взысканий, — а затем уже администрация оградит от либеральной конкуренции. Таким образом — многое об'ясняется в этой пышности и обилии

ований. Однако — не все. Нужно отнести немало насчет репутации — миротворца. В прошлое царствование не было ни одной войны. Правда, что прошло только еще 13 лет (у Александра II одна война — на 26 лет),— но все же, кажется, эта черта, миролюбие, действительна была присуща покойному, и голос Европы сильно влияет на наш диапазон.

Как бы то ни было,— это громкое и необыкновенное проявление преклонения и участия, которое так легко принять за общее движение всего народа,— очевидно импонирует молодому царю. В его ответах на эти обращения губерний, городов, сословий, учреждений—заметно инстинктивное стремление стать под сень этого прославляемого имени. Это звучит во всех его личных обращениях,— в особенности — к Госуд. Совету (тут он начинает речь с того, что покойный не успел сказать ему, как он ценил деятельность этого учреждения,— но тем не менее молодой царь все таки благодарит от имени отца). Однако русский человек, вообще, склонен к надеждам, и всюду слышатся упования на какую-то новую эру. Говорят, прежде всего о том, что в манифестах, ответах и т. д.— весьма мало и редко упоминается о самодержавии. Потом отмечают два ответа дворянствам бессарабскому и костромскому: в первом говорится, что „единение со всеми сословиями поможет мне исполнить многотрудную задачу, ниспосланную свыше". Во втором: „общая глубокая скорбь, связывающая всю русскую землю со мною, да послужит залогом наших общих стараний на благо дорогого отечества". Особенно говорят об ответе бессарабцам. Фил. Шипов [1] — камергер, проживающий в Нижнем,

[1] Ф. Н. Шипов, крупный нижегородский землевладелец, директор Александровского Дворянского банка.

рассказывал (будто),— что в Москве видел бессарабского предводителя. Он ошеломлен этим ответом, так как дескать их адрес был ярко-дворянский и они не ждали упоминания о „всех сословиях".

Сегодня я получил одновременно два письма из Петербурга. В них говорится: 1) „В воздухе носится что-то новое: слухов, надежд целый рой. Даже цензор сказал зачем-то: „теперь через 2 месяца и вы можете просить о снятии цензуры". Говорят о свадьбе, будто бы назначенной на 11 ноября, о снятии усиленной охраны (государь ездит один, в открытой коляске и своей любезностию приводит в восторг толпу),— об удалении Победоносцева, Дурново [1], о новом министре юстиции — Кони [2], о канцлере Милютине [3]... всего не передашь"...

В другом: „Такая масса ежедневно слухов, что прямо теряешься, тем более, что многие противоречивы. Так или иначе, но курс, повидимому, отклоняется немного влево. Мещерского обошли и не заметили при представлении, с нового года уходят: Кривошеин [4], а также, говорят, Витте и Ковалевский [5] (?). Министром внутр. дел, одни говорят, будет Плеве [6], другие — Пален [7], третьи упоминают какое-то мало известное имя, министром

[1] Ив. Ник. Дурново, министр внутр. дел.

[2] Анат. Фед. Кони, (род. в 1844) известный судебный деятель и литератор, в то время обер-прокурор кассационного департамента Сената.

[3] Дмитр. Алексеевич Милютин, один из деятелей эпохи великих реформ (в военной области), в то время живший на покое в Крыму.

[4] А. К. Кривошеин, министр путей сообщения.

[5] Влад. Ив. Ковалевский, директ. департ. торговли и мануфактур, впоследствии тов. мин-ра финансов.

[6] Конст. Вяч. Плеве, впоследствии м-р вн. дел с 1902 по 1904 г.

[7] К. И. Пален, член Госуд. Совета, в царствование Александра II был министром юстиции, с 1867 по 1878 г.

финансов называют Абазу[1]... И так все... Известно только, что из крепости заключенных выпускают, и что говорят об освобождении на поруки всех арестованных по делу Натансона[2] — и его самого. Однако, одновременно идут и аресты. В обществе большое оживление, даже возбуждение. Все ждут чего-то с напряженным нетерпением"...

Во всех этих толках и слухах нельзя не заметить двух основных нот: первая — ожидание водворения большей законности, вторая — ослабления сословной политики и поднятия самоуправления, представляющего начало бессословное. Когда я уезжал из Петербурга 22 октября,— мне рассказывали, будто министр юстиции Муравьев, „как хранитель законов Империи", протестовал против назначения наследником Георгия Александровича[3]. О последнем — самые лучшие отзывы и слухи. Его характер, болезнь, трагическая близость смерти в такие молодые годы,— все это привлекает к нему симпатии. И если все таки в обществе возникают какие-то толки о протесте против его назначения наследником (говорят, он женат морганатически),— то это потому, что русскому человеку хочется видеть где-то героическое „охранение закона" и протест во имя его... Сцену протеста Муравьева передавали весьма эффектно, что разумеется, не мешает ей быть совершенно фантастической...

„Новое Время", воздав всевозможные хвалы усопшему (№ 6699, от 22 октября) сравнивает Россию нынешнюю,— с „старательно расчищенной и разделанной нивой, на которой добрые семена взойдут и дадут обильный урожай. Дай Бог Молодому Государю вырастить на этой ниве возможно больше добрых плодов для блага

[1] А. А. Абаза, в 1880-х годах недолго занимал пост министра финансов, сторонник реформ 60-х гг.

[2] Об этих арестах см. выше, стр. 248—249.

[3] Брат Николая II-го, умерший в 1899 году.

и славы дорогого Отечества! К нему в настоящее время обращены все упования народа, верующего, что Бог благословит в нем благие труды и начинания Его усопшего Родителя. Молодость — не мешает творить добро и мир, любить правду, требовать правды от всех и прежде всего от непосредственных слуг Государя. Напротив, молодость — пора благородных помыслов, бескорыстных чувств и любви к правде и человеку. Русский народ не избалован счастьем, он благодарный народ, и дать ему счастье не так трудно"[1].

В этом — не только все „Новое Время", но пожалуй и вся Россия, не имеющая никаких средств выразить сколько нибудь определенное желание. Упование... но на что же? На добро, на мир, на правду. Однако — в чем же это добро, правда и мир? В возвращении якобы того, что посеяно Александром III. Это говорится ради „стиля", но молодому государю так естественно, почти так неибежно подумать, что печать, что „благодарное земство", что все, высказывающееся в России — умоляет его продолжать политику прошлого царствования. Русский человек не избалован,— ему так легко дать счастие. Да,— это пожалуй правда. Стоит только Николаю II отменить побольше из того, что сделал Александр III, восстановить самоуправление и попранную силу закона, поставить на надлежащее место „первенствующее сословие", обуздать г.г. земских начальников и хоть немножко облегчить работу скованной прессе,— и посмотрите, какие восторги польются на страницы тех же газет. А пока — они намекают, что... если юный государь пожелает идти по стопам усопшего, еще усилить сословность, еще вооружить г.г. дворян против законных прав остальных сословий, еще сократить остальные силы земли,— то и за это они будут благодарны. Русский человек так нетребователен. Его так легко сделать счастливым!..

[1] Курсив в цитате из „Нов. Вр." принадлежит В. Г.

10 ноября

Около дома, по улице, на углах ходят и стоят разные подозрительные личности. Многих мы знаем в лицо, так как эти господа довольно бесцеремонно, под самыми ничтожными предлогами лезут и в квартиры. Сыщики, посещавшие беднягу С., под предлогом его изобретений,— повадились кстати ходить и к Козловой, у которой то и дело требовали домовую книгу (С— вы и К— вы — соседи). Когда, наконец, выведенная из терпения К— ва отказала и прогнала его — нахал стал говорить грубости и грозить. Официально об'явлено об учреждении в Нижнем особой охраны,— Знаменский назначен помощником начальника отделения по охране общественного порядка и спокойствия в Нижнем. Появился опять заведомый шпион Розанов, когда-то являвшийся ко мне с глупыми предложениями посредничества в переписке. Много говорят о следующем подстрекательстве. На Б.-Покровке у магазина Потопаева перед портретами умершего и нового государей стояла кучка народа. Какой-то прилично-одетый господин позволил себе грубую и совершенно неожиданную выходку,— обругал обоих весьма скверно. Кто-то из присутствующих возмутился, задержал нахала,— и его препроводили в часть. Там сказали, будто, что это „наш" и отпустили с миром. И т. д., и т. д.

А сегодня ко мне явился какой-то совершенно загадочный суб'ект с физиономией не то полицейского писца, не то сельского писаря. Назвал себя Ник. Александровичем Чудовым. Приходил раз без меня, потом вторично — при мне. Отрекомендовался, извинился, сказал, что я могу его как-то спасти. Я усадил его у окна, сам сел на свой высокий стул, так что глядел на него сверху. Странный посетитель смущался, путался, кидался из стороны в

сторону, не глядел в глаза, осматривал комнату и поглядывал в сад,— и главное — нес невообразимую околесицу.

— Я бывший учитель, оставил должность не то чтобы, знаете, по каким нибудь там причинам, а все таки... Не то чтобы — надзор знаете... а косятся, да косятся.

— Чем могу служить?

— Я видите-ли, работал в Весьегонском уезде, с Д. И. Шаховским[1] по введению всеобщего обучения. Специалист по составлению сети училищ. У вас много знакомых земцев, если кому угодно,— могу дать указания...

— С этим вам надо бы в земскую управу.

— Без рекомендации не могу... Или вообще какую нибудь работу, знаете ли. Начал жить осмысленной жизнию 2 года... Разумеется, знаете-ли,— не хочется какой-нибудь работы,— а осмысленной...

— В каком же роде?

Вот, если бы кто-либо из ваших знакомых нуждался, так сказать, в человеке, который...

— У меня мало знакомых в деловых сферах.

— Так сказать, из интимных знакомых ваших. У вас или у кого из пишущей братии... личным секретарем.

— Какие-же секретари у пишущей братии? Притом — что же я могу сказать о вас, подумайте сами: разве, что г. Чудов был у меня и говорил со мной 20 минут.

— Да, извините... это правда. Конечно,— ваша проницательность, личное впечатление, впечатление, так сказать, от моей личности... ваша записка могла бы.

Моя проницательность говорит мне, что передо мной или психопат, почти сумасшедший, или человек с очень

[1] Д. И. Шаховской, обществ. и земск. деятель, в Весьегонск. у. Тверск. губ. заведывал в течение трех лет народным образованием и произвел статистико-экономич. исследование уезда.

нечистою совестью, но еще не очень привыкший к дрянному ремеслу и потому неловкий и смущенный.

— Вы давно в Нижнем?

— Сегодня приехал. Личные обстоятельства, так сказать... Знакомые и даже более... Одним словом...

— Ну, хорошо. У вас здесь знакомые...

— Ни души.

Я изображаю вопросительный знак. Он спохватывается: „т. е. ни души из таких, которые могут доставить рекомендации".

— Я вам сказал уже насчет рекомендации... Вам что-же, так спешно нужен заработок?

— Нет, могу прожить месяца три-четыре. Собственно, ищу осмысленной работы.

— Ну, хорошо, — кончаю я, чтобы развязаться. — Ничего вам не обещаю, — но на всякий случай, — позвольте ваш адрес.

— Адрес... Собственно говоря... Я не могу дать адреса.

Я опять изображаю знак вопросительный.

— Да я, знаете ли, через 3 дня уезжаю.

— А!

— Собственно говоря, — меблированные комнаты... Хочу нанять себе... в частной квартире... Да здесь нет вывесок на окнах (поворачивается к окну и смотрит в сад).

— Все это отлично, — говорю я, стараясь сохранить спокойствие на случай, если это только психопат. — Вы хотите устроиться непременно в Нижнем и притом в три дня...

— Нет, собственно говоря, — могу и в уезде...

— И в другой губернии?

— И в другой губернии. Слышал, что вы были в Самаре.

— Я не был в Самаре. Где вы слышали?

— Не помню, кажется, в редакции „Волгаря".

— Я не был в Самаре.

— А я думал. Там теперь Златовратский[1]... Мне представлялись перспективы и все такое.

— Едва ли там и Златовратский, а впрочем, не знаю. Что касается предмета нашего разговора,— то я ничего, повторяю, сделать не могу.

— Ваше влияние... в земстве.

— Никакого влияния нет, а еслиб было,— опять таки не могу ничего сказать о вас. Вы говорите, что работали с Шаховским.

— Да, знаете... Он человек односторонний. Увлечение народным образованием.

— Все равно, он вас знает как работника?

— Да, по составлению сети народных школ. Могу себя назвать специалистом. Исследование отдельных дворов... Ну, это еще не так необходимо... Составление сети... районы... Радиус района можно взять какой угодно. Радиус района — зависит от убеждения...

— Позвольте. Я хочу сказать, что вам нужно запастись рекомендациями от людей вас знающих. Д. И. Шаховской, вы говорите — знает, попросите у него рекомендаций. Владимир Короленко видит вас первый раз и, конечно, рекомендовать не может.

— Извините. Я думал... Прошу простить, что побеспокоил. При всем прочем, — желание иметь удовольствие вас видеть...

Мне опять предствляется возможность психопатии — и я все таки довольно мягко даю понять, что говорить не о чем, тем более, что меня ждет спешная работа. Суб'ект наскоро бегает глазами по комнате и прощается.

[1] Н. Н. Златовратский (1845—1911), известный писатель-народник.

Приходит жена и сообщает, что этот господин приезжал на рысаке,— совершенно взмыленном.

Сыщик или сумасшедший?[1]

13 ноября 94

Опять тот-же господин. Мне показали №№ „Волгаря“ (№ 270) и „Нижегор. Листка“ № 308 (11 и 12 ноября), в которых помещены об'явления: 1) в „Волгаре“:

Интеллигентный приличный молодой человек предлагает здесь или в от'езд, услуги: в качестве домашнего секретаря, лектора или гувернера. Нижегородский почтамт, poste--restante пред'явителю сторублевки № 87,724.

В „Листке“:

Ищут статистических письменных занятий. Специальность — составление нормальных сетей народных училищ для разных уездов. Место работ безразлично. Адрес: Почтамт, до востребования, NN.

Тут опять странный молодой человек не называет своей фамилии и скрывает адрес. В одном случае — это NN, в другом — еще страннее: пред'явитель сторублевки № 87,724! Я вспоминаю, что на мой вопрос о его месте жительства — он отвечал нервно и поспешно.

Сегодня, уже ознакомившись с об'явлениями, прихожу домой и застаю книгу,— свою „В голодный год“. На обертке написаны 2 буквы Н. Ч., в книге вложено письмо. Странный молодой человек просит: „набросать что нибудь собственноручно на прилагаемой книге („В голод. г.“), для меня лично на добрую память о нашем случайном знакомстве. Строки в роде:

— „О чем ты плакала?— сказал я, догоняя ее. Она ускорила шаги. Мне было совестно добиваться ответа“

[1] Против этого места на полях позднейшая приписка карандашем: „Шаховской говорил, что этот Чудов украл у него 300 рублей и грозил доносом“.

(стр. 179), или: „... огромная мужицкая Русь требует постоянной и ровной, дружной и напряженной работы"... (стр. 249)—с именем автора — заставили бы меня искренно благодарить Вас... Н. Чудов" [1].

Письмо написано грамотно и приличным стилем,— гораздо свободнее и проще, чем его устная речь. Он зашел во второй раз, встретил меня на лестнице,— я попросил его к себе и вернул книгу.

— Это так не делается,— сказал я.— Мы с вами не знакомы...

Он не дослушал и перебил.

— Нет, это делается... Например в альбомы...

— Я хочу сказать, что я не имею привычки раздавать автографы, в особенности совершенно незнакомым людям.

— А, извините. Если это против принципа...

Берет книгу и поспешно уходит.

Я свечу ему с лестницы... Что это за странная фигура?

В петербургских газетах от 13 ноября напечатана речь проф. В. И. Ламанского [2], в славянском благотворит. Обществе, заключение которой, по словам одной из этих газет, имеет громадное общественное значение (Р. Ж. № 303). Профессор-славянофил высказывает следующие пожелания, обращенные к новому царствованию:

Да поможет Бог молодому Царю нашему — сказал профессор,— окончить с успехом начатые или задуманные Его Отцом, гигантские работы по соединению русских столиц с Великим океаном и с Белым морем. Да поднимется в его царствование материальное благосостояние

[1] В тетради дневника вклеено подлинное письмо Чудова.

[2] В. И. Ламанский (1838—1914), изв. славист-историк, впоследствии академик.

миллионов крестьянского сословия — главной основы могущества и богатства русского государства, как введением наибольшей равномерности в нашей податной системе, так и облегчениями посредством крестьянских банков приобретать сельским общинам предназначаемые к продаже за неуплату долга заложенные в дворянском банке имения. Да примет, наконец, государство на свой счет содержание старых и заведение новых народных школ, дабы ныне расходуемые на народные школы суммы земство могло употребить на дороги и прочие нужды. Пожелаем, чтобы всякий благой личный почин частных людей или целых обществ встречал все менее преград, воздвигаемых канцелярским порядком, нередко убивающим частную энергию и только поселяющим гибельное взаимное недоверие между государством и обществом, чтобы русская печать становилась все более и более искренним выразителем чувств и мыслей русского общества, дабы лесть не смешивалась с преданностью, а честное, искреннее указание недостатков не принималось за злонамеренность. Да широко развивается в нашем отечестве земледелие, промышленность и торговля, да процветают искусства и науки и да распространяется в нем просвещение в духе христианской свободы и терпимости ко всем вероучениям, так как свет Христов не боится лжи и вера христианская, основанная на личной человеческой свободе и Божественной благодати, не терпит и не допускает принуждения[1].

Об этой речи теперь немало говорят в интеллигентных кружках. И действительно, как ни общи эти пожелания,— но это все таки голос честного человека, очень приятно выделяющийся из этого лицемерного хора всероссийской лести, которая хочет сойти „за преданность".

17 ноября

14 была свадьба молодого государя. Утром 16-го в „Волгаре" были напечатаны в телеграммах извлечения из манифеста. Извлечения эти представили дело в таком виде, будто, кроме облегчения в платежах, сложения недоимок

[1] Курсив в газетной выдержке принадлежит В. Г.

и т. д.— даются сокращения и облегчения наказаний за общеуголовные преступления, подвергающие заключению в тюрьме и крепости, полицейскому надзору, ссылке, каторжным работам. Относительно тех государственных преступников, кои заслуживают снисхождения, повелено войти министру внутр. дел со всеподданнейшим докладом.

В этой редакции,— манифест вызывал бы во многих сердцах чувство разочарования и горечи. Вместо безличной амнистии за госуд. преступления — здесь являются личные ходатайства министра за „достойнейших снисхождения". К счастию — сегодня столичные газеты приносят полный текст. Оказывается, что в манифесте политич. преступления подведены под общее действие § IV, говорящего о преступлениях общеуголовных и, кроме того, министру предоставляется по отношению к государственным преступникам, кои, по роду преступления или вследствие раскаяния, заслуживают облегчения, превышающего прежде исчисленные льготы,— входить с особыми ходатайствами. Таким образом,— во всяком случае госуд. преступники поставленны даже впереди общеуголовных.

В день царской свадьбы на Невском были только войска, конные жандармы и дворники,— для порядка... Потом убрали и войска. Полиция отстутствовала и вообще всякая охрана снята. Легко поверить, что овации народа приняли необычайные размеры.

Говорят,— наша нижегородская охрана тоже снимается. Начальник ее — (таковым называют жанд. полк.— Елецкого, прикомандированного к Баранову)— уехал будто бы в Петербург. Говорят, будто бы он поехал с докладом, что никакой крамолы в Нижнем нет. Трудно поверить,— но говорят... Тон, данный сверху, таков, что, пожалуй,

теперь можно выслужиться таким докладом легче, чем прежними раздуваниями всяких пустяков в громкие политические истории...

Крестьянам сбавляется половина продовольственной ссуды голодных годов, и 1 процент по ссудам крестьянского банка. Дворянам $^1/_2{}^0/_0$ по ссудам дворянского банка и $1^0/_0$ по ссудам металлическим.

18 декабря

Выехав из Нижнего 29-го ноября[1],— я около 2-х недель провел в Москве и Петербурге[2]. По возвращении моем — испытал, как и всякий приезжий из столиц,— жестокий натиск обывателей: что нового в столицах, каковы слухи, кто выходит в отставку, какие признаки „нового курса", Дело, однако, в том, что ничего нового нет, никто еще не ушел, ни одна, можно сказать, административная щепка в России не передвинулась со своего места (если не считать Гурко[3] в Варшаве), и „новый курс" нимало не определился. Недавно штунда об'явлена сектой

[1] В действительности 27 ноября, как видно из отметки в записной книжке - календаре.

[2] В. Г. возвратился в Н.-Новгород 12 декабря (отметка в записной книжке). Поездка в Петербург была связана с делами „Русск. Богатства". В памятной книжке записано: 1-го дек. — „Засед. редакц. комитета „Русск. Бог.", 3-го —„Засед. общ. собр. пайщиков Русск. Бог.", 4-го — „Второе собрание [пайщиков] Русск. Богатства. Окончат. выход Кривенка. Анненский и Южаков входят в редакцию". На этом же собрании В. Г. единогласно, по баллотировке, был избран пайщиком журнала. (См. письма В. Г. к жене от 3-го и 5-го декабря 1894 г.). С этого времени „Русск. Богат." перешло всецело в руки той группы писателей, к которой примыкал В. Г.

[3] Иосиф Влад. Гурко, варшавский генерал-губернатор и командующий войсками варшавского военного округа. 6 дек. 1894 г. был уволен от занимаемых им должностей.

особо-вредной. Уже до этого об'явления в юго-западных губерниях происходили душу возмущающие насилия над штундистами,— вредными только потому, что их проповедь и примеры их жизни — сильнее проповеди и примеров их оффициальных оппонентов и преследователей. Недавно-же сожжены сочинения Г. З. Елисеева[1], изданные Солдатенковым. Цензура обещала ранее пропустить их с вырезками разных мест. Места эти вырезаны, а книга все таки сожжена.

В Москве — студенческие беспорядки. Молодежь, чуткая, как и всегда, что-бы ни говорили об ней пессимисты разных лагерей — волнуется толками и слухами, ожиданиями и надеждами окружающего общества. Только в то время, как общество поражено каким-то бессилием своего мнения и официальная его часть — увлечена инерцией сервилизма до геркулесовых столбов, лести и ханжеского преклонения перед покойным императором,— молодежь, как всегда,— менее связанная житейскими отношениями и более честная,— стремится высказать то, что у нее на душе. В ее среде были уже довольно бурные столкновения по поводу венка от учащейся молодежи. Потом ходили проекты адреса. У молодежи хватило такта воздержаться с ним в то время, когда труп Александра III был в Москве. Но затем — все это опять зашевелилось. Очень может быть, что из этого ничего бы не вышло, кроме внутреннего брожения, если-бы слишком открытое холопство другой стороны — не подлило масла в огонь. Эту неблагодарную (а может быть, впрочем, и очень

[1] Григ. Захаров. Елисеев (1821 — 1891), один из старейших и виднейших русских публицистов, сотрудник „Современника“ и „Отеч. Записок“ (последний журнал Елисеев редактировал совместно с Некрасовым и Салтыковым).

„благодарную") роль — взял на себя известный историк Ключевский[1]. Попович по происхождению, семинар по первоначальному образованию, человек даровитый и талантливый, но хитрый, неискренний и что называется — сильно „себе на уме",— он, говорят, метит в Победоносцевы. Может быть, это и неверно в частности, но несомненно, что вообще талантливый кутейник „куда-то" метит, недовольствуясь ролью ученого профессора, хотя-бы и очень популярного и известного. Популярность среди молодежи, снисканная между прочнм смелыми и очень „либеральными" „морсо" его лекций,— ему уже недостаточна. И вот,— университетский либерал начинает показываться в люди в московских журналах в каком-то старинном одеянии: не то калика перехожая, не то смиренный монах. В голодный год он читал лекции о благотворителях древней Руси. Уже в этой лекции о.....[2] вместо прежнего бойкого слога, трезвых и порой метких характеристик — меня поразил какой-то мироточивый стиль, во вкусе умиленного славянофильства. Так[3].....

Но это еще только стиль,— и можно было сказать, как мне это и говорили, что он соответствует содержанию и что цель — тронуть современных благотворителей, да еще „на Москве". Но затем перехожий профессор не довольствуется одним стилем, а пускает елея в самое содержание. В статье о Лермонтове, в „Русской Мысли" он начинает рядить Лермонтова в свою полу-фантастическую ряску. Автор Демона и Печорина, скептик,

[1] Вас. Осип. Ключевский, (1841 — 1911).

[2] Пропуск у автора. Вероятно лекция об Иулиании Лазаревской, благотворительнице времен Бориса Годунова, продавшей все свое имущество для покупки хлеба голодающим. В 1614 г. причислена была к лику святых. (См. В. Ключевский „Добрые люди древней Руси", „Богословский Вестник" 1892 г. № 1 и отдельно, Сергиев Посад).

[3] В этом месте дневника пропуск в четыре строки.

фаталист, байронист и протестант, игравший жизнью, как игрушкой и идеализировавший зло, как элемент раз'едающий житейскую пошлость его времени, — под рукой почтенного профессора превратился в искренно и тепло верующего русского человека и разными витийственно-словесными хитросплетнями — приводился к уподоблению с тишайшим царем Алексеем Михайловичем.

Все сие,— определяясь постепенно и во благовремении — привело ловкого витию и либерала университетских аудиторий, — к положению наставника Георгия Александровича, ныне наследника. Но, конечно, и этого мало, тем более, что нынешний наследник очень болен и едва-ли когда-либо будет фактически у власти. Перехожий профессор скидает еще оставшиеся либеральные ризки — и является в полном облачении.

Молодежи то и дело говорят, что она должна сторониться от политики, и это разумеется правда. Но что делать, если политика не оставляет ее сама в покое. Что делать, если брат, сестра, товарищ — то и дело пропадает куда-то „по недоразумению", если вся воспитательная система пропиталась неискренностью и шпионством, если, наконец, профессор с кафедры, вместо истории, читает дифирамбы ближайшему прошлому, благодеяния которого по меньшей мере спорны. Можно-ли требовать от чуткого возраста — равнодушия ко всему этому, деревянного индифферентизма. Можно-ли удивляться, что перехожего профессора студенты ошикали на ближайшей лекции..

Затем случилось нечто еще худшее. Ключевский издает свою лекцию об Александре III-м,[1] а кто-то,— может быть студенты, а может быть и не студенты,—скупили

[1] „Памяти в Бозе почившего государя имп. Александра III" (Чтения Моск. Общ. Ист. и Древ., 1894 г. и отдельно Москва, 1894 г.).

около 200 экз. брошюры и на первой белой странице приклеивают басню Фонвизина „Лисица-Кознодей". Сочинения Фонвизина изданы недавно, в качестве приложения к какому-то иллюстрированному журналу, и никто не мог предвидеть, что одна из басен придется как раз по настоящей минуте. Басня начинается тем, что в лесу пронесся слух о смерти льва, царя скотов. Лиса прославляет его, как лучшего из царей, который

И скотолюбие в душе своей питал.
В нем лучшую себе опору почитал.

И т. д. Крот, слыша эти похвалы, удивляется их наглости, а собака отвечает:

... Чему дивишься ты,
Что сильному (скоту) льстят подлые скоты.

Все это, в связи с проектами петиции, раздражило московское начальство и, воспользовавшись предположением о сходке, которая могла и не состояться, оно наполнило университет полицией, которая переписала студентов, без разбора, не исключая и тех, кто был в лабораториях и на лекциях для занятий — и из Москвы разослано не менее 40, а может быть и до 200 студентов.

Так начинается новое царствование. Склонности молодого государя, повидимому, направлены в сторону благодушия и доброжелательства. Но они еще ничем не проявились определенно; продолжается инерция старого порядка. „У нас правит еще пока—труп Александра III",— говорили мне в Петербурге. И нужно сказать, что это длится слишком долго. Ожидания потеряли свою свежесть, слухи, не получая реального выражения,—вянут и смолкают, ожидание надоело,— и когда я был в Петербурге — самые слухи шли на убыль. „Да и кто это первый пустил, будто государь ходил по Невскому?"— начинают спрашивать и не находят ответа... Правда, что Россия или

вернее общество виновато само,— потому что неискренность, условность и сервилизм перед недавним властелином — сбивает с толку и заглушает самый голос жизни. Можно подумать, что Россия жаждет одного,— продолжения старого: мужик хочет, чтобы его били, земство,— чтобы его устранили, думы,— чтобы их отдали в опеку администрации, разночинцы,— чтобы их детей лишили права на образование, и вся Россия,— чтобы на нее окончательно распространили правила усиленной охраны и без того устранившей законы в половине страны. Нужно очень умного и крепко убежденного человека, чтобы расслушать и разглядеть истинные нужды всей России — нужду в законности, в самоуправлении, в свободе мнения и инициативы,— чтобы заметить все это сквозь густой туман условной лести и казенных умилений...

К характеристике Ключевского: в своей речи он сравнивает Александра III с — Петром Великим. И тот и другой сблизили нас с Европой. Сравнение столь же удачное, как и приведенное выше сравнение Лермонтова с тишайшим царем. Петр Великий дрался с Европой — и насаждал в России европейское просвещение и порядки. Александр III — наоборот любезничал с Европой,— в то же время вводя в Россию порядки азиатских деспотий и гоня просвещение...

Затем, мне невольно вспоминается еще один эпизод. Несколько лет [назад] в Москве был известный критик Георг Брандес. На обеде, данном ему кружком московских писателей и профессоров — я впервые познакомился с Ключевским. Отведя меня в сторону,— последний начал нападать на Брандеса с ожесточением, очень удивившим меня в человеке, все-таки явившемся на этот обед. Он доказывал между прочим, что Брандес плохой историк.

— Но ведь он главным образом критик,— заметил я.

— Критик не может быть не историком.

— А Добролюбов?

Ключевский привел какое-то хитросплетение для оправдания Добролюбова в том, чего не прощал Брандесу. У нас это как-то иначе выходило,— по его словам. А затем он окончательно удивил меня следующим рассказом.

— Сунулся тоже ко мне третьего дня там-то (не помню уже теперь, где это было). Шпрехен зи дейч?— „Нейн". Parlez vous français?— „Нон. Солеман рюс". Небось отскочил,— заключил российский профессор рассказ о своем разговоре с профессором иностранным.

Я отошел, удивляясь и недоумевая: неужели это я имел честь беседовать с „известным, талантливым и популярным ученым"?..

19 декабря

Эпоха, которую мы переживаем,— знаменательная и необыкновенно характеристичная для русского прогресса. Общество ждет и надеется. Чего ждет и на что же надеется? Само не двинув пальцем, само не смея не только требовать, но и просить, и не только просить, но хотя-бы пассивно, достойной сдержанностью выразить свое отношение к тому направлению, которого представителем был Александр III,— оно тем не менее ждет либеральных реформ и надеется на то, что их даст „молодой царь". Самые овации реакционному царствованию покойного государя — многие желают оправдать побуждениями тактическими: видите как мы смиренны, как мы лояльны, как мы преданы... Итак,— дайте! Но ведь *дать*— значит кое-чем поступиться, а поступаются только под давлением обстоятельств и требований... Силы, которая бы *взяла* у неограниченной монархии свое, нет,— и, конечно,

пока о конституции едва-ли может быть и речь... Но зато есть обстоятельства.

Вот источник наших надежд. Мы, даже холопствуя и раболепствуя, чувствуем, все чувствуем, что обстоятельства в сущности все-таки за „либеральные реформы". Россия видела уже не один случай, когда цари становались во главе ее прогресса. Прочтите Соловьева, характеристику до-Петровского строя,— и вы увидите, как обстоятельства складывались в форму внутреннего банкротства и несостоятельности старого строя. Он весь обветшал. Им как будто довольно большинство, за него „готовы сложить головы" стрельцы и бояре, и смерды,— но правительство не может не видеть, что дела плохи, что из сотни рублей, взысканных с людишек,— к нему достигает лишь один рубль,— остальное просасывается в щели старого механизма, что всякое начинание разбивается о косность и инерцию, что людишки „бредуть врозь", что царский закон—рождает лишь волокиту и утеснение, что наконец, яко-бы довольные строем смерды — почему-то все волнуются толками и обнаруживают тупое озлобление. И вот является Петр Великий, который слышит слабый еще голос сознательной русской мысли, знает, что за него будет меньшинство действующей части общества, но зато — гениально схватывает „обстоятельства" и могучим толчком движет государственную ладью. И целые поколения передовых людей только продолжают затем его работу.

Сознательных сил в обществе гораздо больше перед освобождением крестьян, но и их еще так мало, что проживи еще Николай лет 10 — 20,— и десять — 20 лет народ не был бы освобожден. Но, говорят, Николай отравился. Это был дубовый человек, ни в какой мере неспособный схватывать смысл „обстоятельств" и тихих,

подавленных требований жизни. Внешняя война вывернула Россию на изнанку, обстоятельства показали себя во всем блеске, и могучий самодержец, Юпитер Севера, всесильный деспот величайшего государства увидел себя — слабым, осмеянным, бессильным. Он, всемогущий, не умеет доставить пороха на бастионы, потому что его машина превращает порох в подлую взятку, а гибнущим на бастионах войскам доставляет один уголь. Он — крепостник, защищающий право помещика — казематами, Сибирью, солдатскими шпицрутенами,— видит, что его дворянство поставляет ему какую-то видимость мундиров, соперничая с интендантом, который, под носом у него, всесильного, привозит войску картонные подошвы. И те самые офицеры, которые завтра погибнут героями на поле битвы,— сегодня участвуют в этой оргии воровства и обмана. Такова сила его машины, такова сила обстоятельств.

Сознательная общественная сила еще выросла под влиянием реформы Александра II,— которую он опять октроировал сверху. Общество выделяет даже протестующую и действующую группу, пытающуюся противустоять начинающейся реакции. Но эта группа опять слаба, изолирована от народа, неопытна, проникнута фантастическими понятиями о реальных условиях и соотношениях общественных сил. Она не в силах увлечь за собой общество, не в силах остановить течение реакции,— и в отчаянии обращается в отряд каких-то абреков: пусть мы погибнем, но погибнем не одни. Александр II пал под их ударом. Это не была победа; это похоже на то, если-бы предводитель победоносной армии пал под внезапным натиском кучки разбитых неприятелей. Армия склонила знамена над телом павшего — и еще с большим ожесточением принялась за преследование неприятеля. Когда-же неприятеля не оказалось,— то месть победителя

обрушилась на нейтральных или „сочувствующих“ и — Россия застонала под дубовым, мстительным режимом Александра III, вступившего на престол под впечатлениями гибели „либерального“ отца...

Это был второй Николай I по отсутствию чутья действительности и по непониманию обстоятельств. Он знал одно: против всякого положения „либеральной эпохи“ — он выдвигал противуположение, где только мог. Он выдвигал обиженного реформой помещика, упрямо противился образованию, устранил закон, писал „молодец!“ на Барановских донесениях о безобразной и беззаконной порке обывателей и довел реакцию до той точки, где начинается уже пассивное сопротивление самой бессознательной среды: начали уже бить его земских начальников на сельских сходах, а число отдельных бунтов, вспышек и беспорядков возросло до таких размеров, каких не бывало в конце крепостного права. Бунт военных поселений — шутка перед нашими холерными беспорядками 92 года,— ничего подобного Россия не видала со времен Пугачова и волжской вольницы. И что всего хуже,— в этих холерных бунтах проглянуло огромное, массовое инстинктивное недоверие к власти: в народе была уверенность, что врачам „приказано“ пускать мор и травить людей — приказано свыше... А непонимание обстоятельств в дубовом царе доходило до того, что тотчас после голода, во время самой холеры — он говорил в Москве дворянам — и все газеты перепечатали эти ужасные слова:

— Слава богу, десять лет прошли благополучно!

Он уже не видел, не слышал ничего, что делается в России,— отупевший слух не улавливал голоса измученной земли.

Он умер — к великому счастию России. А впрочем — Россия все-таки бессильна пред'явить свой голос, свои

требования. Но она надеется: обстоятельства, хотя прикрытые мишурой внешнего могущества и финансового благополучия,— все-таки выступают ясно, и Русь надеется, что у молодого царя слух лучше. Русь надеется, что молодой царь поймет, что дворянство — уже труп, как сословие, и что на электризацию этого трупа напрасно истощаются финансовые силы народа. Труп только страшно вращает глазами, пугает добрых людей и пожалуй вызовет на свет поверие об осиновом коле... Русь надеется, что молодой царь поймет,— что закон есть верховная воля, и что эта верховная воля — топчется всяким мошенником в мундире высшего ранга, как ветошка. Русь надеется, что царь поймет, как усложнились обстоятельства до того, что царь не правит уже давно, что он игрушка у камарильи, складывающейся случайно у трона, что давно пора слушать голос самой земли, хотя-бы и робкой пока, хотя-бы и не смеющей поднять его сама,— что пора выработать другую систему общения между царем и землей, что „царский совет“ должен подбираться не случайно, а на основании разумной системы.

Русь надеется... но она грешит своей робостию, своим раболепством. За это она наказана: труп продолжает царствовать, а молодой государь смущен и недоумевает. Если так... неужели все, что делал отец, что по естественной реакции критиковалось при дворе наследника,— неужели все это совпадает с „волей народа“... А окружающие смыкаются плотной стеной, чтобы заглушать другой, тихий голос земли и... „обстоятельств“.

Добрые желания юного царя — кажется несомненны. Но нужны выдающиеся способности, нужна энергия, знание, сила, чтобы отстранить эту стену „старых слуг“, это галдение „доброго русского народа“ или вернее того, что ему выдают за народ. Чтобы раздвинуть все эти

препятствия — и сказать: а ну-ка, где у вас тут „обстоятельства", а ну-ка, где у вас тут общество и народ? Говорите, милые, говорите, не бойтесь...

Да, если что будет хорошего в ближайшую минуту, то Россия еще раз будет обязана этим личности монарха, который сумеет понять и уступить во время, пока — не активной силе общественных требований, которых не слышно, а пассивному действию „обстоятельств".

А без этого — будет в России плохо...

Однако, кое-где все таки что-то старается пробиться. Тверская губерния — исконный оплот либерализма, — и тверское земство первое выступает с попыткой более или менее откровенных заявлений. Недавно заявляли в газетах, что тверское губ. земское собрание чуть не на половину состоит из земских начальников. Всех гласных около 60. Адрес тверского земства, предложенный Родичевым[1], — принят 45 голосами. 11 гласных, в том числе 8 земских начальников, протестовали и потребовали вторичной баллотировки, утверждая, что баллотировалась в принципе лишь идея подать адрес, а не данная его редакция. Родичев прочел вторично и адрес принят опять подавляющим большинством, при общих рукоплесканиях.

А вот и самый адрес:[2]

„Ваше Императорское Величество. В знаменательные дни начала служения Вашего русскому народу, земство Тверской губернии приветствует Вас приветом верноподданных. Разделяя Вашу скорбь, Государь, мы надеемся, что в народной любви, в силе надежд и веры народа, обращенных к Вам, Вы почерпнете успокоение в горе столь неожиданно постигшем Вас и страну Вашу, и в них найдете твердую опору в том

[1] Фед. Измайлов. Родичев, председ. тверск. губ. земск. управы, впоследствии член Госуд. Думы.

[2] Текст вклеенного в дневник адреса переписан на пишущей машинке.

трудном подвиге, который возложен на Вас Провидением. С благодарностью выслушал народ русский те знаменательные слова, которыми Ваше Величество возвестили о вступлении своем на Всероссийский Престол. Мы вместе со всем народом русским проникаемся благодарностью и уповаем на успех трудов Ваших в достижении великой цели Вами поставленной — устроить счастье Ваших верноподданных. Мы питаем надежду, что с высоты Престола всегда будет услышан голос нужды народной. Мы уповаем, что счастье наше будет расти и крепнуть при неуклонном исполнении закона, как со стороны народа, так и представителей власти, ибо закон, представляющий в России выражение Монаршей воли, должен стать выше случайных видов отдельных представителей этой власти. Мы горячо веруем, что права отдельных лиц и права общественных учреждений будут незыблемо охраняемы. Мы ждем, Государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам их касающимся, дабы до высоты Престола могло достигать выражение потребностей и мысли не только представителей администрации, но и народа русского[1]. Мы ждем, Государь, что в Ваше царствование Россия двинется вперед по пути мира и правды со всем развитием живых общественных сил. Мы верим, что в общении с представителями всех сословий русского народа, равно преданных Престолу и Отечеству, власть Вашего Величества найдет новый источник силы и залог успеха в исполнении великодушных предначертаний Вашего Императорского Величества".

20 декабря

У нас вошло в моду беззаконие в такой степени, что во многих случаях стало бытовым явлением. Если-бы кто нибудь из высших представителей сумел внимательно вглядеться в так называемые „бунты" и „сопротивления властям", и собрал-бы официальные сведения по этому предмету, то мог бы точно установить следующее явление, заметное уже и на глазомер. Количество таких бунтов, падавшее со времени освобождения крестьян приблизительно

[1] Курсив всюду принадлежит В. Г.

до $^1/_2$ 70-х годов,— с этого времени, наоборот, растет количественно и качественно с угрожающею силою. Вместо того, чтобы изучить причины этого явления, найти его общий источник и принять разумные меры,— наши правители, как истинные слепцы — довольствуются „непосредственными чувствами“ и порывами. „Патриотические“ газеты любят передавать случаи „быстрого“ усмирения — и восхищаются его энергией. „Приехал на место губернатор... Соколиным оком окинул он толпу... Зачинщиков... розог... Толпа пала на колени“. Эти анекдоты мы слышали о недавно умершем Корфе (амурском) [1], генерал Баранов рассказывал их в похвалу себе во всеподданейших докладах Александру III-му, и еще на днях один московский врач, старый народник, знакомый Л. Н. Толстого (хотя впрочем не его поклонник) — передавал такую-же историю о знакомом губернаторе. Выехал этот губернатор „на усмирение“,— стоит толпа бунтующих мужиков, напротив—казаки. А в это время — под'езжает в коляске молодой купчик. Губернатор знает, что это — и есть местный кулак, торговец, держащий в руках всю округу,— и он-то дескать,— заводчик смуты. Загорелось губернаторское сердце, явилась внезапная идея. Купчик выходит с любезною улыбкой из коляски,— губернатор вдруг казакам:

— Взять его! Р-р-розог! Клади.

Купчика выдрали, мужики увидели это и внезапно бунт прекратился...

И старый народник рассказывает об этом с некоторым восторгом. Ну, скажите,— не лучше ли было выдрать одного, хотя бы и противузаконно,— вместо порки десятков людей,—а может быть даже вместо кровопролития...

[1] Андр. Никол. Корф (барон), состоял с 1884 по 1893 г. приамурским ген.-губернатором.

Все эти анекдоты берут явление с того момента, когда уже дело поставлено в виде — казаков с одной, бунтующих (на коленях?) — с другой стороны. Внезапное осенение, натиск, р-розги! Кончено! Остается только написать донесение на высоч. имя („пришел, высек, усмирил") — и получить милостивую резолюцию: „Молодец!". Это до такой степени вошло в моду при покойном государе, что напр., генерал Баранов высек георгиевского кавалера.

— А, георгиевский кавалер... Рассчитываешь на закон... Р-розог.

В другой раз он-же выдрал учителя, который отношения двух дерущихся сторон хотел поставить на законную почву. Баранов спросил:

— Сколько истратил на судьбища?

— 75 рублей.

Это, повидимому, очень немного для попытки разрешить тяжбу, приводившую уже много раз к дрекольям. Может быть, учитель ждал похвалы и поощрения: ведь он с почвы беззакония и буйства старался направить дело на почву закона. Но генерал, осененный внезапной генеральской гениальностью, скомандовал:

— 75 розог!

В дер. Дубенках — выпоротый староста сошел с ума, а после этого суд решил дело в пользу крестьян. Хотя затем следующая инстанция отменила это решение, —но очевидно, однако, до какой степени дело было спорно и до какой степени крестьяне могли добросовестно заблуждаться насчет своего права. За Барановым последовал Неклюдов, который перепорол баб по делу, в котором мужики были уже окончательно правы — и самый бабий бунт был вызван совершенно беззаконным вмешательством администрации в пользу неправой стороны. Неклюдов уволен (между прочим и за прямые поборы и за глупость вообще),—

но самое явление только растет и ширится. В Юзовке — пороли жестоко и страшно уже усмиренных людей, а после вдобавок еще предали суду. И суд играет комедию, судит уже наказанных, оправдывает многих, уже выпоротых (факт) и присуждает к пустякам людей, понесших уже более жестокую кару. И все это —„по указу Его Величества",— над которым уже вперед насмеялся усмиритель-губернатор: „я, дескать, уже прописал им свой собственный указ!"... И вот наши газеты, повторяющие анекдоты о быстроте и натиске административных орлов,— молчат об этой стороне явления. И никто не замечает, что, несмотря на жестокие порки усмиренных,— явление все таки растет, бунты становятся все чаще, захватывают все большее число людей, растут в интенсивности и количестве.

На днях ген. Драгомиров [1] издал замечательный приказ по поводу одного из таких „усмирений". Приказ отдан по войскам Киевского военного округа и перепечатан „Новостями", из которых заимствовали его и другие газеты. (Я цитирую его из „Волгаря", подцензурной Нижегор. газеты от 20 декабря, № 305).

„По требованию подольского губернатора,— говорится в этом приказе,— в июне сего года от казачьей дивизии были командированы две сотни донского казачьего полка для содействия гражданским властям. По прекращении беспорядка, гражданское начальство нашло нужным произвести „экзекуцию" над зачинщиками. Начальствовавший сотнями есаул не постеснился назначить для исполнения экзекуции команду казаков. Если бы упомянутый начальник был хоть несколько знаком с „правилами о призыве войск для содействия гражданским властям", более заботился о соблюдении собственного достоинства, а также о достоинстве и чести казачества, то, конечно, не обратил бы казаков в команду для порки: ему было бы известно, что наше дело усмирять неповинующихся, а не драть усмиренных. Начальнику 2-й сводной

[1] Мих. Иванов. Драгомиров, участник войны 1877 — 78 г., писатель по вопросам военного дела. В то время состоял командующим войсками Киевского военного округа.

казачьей дивизии предлагаю арестовать есаула на семь суток с содержанием на гауптвахте за наряд команды на экзекуцию. О том, что незнание и неисполнение требований устава гарнизонной службы даже в мирное время могут повести к вредным для службы и неприятным для исполнителя последствиям, не раз говорилось. Еще раз убедительно рекомендую ознакомить покороче с этим уставом".

Думаю, что этот приказ, исполненный действительного достоинства и взывающий к чести войск,— должен произвести огромное впечатление в армии, которая до сих пор так покорно исполняла беззаконные распоряжения о „сечении усмиренных" своих соотечественников. Однако, не меньшее впечатление произведет он и на г. г. губернаторов, которым, пожалуй, может показаться чуть не революционным. Генерал ссылается правда „на уставы". Но разве не на уставы и законы ссылались и георгиевские кавалеры и учителя, писавшие законные прошения бунтовщикам. Разве не на эти ссылки на уставы и законы г.г. губернаторы привыкли отвечать своими „энергичными распоряжениями":

— А-а, закон! Вот я пропишу тебе свой закон. Р-розог!

И вдруг — нельзя! Что-же теперь будет?

Вчера Московские газеты принесли известие, сообщенное по телеграфу:

Петербург. 18 декабря. Высочайшим приказом 17 декабря уволен, согласно прошению, от должности министра путей сообщения гофмейстер Кривошеин [1].

[1] Министр путей сообщения Кривошеин попавший на этот пост при содействии кн. Мещерского (ред.-изд. „Гражданина"), был уволен от должности за слишком беззастенчивые хищения. Об этом инциденте В. Г. говорит в своей статье „Суррогаты гласности для высочайшего употребления", появившейся в 1903 г. в зарубежном органе „Освобождение" (№ 16). Печатается в наст. изд. в ряду публицистич. работ писателя.

24 декабря

21 декабря в Нижний приезжал В. А. Гольцев и читал в коммерческом клубе лекцию под заглавием: „В. Г. Короленко“,— в пользу Общества взаимного вспомоществования учителей и учительниц. Лекция представляет, как все статьи Гольцева,— частию компиляцию, частию же приближается по характеру к так называемой эстетической критике, в том смысле, что останавливается, главным образом, на „красотах“ разбираемого автора. Из лучших мест составляется нечто в роде букета — и преподносится публике,— вместо того, чтобы, взяв какое-нибудь глубокое течение, к которому принадлежит то или другое литературное явление — отыскать его место, его связь с основной нотой, его индивидуальные особенности на этой-же почве. Впрочем,— лекция как лекция, говорят, что, пожалуй, одна из лучших у Гольцева. Интересно, что при ее разрешении— во-первых, запоздали сильно афиши,— из-за формальных мелочей, довольно бесцеремонно направленных к тому, чтобы затормозить чтение. Гольцев,— как опытный лектор,— всегда приберегает на конец какое-нибудь эффектное „морсо“. В качестве такового, в данном случае фигурировало стихотворение Я. П. Полонского:

Писатель,—если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Это упоминание „о свободе“— вызвало разные толки и расспросы: что это за стихотворение, действительно ли стихотворение Полонского, и т. д. В Москве Гольцев

читал ту-же лекцию и с тем-же концом,— и там все это выдержало цензуру. Но у нас — цензор не пропустил короткого изложения самой лекции, сделанного С. Д. Протопоповым. Строки о свободе — были вычеркнуты самой редакцией „Листка". Осталась одна эстетическая характеристика, в которой признается, что у меня нет непосредственно „политических или социальных тенденций". Цензор не пропустил, написав карандашом на полях, что пропустить не может. А если редакция пожелает настаивать,— то пусть представит оригинал лекции „для сличения". Таким образом — цензура считает себя ответственной уже не за те или другие идеи по существу, а за верность самой передачи лекции (которая в данном случае, впрочем, не могла возбуждать сомнений). Гольцев уехал, оригинала лекции представить было нельзя и заметка не появилась.

Интересно в том смысле, что цензура ставит часто одних лиц вне всякого порицания, других,— вне похвал. Нельзя, напр., сказать слова о Башкирове, Киршбауме [1], Шипове, одно время нельзя было трогать С. Н. Зененко [2],— пока не рассорился с губернатором. Зато — относительно других, как Зарубин [3], Уткин нельзя писать похвал, а обо мне — нельзя сделать извлечений из похвальной лекции,— опять-таки в настоящее время. Ранее — препятствий не встречалось.

Это совсем по Щедрину: „Существуют 2 вида людей и явлений: один, к которому нельзя отнестись апологетически, другой,— к которому сколько угодно можно относиться апологетически, но не удобно отнестись критически". („Дневник Провинц." 288).

[1] Киршбаум, один из заправил Александровского дворянского банка.

[2] С. Н. Зененко, врач, гласный гор. думы и дворянского собрания.

[3] Зарубин, купец, гласный гор. думы, оригинал, всегда находившийся в рядах оппозиции. См. о нем Дневник 1895 г. запись под 12 апр.

Несколько дней уже (кажется с 20-го декабря) — редакция „Нижегород. Листка“ перешла в руки Алексея Алексеевича Дробышевского. Едва-ли и из этой комбинации что-нибудь выйдет. Ермилов ушел и — грозит, что из за этого — Волкова (издателя) не утвердят редактором.

29 декабря

В „Листке“ редакция напечатала следующую заметку:

„Отчет о лекции г. Гольцева, обещанный нами в краткой заметке о ней, по некоторым обстоятельствам, не мог и не может появиться. Делаем это заявление в виду обращенных в редакцию запросов“. № 350.

Сегодняшний (351) № „Нижегор. Листка“ вышел только в 4 часа дня. Оказалось, что цензор (Харлампович), относившийся довольно благосклонно к газете, пока в ней работал заведомый жулик,— стал необыкновенно придирчив к редакции, в которой секретарем А. А. Дробышевский. Он зачеркнул все статьи всего №, за исключением хроники, на том только основании, что по заглавиям они не подходят под заглавия рубрик в утвержденной программе. Дробышевский ездил об'ясняться и сказал, между прочим, что видит в этом притеснение и именно за то, что из редакции удален Ермилов. Харлампович вспылил и возвысил голос:

— Вы не смеете мне этого говорить.

— Прошу не кричать,— перед вами не мальчишка,— ответил Дробышевский.

Встретив хоть некоторый отпор, цензор смягчился. Редактор потребовал тогда пропуска заявления от редакции: о причине невыхода №,— за неразрешением его в пределах миловской программы.

— Да я и не требую от вас, чтобы вы не выпускали номер.

— Но вы задержали все статьи для номера назначенные, и мы несколько дней по вашей программе выпускать газету не можем, тем более, что Милов и Ермилов унесли из редакции все, что могли, и у меня нет даже официально утвержденной программы.

Повидимому, цензор побоялся скандала и пошел на компромисс.

— Хорошо, выпускайте так, как приготовили.

— Подпишите.

— Я подпишу завтра выпущенный уже №. Надеюсь, вы мне поверите на слово? Я человек вспыльчивый, но недурной, и зла никому не желаю.

Таким образом, этот чиновник канцелярии губернатора, канцелярии, доставившей газете цензора Ермилова,—требовал к себе такого доверия, которое на следующее утро должно было отдать и редакцию, и типографию, и газету на его милость и немилость. У него оставались оттиски всех статей, которые он предлагал теперь выпустить, с пометками о том, что они пропущены быть не могут. У редакции были лишь такие же оттиски, разговор происходил с глазу на глаз, после очевидно недоброжелательной выходки цензуры, направленной непосредственно против Дробышевского.

К счастию, типографщик—купец, человек менее доверчивый к добродетели губернаторских чиновников — не решился выпустить газету при таких условиях.

Утром часов в 9 — 10 редактор явился с сверстанным листом для подписи.

— Газета вышла?

— Нет.

— Что-же,— вы мне не верите?

— Типография не решилась выпустить без вашей подписи.

— Они, значит, считают меня обманщиком?

— Они просто не сочли возможным печатать не разрешенные вами письменно статьи, основываясь лишь на моем устном сообщении о вашем устном-же разрешении.

— А! Они хорошо исполняют свои обязанности.

После этого, г. цензор в представленной для подписи уже сверстанной и устно пропущенной вчера целиком газете, — выкромсал из первой же статьи целый кусок, что задержало выпуск еще на час или $1^1/_2$. А что было бы в том случае, если бы „типография не хорошо исполнила свои обязанности"? Это теперь уже осталось неизвестным.

В разговоре цензор еще раз вернулся к задевшему его замечанию об Ермилове. Надо заметить, что Волкову (издателю) тот же Харлампович говорил партикулярно о Ермилове:

— Напрасно вы взяли этого господина: он умеет только грабить.

Что Ермилов умеет грабить,— это установлено судом. И однако этот господин издавал газету довольно беспрепятственно. А как только она перешла к человеку, который грабить не умеет,— так сейчас же оказалось, что Ермиловская программа для него не годится — и газета терпит прижимки.

— Мне Ермилов — ничего не значит, — говорит обиженный чиновник губернатора.

— Однако Ермилов выпускал газету как раз с теми же заголовками, и вы не мешали.

— Это потому, что при Ермилове она оставалась все таки тем же справочным (?) листком, и никто не смотрел на нее серьезно. Какой он писатель. А вы улучшаете содержание и пытаетесь сделать из газеты орган, руководящий общественным мнением!

В этих словах — вся „внутренняя политика“ относительно провинциальной печати. Вор, шантажист или откровенный торгаш печатным словом — может издавать что хочет, хотя бы даже справочный листок, в котором и справок-то нет. Но как только газета становится хоть несколько похожей на то, чем должна быть,— тотчас же необходимо задавить ее в зародыше.

Характерная мелочь. К одному из бывших сотрудников Листка, оставшемуся от Ермилова и при новой редакции,— пришла мать, старуха-мещанка, человек простой и сильно напуганный жизнию. Пришла взволнованная и в слезах. Оказалось, что она была у Ермилова—и тот, по знакомству, предупредил ее, что ее сын скоро будет на каторге. Он связался с новой редакцией, которая вся состоит из „красных“, и которых он, Ермилов, мазурик, имеющий вход к губернатору,— сумеет отправить туда, где им надлежащее место. Старуха совершенно обезумела от громов этого „благонадежного“ господина. Конечно, женщина глупая и за сына боялась напрасно. Но что наверное есть теперь в Нижнем уши, благосклонно выслушивающие всякие гнусные доносы, которые им нашептывает патентованный хититель о „политически неблагонадежной“ редакции — в этом не может быть сомнения. И если на девяносто девять заведомых клевет попадется одна, хоть отдаленно похожая на истину, хоть даже непохожая, но такая, относительно которой можно сделать вид, что считаешь ее похожей, то это жемчужное зернышко тотчас же будет из'ято из навозной кучи и пущено в ход.

Относительно адреса тверского земства получены следующие известия: зная наверное, что местная администрация его ни в каком случае не пропустит, тверичи

решили представить его через министра двора. Воронцов-Дашков ответил на это, что, не входя в существо адреса, министерство двора препровождает его местному губернатору или вообще — возвращает для представления по принадлежности обычным порядком. Юридически это совершенно справедливо, но ведь юридически царь никогда не может узнать того, что администрация пожелает от него скрыть. Это опять одно из характернейших противуречий нынешнего строя. С одной стороны,— власть царя представляется чем-то в роде отеческой власти, не подлежащей никаким регламентациям правовыми нормами. Какие тут нормы между отцом и детьми! А как только дети пытаются обратить свой голось непосредственно к своему милостивому родителю,—так им сейчас-же и указывают на юридические нормы: даже на обижающую няньку приходится жаловаться той-же обижающей няньке... А уж там она как сама захочет, так и поступит с „сердечным порывом" детища! „На милость закона нет" — говорит пословица... Даже и это теперь приложимо как раз лишь к странам с конституционным правовым устройством. Там просьба о „милости" уже осужденному изливается от общества свободно и невозбранно — и доходит до трона или до президентского кресла. И слишком суровый часто закон — находит ограничение в „милости". У нас — нет форм для такого обращения. У нас „ходок", наивно верящий в отеческий характер царской власти, весь проникнутый этой фикцией самодержавия, которую стараются установить „благонадежные" органы печати, лишь показывая при этом вид, будто они верят, что мы верим, что они сами в это верят,— у нас такой „истинно верующий" ходок заковывается в кандалы и пересылается по этапу, как преступник. Когда крестьянин, защищающий даже свое

несомненное право, как было на юге, во время чумных беспорядков (дурацкие меры чиновников лишь распространяли заразу) — прибегает к самозащите,— его осуждает суд, и ему нет милости. Когда помещик, лишь вследствие юридической каверзы, овладевает крестьянской землей — суды опять судят по букве и царская власть молчит. Когда земство хочет изложить свои надежды и желания, расходящиеся со взглядами министра вн. дел или даже губернатора, — буква опять вступает в силу. И только, когда нужно — посадить человека в тюрьму, при полной невозможности доказать его преступление, когда русского обывателя нужно выхватить из его семьи, сослать в далекую Сибирь или лишить его фактически прав, которые нельзя отнять по закону,— тогда и только тогда по большей части пускается в ход „Высочайшее повеление" — орган непосредственной царской воли, воли верховного отца русского народа. Бессилие в добре,— и сила только в тех случаях, когда надо удовлетворить злобу или честолюбие того или другого администратора, поддержать великолепие того или другого помещика, — вот во что обратили теперь это орудие самодержавия!

Позорные поступки поволжских губернаторов в холеру — не только не настигнуты царской карой — но всеми презираемые и осмеянные — они получили царские награды. А ничтожный Валов [1]— по первому слову губернатора поражен с высоты престола — и, как оказалось, невинно! Его ошельмовали на всю Россию,— и потом тихонько „через местного исправника" самодержавие шепнуло ему на ушко: „Ну, ну, ничего, Мы погорячились. Служи, бог с тобой, если еще можешь, попрежнему!"...

[1] Н. Д. Валов, председ. лукояновск. земск. управы из купцов, в 1891 г. устраненный от должности по ложному обвинению в служебных злоупотреблениях.

А что же губернатору, который ввел в заблуждение и направил по ложному следу „высочайшую волю“? — Ничего. Сенат оставил жалобу Валова без последствий, — потому что в самодержавной России нет органов, ответственнных за такие преступления! Это — конституционный предрассудок и ничего более.

Вот с какими мыслями приходится нам встречать новый 1895 год.

Что-то он принесет с собою России... Пока „новое“ едет-едет, не доедет. Салютует издали, а может быть даже и не салютует...

Все ждут, все толковали,— и ждать и толковать уже надоело. Русское общество еще раз, точно невеста, ждет дорогих подарков от царской власти. Но жених не торопится, первый пыл чувства слабеет и на его месте водворяется кислое настроение заждавшейся старой девы...[1]

Впрочем, и у старой девы бывают ребяческие мечтания. В Москве я слышал, будто царь лично приезжал в университет в Петербурге, в котором начинались волнения. Здесь в Нижнем,— слух переносит это — в технологич. институт. Его передавала, с наивной верой, барыня из семьи вполне „интеллигентной“. Технологи заволновались, узнает царь и приезжает в институт.

— „Что вам нужно, дети мои?

„Студенты шумят, разумеется, ничего разобрать невозможно.

— „Я ничего не понимаю. Выберите из своей среды несколько человек, пусть они об'яснят ваши требования.

„Студенты выбрали депутатов. Понимаете: умницы, смелые,— ах, восторг! Ну, они об'яснили царю... Понимаете, все, все.

„Ну, он выслушал и говорит:

[1] Против этого абзаца, на полях написано карандашем: „Мечты“.

— „Вы правы, я этого на знал. Ну, хорошо, все будет сделано по вашему желанию.

„Ну, студенты бросились к нему,— качают, рвут пуговицы на память,— совсем, совсем как институтки!“...

Ну, а пока из Москвы студентов разослали. 40 профессоров подали генерал-губернатору петицию о возвращении тех, кототорые взяты по поводу университетской истории, когда полиция ворвалась в университет. В это время, Власовский [1] заседал в зале университетского совета и издавал оттуда приказы,— как Вильгельм в Версале. Нужно заметить, что полиция воспользовалась этим поводом для того, чтобы разгромить землячества — и выслано много таких, которые в тот день даже не были в университете. Некоторым же об исключении и о воспрещении в'езда в Москву посылали извещения в другие города, т. как они были в отпуску! Скромная петиция профессоров не входит в это и лишь просит о возвращении тех, которые взяты за университетскую историю. Таким образом просьбу было-бы легко удовлетворить простым ответом, что все высланы по соображениям чисто полицейского характера, и кончено. Генерал-губернатор принял петиционеров очень любезно и сказал, что исполнение просьбы будет зависеть от дальнейшего поведения студентов, ответственность за которое возлагается на петиционеров.

Но затем, Капнист (попечитель) успел изменить настроение князя [2]. В самом университете подлый сервилизм поднял голову и против петиционеров возникли протесты в совете. Чем это кончится,— неизвестно. Пока шли ходатайства профессоров, — студенты держались спокойно.

[1] Власовский, московский обер-полицеймейстер.

[2] Великого князя Сергея Александровича — московского генерал-губернатора.

Об'единенные землячества были против всяких беспорядков, — наоборот при возникновении движения — они являлись умеряющим элементом, как всякая организация, которая уже заботится о порядке и, пожалуй, о самосохранении. Но теперь, когда бессилие профессорской корпорации выясняется, когда произвол полиции остается в силе, и когда, наконец, обнаружилось ясно, что полиция бьет именно в студенческую организацию,— тон центрального землячества изменяется. Иванов (доцент) говорил, что в последние дни появились листки от землячеств, написанные уже другим тоном. Центральное землячество располагает в университете об'единенной силой — в 1500 человек. „Разумеется, — прибавляет доцент, — хорошего ничего не выйдет. Но что университетская жизнь всколыхнется и замутится до дна,— это очень вероятно".

Все это — по-старому. Несомненно, однако, что даже в период реакции — явления назревали и росли. Студенческие корпорации за это время сплотились и выросли так, что их не искоренить ничем. Они могли бы стать силой консервативной при режиме сколько-нибудь сносном, который бы не дразнил молодое чувство постоянными проявлениями насилия, произвола, гнусной лести „наставников" и т. п. Если бы, наконец, студенты имели основание уважать университетскую коллегию,— и получили возможность обсуждения своих специально-студенческих интересов. Но этого нет, это еще не приходит — и студенческая организация, пытающаяся выполнить свою естественную роль,— руководительницы в духе умеренности — студенческой массы,— лишенной руководительства своей коллегии,— видит себя вынужденной принять вызовы полиции.

Реакция естественным образом доходит до своих пределов. И она доходит всюду,— упираясь, наконец, в стену

скромного, но неуступчивого сопротивления элементарной жизни. Самые консервативные земские силы отвергают клерикальные попытки Победоносцева и противятся введению нового лечебного устава. Всюду подымаются ходатайства об изменении только что изобретенного устава продовольственного, а министерство земледелия, обратившееся с запросами об устройстве органов агрономических воздействий на местах,— получает отовсюду ответы, каких не ожидает. Земства,— и повторяю, самые консервативные,— решительно стремятся в своих ответах,— „выйти из пределов вопроса“...[1]

Все это очень скромно, но быть может в этом и только в этом — микроскопический еще зародыш лучшего будущего.

Подарки — дело хорошее, но нужно уметь прожить как-нибудь и без подарков... Не этому ли научит нас наступающий —

1895!

[1] Против этого абзаца на полях Дневника наклеена вырезка из газеты: сообщение о высочайшем повелении отпустить в распоряжение обер-прокурора св. синода 700.000 руб. из сумм государственного казначейства на воспособление церковно-приходским училищам.

Указатель имен и произведений

к II тому Дневника [1]

Абаза А. А., государств. деятель. 300.

Авсеенко В. Г., беллетрист и критик. 227.

Агапеев, полковник, спутник В. Г. на обратном пути из Америки. 128—129, 131, 133, 146—149.

Агофонов Н. Я., провинц. журналист. 271, 273.

Айвазовский И. К., изв. художник. 59, 107.

Александр II, император. 295, 298, 318.

Александр III, император. 283, 286—296, 297, 301, 313, 314, 315, 316, 319.

Амфитеатров А. В., писатель. 274—277.

Андреев М. П., нижегород. уездн. предв. дворянства и предс. уездн. земск. упр. 227 примеч., 235.

Андреевский С. А., юрист и писатель. 222.

Анненский Н. Ф., изв. статистик, общ. деятель и журналист, близкий друг В. Г. 210, 262, 280 и примеч., 281, 282, 310 примеч.

Алтгелдж, губернат. штата Иллинойс в С.-Америке. 97, 98, 99, 111, 112, 113 примеч.

Астырев Н. М., писатель и статист. 250.

Ахматов С. Н., земск. начальник в Лукояновск. уезд. 237.

Баранов Н. М., нижегор. губернатор. 25, 189, 250, 252—255, 257, 258, 262, 263, 269, 270, 274, 309, 323, 324.

Башкиров Я., нижегородск. хлеботорговец, гласн. думы. 24, 328.

Bayart Paul, бельгийск. художник. 105.

„Без языка“. 72 примеч.

Беломез, русск. эмигрант, болгарский политич. деятель. 276.

Берне, знам. немец. писатель. 260.

Бестужев С. Н., земск. начальник в Лукояновском у. 184.

Боборыкин П. Д., беллетрист. 258.

Богданович А. И., писатель, впоследствии член редакц. журн. „Мир Божий“, близкий знакомый В. Г. 25, 267.

[1] Произведения В. Г. Короленко выделены в указателе курсивом.

Бодаревский Н. К., художник. 107.
Baudry, бельгийск. художник. 105.
„Божий городок“. 252 примеч.
Боря, племянник В. Г. 233, 234.
Брандес Георг, знам. датский критик. 36, 315, 316.
Brooks Caroline, америк. скульптор. 114.
Бруни Ф. А., изв. русск. художник. 108.
Брызгалов, инспектор московск. университета. 213.
Брэдло, англ. политич. деятель, республиканец. 46.
Бугров, нижегородск. хлеботорговец. 190.
Buntzen, датск. художник. 39.
Бутс Вильям (Booth), англ. проповедн., основатель „Армии Спасения“. 67—68.

Валов Н. Д., председ. лукояновской земск. упр. 334—335.
Вальян, анархист, бросивший бомбу в франц. палате депутатов. 228, 237—239.
„В Америку!“ 29 примеч.
Van Beers Jean, бельгийский художник. 105.
Van Leemputteen, бельгийский художник. 105.
Van Snick, бельгийск художник. 105.
Варищев, нач. нижегор. охран. отделения. 279, 280.
Ватсон М. В., писательница, переводчица. 294.
„В голодный год“. 28 примеч., 78, 97 примеч., 170, 182, 184, 243, 306.
„В грозу“, одноактная опера Ребикова на сюжет „Лес шумит“. 243.
„В дурном обществе“. 33.
Веля (Эвел. Г. Никитина), сестра В. Г. 35, 180.
Венский А. В., главн. врач нижегородск. земск. больницы. 258.
Вера, племянница В. Г. 31, 234.
„Вильгельм Телль“ Шиллера. 189—190.
Витте С. Ю, госуд. деятель, мин. финансов. 183, 193, 194, 223, 237, 284, 299.
Власовский, московск. обер-полицмейстер. 336.
Волков, пароходчик, изд. „Нижегор. Листка“, 256, 257, 263 примеч., 329, 331.
Волынский А. Л. (Флексер), писатель. 223.
Воронцов-Дашков И. И., министр имп. двора, впоследствии наместник Кавказа. 333.
„Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами“, ст. Добролюбова. 220.

„В чужой стороне“. 50 примеч.
Вышнеградский И. А., министр финансов с 1887 по 1892 г. 183, 193.

Гайдебуров П. А., публицист, изд. „Недели“. 227, 234.
Ганзен, мексик. консул в Нью-Йорке. 122.
Гарден Максимилиан, немецк. журналист, редакт. „Die Zukunft“ 223.
Гарин-Михайловский Н. Г., писатель. 222.
Гаррисон (Harrisson), мэр г. Чикаго. 112, 113.
Гациский А. С., нижегор. обществ. деятель, писатель-этнограф. 271, 273, 274.
Gailliard François, бельгийск. художник. 105.
Георгий Александрович, вел. князь, наследник престола. 300, 313.
Гисси, изд. газ. „Волжский Вестник“. 271.
Гладстон, знам. англ. госуд. деятель. 43—45, 47.
Говоруха-Отрок, псевдоним публициста и критика Ю Н. Николаева. 277.
Гоголь Н. В. 223.
Гольцев В. А. писатель, ред журн. „Русск. Мысль“. 224, 327, 328, 329.
Горинов В. А., нижегородск. земск. деятель, знакомый В. Г. 249, 252, 255, 257, 263.
Григорьев В. Н., друг В. Г., изв. статистик. 53, 177 примеч.
Губин А. М., нижегородск. гор. голова. 243.
Гулевич В. В., издатель „Смоленск. Вестника“. 284.
Гурко И. В., варшавский генерал-губернатор. 310.
Гучков А. И., обществ. и политич. деятель. 97.

Даль (Dahl), датский художник. 39.
De Bats, бельгийск. художник. 105.
De Bruyn, бельгийский художник. 105.
De Vriendt Albrecht, бельгийский художник 105.
Дементьев П. А. (псевд. Тверской), писатель, сотрудн. „Вестн. Евр.“ и „Недели“, живший в Америке. 115.
De Rickx, бельгийский художник 105.
Де-Роберти Е. В., философ-позитивист. 227.
Деспот-Зенович А. И., член совета министра вн. дел. 184 примеч., 227 и примеч.
De-Schampheleer, бельгийский художник. 105.
Джонсон, президент С.-Америк. Соед. Штатов в 60-х годах. 121.
Джордж Генри, знамен. америк. экономист. 92, 93 примеч.

Dyef Anten, бельгийск. художник. 105.
Дмитриев М. П., нижегородск. фотограф. 92, 262.
Добролюбов Н. А., знам. критик. 219—222, 316.
Дорошевич В. М., изв. фельетонист. 186—189.
Драгомиров М. И, командующ. войсками киевск. округа, изв. воен. писатель. 325.
„Драка в Доме“. 46 примеч., 252 примеч.
Дробыш-Дробышевский А. А., провинц. журналист. 266, 280 примеч., 329, 330.
Дуглас Фредерик (Douglas), негритянск. публицист и оратор. 90 примеч., 119.
Дуня (Авд. Сем. Короленко), жена В. Г., 13, 22, 32, 37, 40, 51, 53, 70, 148, 151 примеч., 152, 153, 172, 175, 176, 178, 247.
Дурново И. Н., мин. внутр. дел. с 1889 по 1895 г. 299.
Дурново И. С, публицист, сотрудн. „Моск. Вед.“. 219.

Елисеев Г. З., изв. публицист. 311.
Елпатьевский С. Я., врач и писатель. 214, 215, 228, 280.
Ендогуровы И. И. и С. И., художники. 107.
Ермилов Н. Е., чиновн. при нижегор. губернаторе, одно время секретарь редакции „Нижегор. Листка“. 263, 329, 330, 331, 332.

Железнов А. Г., земск. начальник в Лукояновск. у. 184.
Жуков С. И., ред.-изд. нижегор. газет „Волгарь“ и „Вечерн. Листок“. 256, 258, 271.

Зарубин А. А., нижегор. купец, гласный городск. думы. 328.
Захарьин Г. А., проф., изв. терапевт. 284.
Звездин А. И., секретарь нижегородск. губ. стат. комитета. 274.
Звенигородские, дворяне, заправилы Ардатовского (Нижегор. губ.) земства. 194—196, 201.
Зверев Д. И., земский статистик. 269.
Зволянский, тов. директ. департ. полиции. 170, 181 примеч.
Зегер, сотрудник „Гражданина“ и „Московских Ведомостей“. 275.
Зеленый, одесск. градоначальник. 187—189.
„Земли! Земли!“. 184 примеч.
Зененко С. Н., нижегор. врач, гласный гор. думы. 328.
Златовратский Н. Н., изв. писатель-народник. 305.
Золя Эмиль. 231—232.

Ивановская П. С. (Паша) изв. революционерка, сестра жены В. Г. 24.
Ивановский В. С., (в эмиграции—Петро Александров), врач, эмигрант, брат жены В. Г. 13 примеч., 153, 158.
Иванчин-Писарев А. И., журналист, член редакц, „Русск. Бог." 184, 270.
Игельстром А. В., писатель, лектор русск. яз. в Гельсингфоргск. политехнич. институте. 30.
„Из истории областной печати". 252 примеч.
Ильяшенко, изд. газ. „Казанский Телеграф". 271, 273.
Иоанн Кронштадтский (о. Иоанн Сергиев). 224, 239—241, 285.
„Иом Кипур" („Судный день"). 77.
„История Моего Современника". 248 примеч.

Каменский Ф. Ф., изв. русск. скульптор, переселившийся в Америку. 106, 107, 108, 109, 120.
Капнист П. А., попечитель моск. учебн. округа. 336.
Каравелов П., болгарский госуд. деятель. 275.
Карно, франц. президент с 1887 по 1894 г.г. 238.
Carpentier, бельгийск. художник. 105.
Кеннан Дж., сев.-америк. писатель, автор книги „Сибирь и ссылка" 78, 124.
Керри, америк. журналист, редакт. газ. „New-York Times". 123.
Кившенко А. Д., художник. 108.
Киган В. Л. (Дедлов), писатель, сотрудн. журн. „Неделя". 31, 32.
Килевейн Г. Р., нижегородск. земск. и обществ. деятель. 198, 200, 255.
Кипренский О. А., знам. русск. художник. 39.
Claus Emil, бельгийск. художник. 105.
Ключевский В. О., изв. историк. 312, 313, 315, 316.
Ковалевский В. И., директ. департ. торговли, позже мин. финансов. 299.
Комаров В. В., изд. газ. „Свет". 227.
Кони А. Ф., изв. судебный деятель и писатель. 299.
Коробкин Н. И. (псевд. „Старый друг"), хроникер газ. „Волгарь" 242. 259, 262.
Короленко Иллар. Г. (Перчик), брат В. Г. 30, 242, 280, 281.
Корф А. Н., приамурский ген.-губернатор. 323.
Косткин, нижегор. помощн. полицмейстера. 25.
Крамской И. Н., изв. художник. 108.
Крачковский И. Е., художник. 107.
Кривенко С. Н., публицист народнич. направления. 286 примеч., 310 примеч.

Кривошеин А. К., министр путей сообщения. 299, 326.
Крыжицкий К. Я., художник. 107.
Крэн, американец, путешественник - фольклорист, издававший книги о России. 97, 98, 99, 123, 124.
Кутлубицкий И. П., член нижегородск. губернск. присутствия, 269, 270.

Labouere, датск. художник. 39,
Lavaux Edith, американка, случайная спутница В. Г. на пароходе из Америки. 141—142, 143, 146, 148.
Лаврский К. В. („Сверчок"), провинц. публицист и сотрудник „Недели". 219—221, 271.
Лазаревский Ф. И., нижегор. земск. статистик. 197.
„La Iérusalem delivrée" („Освобожд. Иерусалим"),—знаменитая поэма Torquato Tasso. 251.
Ламанский В. М., изв. славист-историк. 307.
Леля, Лена, Леночка, дочь В. Г., умершая в 1893 г. 13, 17, 20, 21, 24 примеч., 148, 151, 152, 171, 175—178, 179, 202, 247.
Лермонтов М. Ю. 312.
Leroy, бельгийск. художник. 106.
„*Лес шумит*" („Scogen Susar"), 32, 243.
Лизогуб Д. А., изв. революционер, казненный в 1879 г. 276.
„Лисица Кознодей", басня Фонвизина. 314.
Лонгинов М. Н., нач. главн. упр. по делам печати (с 1871 по 1875). 271.
Лориа, итальянск. экономист. 224.
Лошкарева М. Г., сестра В. Г. 151 примеч., 176 примеч., 177 примеч.
Лошкарев Н. А., зять В. Г. 280 примеч.
Lundbye, датск. художник. 39.
Львов, сотрудник „Нового Времени". 275.

Мадзини Джузеппе, знам. итальянский революционер. 277, 278.
Майков М. Гр., корресп. „Нового Времени", а затем чиновн. особ. поруч. при нижегор. губернаторе. 264.
Маковский В. Е., изв. художник. 107, 109.
Маковский К. Е., изв. художник. 107, 109.
Маколей, англ. историк и политич. деятель. 265.
Малышева А. С. (Саша), сестра жены В. Г. 13 примеч., 21, 151 примеч.
Мальцов С. И., крупный русск. промышленник и заводчик. 192, 193.
Мамаша (Эв. Ос. Короленко), мать В. Г. 32, 42, 51, 53, 234.
Маразли, одесск. гор. голова. 186.
Маруся, племянница В. Г. 234.

Meyers Isidore, бельгийск. художник. 106.
Меньшиков М. О., публицист, сотрудн. „Недели", впоследствии „Нов. Времени" 222.
„Memoires de Judas" роман Petrucelli de la Gattina. 251.
Maeterlinck, бельгийск. художник. 105.
Мережковский Д. С., изв. писатель. 222.
Мещерский В. П., князь, изд. „Гражданина". 192, 193, 237, 241, 269, 299.
Милов, издат. „Нижегор. Листка Справок и Об'явлений". 250, 255, 256, 257, 271, 330.
Милютин Д. А., госуд. деятель эпохи великих реформ. 299.
Михайловский Н. К. 222, 286 примеч., 288, 291.
„Мнение американца Джаксона о еврейском вопросе". 57 примеч.
Муравьев Н. В., министр юстиции с 1894 по 1905 г. г. 235, 300.
Мясоедов Г. Г., изв. художник. 107.

Нагуевский Д. И., казанск. профессор, исполнявший обязанности цензора. 270, 272, 273.
Надя, племянница В. Г., дочь М. Г. Лошкаревой, 31, 176, 202, 234.
Натансон М. А., изв. революционер. 248, 249, 300.
Наташа, дочь В. Г., 13, 21, 23, 24, 31, 76, 169, 174, 175 — 178, 202, 228, 233, 247, 248.
Небе Оскар, приговоренный в 1886 г., как анархист, америк. судом к каторге. 97, 98, 99, 100, 123.
Немирович-Данченко Вас. Ив., писатель. 192.
Никитенко А. В., цензор, писатель, изв. мемуарист. 246.
Николаев П. Ф., писатель и политич. деятель. 249.
Николай I, император. 162, 317.
Николай II (в тексте упоминается, как „молодой царь" или „молодой государь"). 300, 301, 307, 308, 314, 316, 320.
„Ночью". 178.
Ньютон Исаак, знам. математик и физик. 115.

Оларовский А. Э., русск. консул в Нью-Йорке. 74, 123.
Ooms Karel, бельгийск. художник. 105.
Осипов А. М., казанск. профессор и цензор. 265 — 270, 272, 273.
Островская, автор воспоминаний о Добролюбове в „Волжск. Вестн." 219.
„Отрывок без заглавия". 50 примеч.
„Очерки и рассказы" кн. I. 255.

„*Павловские очерки*“. 77.
Пален К. И., член госуд. совета. 299.
Панфилов, казанский полицмейстер. 272.
Пастухов Н. И., ред.-изд. „Московск. Листка“. 186.
Pedersen Viggo, датск. художн.-импрессионист. 110.
Перов В. Г., изв. художник. 108.
Перцев П. П., журналист, критик 222, 223.
Перчик (семейное прозвище брата В. Г.), см. Короленко И. Г.
Петр Великий. 315, 317.
Петро, см. Ивановский В. С.
Пешков А. М. (М. Горький). 280 примеч.
Пирогов Н. И., знам. врач и педагог. 220, 221.
Плаксин С. П., автор либретто оперы „В грозу“ (на сюжет „Лес шумит“). 243—244.
Плеве В. К. товарищ министра, а впоследствии министр внутр. дел. 299.
Плотников М. А., нижегородский статистик, журналист. 269.
Победоносцев К. П., госуд. деятель, обер-прокурор Синода. 290, 299. 338.
Познанский И. Н., нач. нижегор. жанд. управл. 25 — 28, 282.
Полонский Я. П., поэт. 327.
Попова О. Н., издательница „Русск. Богатства“. 291, 293.
Пороховщиков А. А., ред.-изд. „Русск. Жизни“. 261, 264, 284, 285.
Потанин Г. Н., изв. русск. путешественник и исследователь Азии. 261.
Протопопов М. А., критик. 222.
Протопопов Серг. Дм., нижегор. суд. следоват., впоследствии журналист, знакомый В. Г. и спутник его в америк. путешествии. 29 примеч., 31, 33, 37, 41, 53, 57, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 91, 227, 235, 249, 250, 252, 255, 257, 263, 271, 328.
Прудон, знам. франц. экономист. 230.
Пушкин А. Л., лукояновск. предвод. дворянства, ранее земск. начальник. 185.

„*Расходование городских сумм*“, газетная статья В. Г. 254.
Ребиков В. И., композитор, автор оперы „В грозу“ на сюжет рассказа „Лес шумит“. 243, 244.
Рейнгардт Н. В., ред.-изд. „Волжск. Вестника“. 272, 273.
Репин И. Е., изв. художник. 107, 108.
Родичев Ф. И., председ. тверской губ. земской управы, обществ. и политич. деятель. 321.
Rullens, бельгийск. художник. 106.

Рунеберг, финно-шведский поэт. 30.
„Русские на Чикагском перекрестке“. 96 примеч.

Святловский, корреспонд. „Нового Времени“ из Америки. 123.
С. Д., С. Дм., С. Дмитриевич, см. Протопопов С. Д.
Семирадский Г. И., изв. художник 107, 108, 109.
Сергей Александрович, вел. князь, моск. ген.-губернатор. 336.
Сибирцев Н. М., геолог нижегор. губ. земства. 195.
Скуревич Е. О. (тетя Лиза), сестра матери В. Г. 53.
„Слепой музыкант“ (Den Blinde Musikern) 32, 57.
„Соколинец“. 97.
Соня, дочь В. Г. 13, 15, 20, 23, 24, 31, 76, 169, 172, 174, 175—178, 202, 247, 248.
„Софрон Иванович“. 40 примеч.
„Социология на экономической основе“, ст. В. А. Гольцева в „Русск. Мысли“ 223.
„Старый Звонарь“. 33.
Стасов В. В., археолог и писатель по вопросам изящн. искусств 109.
Степанов М. И., Арзамасск. предв. дворянства, и пред. земск. упр. 197.
Степняк-Кравчинский С. М., изв. революционер, писатель. 124, 181 прим.
Стрельников, одесский воен. прокурор. 99.
Струве П. Б., писатель и политич. деятель. 249.
Суворин А. С., ред.-изд. „Нов. Врем.“ 227, 241, 242, 275.
„Суррогаты гласности для высочайшего употребления“. 326 примеч.

Татищев С. С., публицист, сотр. „Русск. Вестн.“, „Нов. Вр.“ и др. 227.
Твэн Марк. („Innocents abroad“). 103.
Тихомиров Л. А., публицист, сотрудник „Моск. Ведомостей“. 277.
Толстой Л. Н. 277.
Торвальдсен (Bertel Thorvaldsen), знам. датск. скульптор. 36, 37—40.
Тургенев И. С. 223.
Тэн Ипполит, франц. писатель и мыслитель. 47.
Тютчев Н. С., изв. революционер. 249.

Ульянов А. И., нижегородск. педагог и сотрудник газет. 242, 263.
Уокер Френсис (Walker Francis), америк. адвокат. 98—100, 111, 123.

„Фабрика смерти“. 91 примеч.
Farasyn Edgard, бельгийск. художник. 105.

Fearnley, датский художник. 39.
Фельдман, гипнотизер. 240.
Феоктистов, нач. главн. упр. по делам печати. 255, 258, 271.
Fichefet, бельгийск. художник. 106.
Фридрих (Frideric) VII, король датский. 35—36.
Фурсов, помощн. петерб. градоначальника. 181, 282.

Харлампович Н. И., правитель дел канцелярии нижегородск. губернат., цензор. 253, 329, 331.
Ходаков Яков Ив., земск. начальн. в Ардатовск. у. 199—202.

Чарушин, чиновник переселенч. управления. 31, 34.
Чемберлен (m-r Chamberlan), англ. политич. деятель 43—46.
Черевин, генерал, начальник охраны императорских резиденций. 249.
Чернушенко Д. Н., авт. брошюры „Воззвание к всемирному миру". 83—89.
Чехов А. П. 219.
Чистяков П. П., художник. 108.
Чуйко В. В., литературн. и художеств. критик. 223.

Шахаев, князь, Ардатовск. предв. двор. и пред. земск. упр. 196—202.
Шаховской Д. И., общественный и земский деят. 303, 305, 306 примеч.
Шен Майкель, америк. полиц. инспектор, автор книги „Anarchy and Anarchysts" 98.
Шипов Ф. Н. нижегородск. землевладелец, директор Александровского Дворянского банка. 298, 328.
Шмидт О. Е., нижегородский статистик. 257.
Шпис, америк. анархист казненный в 1886 г. 98, 123.

Щедрин-Салтыков М. Е. 239, 328.
Щепкин Е. Н., историк, впоследствии профессор. 33, 34.

„*Эпопея*". 169 примеч.

Южаков С. Н., изв. публицист, член ред. „Русск. Бог." 310 примеч.
Юлиан (Ю. Г. Короленко), брат В. Г. 34.

Ядринцев Н. М., сибирский обществ. деятель, публицист и путешественик-археолог. 261.

Содержание II-го тома Дневника [1].

Стр.

От Редакционной Комиссии 5

1893 год.

Дорожные заметки (в Сызрани) 13
Тоже на железной дороге и на вольных 16
Мои дети. Леночка и ее лексикон 20
Тоже. Прощание с Леночкой (в последний раз!) и дорога . . . 21
Мои дети 23
Заседание думы. Возвращение Башкировск. отчетов по общественным работам 24
Об'яснение с жандармским генералом Познанским 25
От'езд в Америку 28
Поездка в Америку и Добруджу (Записная книжка).
2 июля. Начало пути 29
3— 4 „ Гельсингфорс 29
5 „ Ганге 31
6— 8 „ Стокгольм 32
9 -11 „ Копенгаген. В музее Торвальдсена . . . 34
12—13 „ Эсбиерг 40
14 „ В Немецком море 41
15—20 „ В Лондоне. (Драка в Доме) 41
23 „ От Лондона до Ливерпуля 47
24 „ Посадка на „Уранию“ 51
25—31 „ В океане 51
1 авг. Приезд в Нью-Йорк 67
2— 5 „ В Нью-Йорке. Interview 70
6— 7 „ Ниагара 80

[1] Оглавление составлено Редакц. Комиссией почти целиком на основании авторских перечней содержания, записанных в конце тетрадей Дневника и носящих порой характер указателя. Целиком вновь составлено лишь оглавление для американского путешествия (Записн. книжка). Курсивом выделены подчеркнутые автором слова.

8	авг.	Приезд в Чикаго	82
12	„	Д. Н. Чернушенко	83
13	„	День цветных американцев	89
18	„	Митинг безработных. Русские на Чикагском перекрестке	92
19	„	М-р Крэн. Дело анархистов	97
20—21	„	На выставке—картинные галлереи	104
23	„	День рабочих союзов	112
24—26	„	На выставке	113
28	„	От'езд из Чикаго	121
3	сент.	Последний день в Нью-Йорке. Беседа с журналистом Керри	122
4	„	Выезд из Нью-Йорка	125
5—11	„	В океане. Полковник Агапеев, спутники-соотечественники и иностранцы. Философия морской болезни	126
12	„	Приход в Гавр и—Париж	141
13	„	В Париже	148
14	„	Телеграмма о смерти дочери	151
15—18	„	Дорога в Румынию	151
19	„	Приезд в Тульчу	153
2	окт.	Беседа с молоканином	154
3	„	Поездка в Сарыкиой	157
5	„	Беседа с диаконом (белокриницкой иерархии)	163
9	„	От'езд из Тульчи	168
10	„	Прибытие в Одессу. Таможенный досмотр	168
19—20	„	В Петербурге	170
29	„	Приезд в Нижний	170

Приезд обратно. О смерти Леночки 170
Первые впечатления на родине. Рени. Одесса 171
Мои дети.— О вере 175
О поездке в Петербург и „об'яснение" в департаменте полиции . 180
Осень в Нижнем. Передача железной дороги 182
Выход „Голодного года". О „резкости фактов" 184
Зеленый в Одессе (и Дорошевич) 185
О свободе в России („внутренняя свобода" в кутузке) 189
О „государственном хозяйстве" 191
С. И. Мальцев и Витте 192
Ардатовские картинки (Звенигородские) 194

Мои дети 202
„Жертвы десятичных дробей“ (педагоги) 203
„Стрелок“ 208
Отбой в еврейском вопросе 217
Воспоминания г-жи Островской о Добролюбове и Лаврский . . 219
П. Перцев („новые слова“) 222
2-е предостережение „Русской Мысли“ 223
[О книге Иоанна Кронштадтского „Моя жизнь во Христе“] 224
Еще „стрелок“ 225
„Строгое внушение“ „Нов. Времени“ 226
„Представитель“ русской прессы заграницей 227
Дифтерит у Наташи 228
Анархическое покушение Вальяна (об анархизме). Золя об анархизме и вере 228
Болезнь Бориса 233
Смерть Гайдебурова. 234

1894 год.

Речь Муравьева. 235
Отставка С. Д. Протопопова 235
Как делают революцию 236
Анархист Вальян 237
Святой конца века (Иоанн Кронштадтский) 239
Полемика Суворина с „Московскими Ведомостями“ 241
Цензурные курьезы. (Цензура в Нижнем) 242
Городской заем 243
Опера „Лес шумит“ (Ребикова) 243
Лодзинские фабриканты 244
Паспортные курьезы 245
Мои дети 247
Арест Натансона и усиление охраны 248
Моя попытка издавать газету 249
Смерть Астырева 250
[О романе „Memoires de Judas“] 251
[„La Ierusalem delivrée“ Torquato Tasso] 251
Попытка издавать газету и Жуков 252
Еще холера и Баранов. Тоже и „Волгарь“. 258
Выход сотрудников „Русской Жизни“ 261
[Посещение Г. Н. Потанина] 261
Охрана в Нижнем. Ермилов, человек благонадежный. М. Г. Майков. 261

Выход сотрудников „Русск. Жизни“. 264
Из Маколея 265
О казанской цензуре и провинциальной прессе. 265
Баранов и Гацискій. 274
Характерная полемика (Нов. Время, Амфитеатров, Моск. Ведомости) 274
Мадзини о вере 277
Охрана в нижнем 279
Болезнь Александра III 283
[Пороховщиков и Гулевич] 284
[Иоанн Кронштадтскій] 285
Смерть Александра III 286
О новом курсе. Слухи и толки. Газеты 296
„Молодой человек“ 302
Речь Ламанского 307
Манифест 308
О новом курсе. Ключевскій и студенты 310
Обстоятельства и правительство 316
Тверской адрес 321
Закон и соколы-усмирители. Порки усмиренных и генерал Драгомиров 322
Отставка Кривошеина 326
Лекция Гольцева в Нижнем 327
Цензура в Нижнем. Ермилов, человек благонадежный . . . 329
Перед новым годом: закон и беззаконие. Ожидание и разочарование.
Мечты старой девы. Реакция и сопротивление жизни 332

Указатель 339